

VEcordia

Извлечение R-IGR6

Открыто: 2011.07.03 23:16
Закрито: 2011.08.06 23:30
Версия: 2018.07.27 23:03

ISBN 9984-9395-5-3
Дневник «VECORDIA»

© Valdis Egle, 2018

ISBN
Карамзин Н.М. «История»

© public domain



Карамзин Н.М.

История Государства Российского

Томы XI – XII

Impositum

Grīzīņkalns 2018

Talis hominis fuit oratio,
qualis vita

Том XI

Глава I. Царствование Бориса Годунова. Г. 1598–1604

Москва встречает Царя. Присяга Борису. Соборная грамота. Деятельность Борисова. Торжественный вход в столицу. Знаменитое ополчение. Ханское Посольство. Угощение войска. Речь Патриарха. Прибавление к грамоте избирательной. Царское венчание. Милости. Новый Царь Касимовский. Происшествия в Сибири. Гибель Кучюма. Дело внешней Политики. Судьба Шведского Принца Густава в России. Перемирие с Литвою. Сношения с Швецией. Тесная связь с Даниею. Герцог Датский, жених Ксении. Переговоры с Австриею. Посольство Персидское. Происшествия в Грузии. Бедствие Россиян в Дагестане. Дружество с Англиею. Ганза. Посольство Римское и Флорентийское. Греки в Москве. Дела Ногайские. Дела внутренние. Жалованная грамота Патриарху. Закон о крестьянах. Питейные дома. Любовь Борисова к просвещению и к иностранцам. Похвальное слово Годунову. Горячность Борисова к сыну. Начало бедствий.

Духовенство, Синклит и чины государственные, с хоругвями Церкви и отечества, при звуке всех колоколов Московских и восклицаниях народа, упоенного радостью, возвратились в Кремль, уже дав Самодержца России, но еще оставив его в келии. 26 Февраля 1598 г., в Неделю Сыропустную, Борис въехал в столицу: встреченный пред стенами деревянной крепости всеми гостями Московскими с хлебом, с кубками серебряными, золотыми, соболями, жемчугом и многими иными *дарами Царскими*, он ласково благодарил их, но не хотел взять ничего, кроме хлеба, сказав, что богатство в руках народа ему приятнее, нежели в казне. За гостями встретили Царя Иов и все Духовенство; за Духовенством Синклит и народ. В храме Успения отпев молебен, Патриарх *вторично* благословил Бориса на Государство, осенив крестом Животворящего Древа, и Клиросы пели многолетие как Царю, так и всему Дому державному: Царице Марии Григориевне, юному сыну их Феодору и дочери Ксении. Тогда *здоровались* новому Монарху все Россияне; а Патриарх, воздев руки на небо, сказал: «Славим Тебя, Господи: ибо Ты не презрел нашего моления, услышал вопль и рыдание Христиан, преложил их скорбь на веселие и даровал нам Царя, коего мы денно и ночью просили у Тебя со слезами!» После Литургии Борис изъявил благодарность к памяти двух главных виновников его величия: в храме Св. Михаила пал ниц пред гробами Иоанновым и Феодоровым; молился и над прахом древнейших знаменитых венценосцев России: Калиты, Донского, Иоанна III, да будут его небесными пособниками в земных делах Царства; зашел во дворец; посетил Иова в обители Чудовской; долго беседовал с ним наедине; сказал ему и всем Епископам, что не может до Светлого Христова Воскресения оставить Ирины в ее скорби, и возвратился в Новодевичий монастырь, предписав Думе Боярской, с его ведома и разрешения, управлять делами государственными.

Между тем все люди служивые с усердием целовали крест в верности к Борису, одни пред славною Владимирскою иконою Девы Марии, другие у гроба святых Митрополитов Петра и Ионы: клялись не изменять Царю ни делом, ни словом; не умышлять на жизнь или здравие державного, не вредить ему ни ядовитым зелием, ни чародейством; не думать о возведении на престол бывшего Великого Князя Тверского Симеона Бекбулатовича или сына его; не иметь с ними тайных сношений, ни переписки; доносить о всяких *скопах* и *заговорах*, без жалости к друзьям и ближним в сем случае; не уходить в иные земли: в Литву, Германию, Испанию, Францию или Англию. Сверх того Бояре, чиновники Думные и Посольские обязывались быть скромными в делах и тайнах государственных, судии не кривить душою в тяжбах, казначеи не корыстоваться Царским достоянием, Дьяки не лихоимствовать. Послали в области грамоты известительные о счастливом избрании Государя, велели читать их всенародно, три дни звонить в колокола и молиться в храмах *сперва* о Царице-Инокине Александре, а *после* о державном ее брате, семействе его, Боярах и воинстве. Патриарх (9 Марта) Собором уставил торжественно

просить Бога, да сподобит Царя благословенного возложить на себя венец и порфиру; уставил еще на веки веков праздновать в России 21 Февраля, день Борисова воцарения; наконец предложил Думе Земской утвердить данную Монарху присягу Соборную грамотою, с обязательством для всех чиновников не уклоняться ни от какой службы, не требовать ничего свыше достоинства родов или заслуги, всегда и во всем слушаться *указа Царского и приговора Боярского*, чтобы *в делах разрядных и земских не доводить государя до кручины*. Все члены Великой Думы ответствовали единогласно: «Даем обет положить свои души и головы за Царя, Царицу и детей их!» Велели писать хартию, в таком смысле, первым грамотеям России.

Сие дело чрезвычайное не мешало течению обыкновенных дел государственных, коими занимался Борис с отменною ревностию и в келиях монастыря и в Думе, часто приезжая в Москву. Не знали, когда он находил время для успокоения, для сна и трапезы: беспрестанно видели его в совете с Боярами и с Дьяками, или подле несчастной Ирины, утешающего и скорбящего днем и ночью. Казалось, что Ирина действительно имела нужду в присутствии единственного человека, еще милого ее сердцу: сраженная кончиною супруга, искренно и нежно любимого ею, она тосковала и плакала неутешно до изнурения сил, очевидно угасая и нося уже смерть в груди, истерзанной рыданиями. Святители, Вельможи тщетно убеждали Царя оставить печальную для него обитель, переселиться с супругою и с детьми в Кремлевские палаты, явить себя народу в венце и на троне: Борис отвечал: «не могу разлучиться с великою государынею, моею сестрою злосчастною», – и даже снова, неумолимый в лицемерии, уверял, что не желает быть Царем. Но Ирина вторично *велела* ему исполнить волю народа и Божию, приять скипетр и Царствовать не в келии, а на престоле Мономаховом. Наконец, Апреля 30, подвиглась столица во сретение Государю!

Сей день принадлежит к торжественнейшим дням России в ее истории. В час утра Духовенство с крестами и с иконами, Синклит, двор, приказы, воинство, все граждане ждали Царя у каменного мосту, близ церкви Св. Николая Зарайского. Борис ехал из Новодевичьего монастыря с своим семейством в великолепной колеснице: увидев хоругви церковные и народ, вышел: поклонился святым иконам; милостиво приветствовал всех, и знатных и незнатных; представил им Царицу, давно известную благочестием и добродетелию искреннею, – девятилетнего сына и шестнадцатилетнюю дочь, Ангелов красотою. Слыша восклицания народа: «вы наши Государи, мы ваши подданные», Феодор и Ксения вместе с отцом ласкали чиновников и граждан; так же, как и он, взяв у них хлеб-соль, отвергнули золото, серебро и жемчуг, поднесенные им в дар, и звали всех обедать к Царю. Невозбранно теснимый бесчисленною толпою людей, Борис шел за Духовенством с супругою и с детьми, как добрый отец семейства и народа, в храм Успения, где Патриарх возложил ему на грудь Животворящий крест Св. Петра Митрополита (что было уже началом Царского венчания) и в *третий раз* благословил его на Великое Государство Московское. Отслушав Литургию, новый Самодержец, провожаемый Боярами, обходил все главные церкви Кремлевские, везде молился с теплыми слезами, везде слышал радостный клик граждан и, держа за руку своего юного наследника, а другою ведя прелестную Ксению, вступил с супругою в палаты Царские. В сей день народ обедал у Царя: не знали числа гостям, но все были званые, от Патриарха до нищего. Москва не видала такой роскоши и в Иоанново время. – Борис не хотел жить в комнатах, где скончался Феодор: занял ту часть Кремлевских палат, где жила Ирина, и велел пристроить к ним для себя новый дворец деревянный.

Он уже Царствовал, но еще без короны и скипетра; еще не мог назваться Царем *Боговенчанным, Помазанником Господним*. Надлежало думать, что Борис немедленно возложит на себя венец со всеми торжественными обрядами, которые в глазах народа освящают лицо Властителя: сего требовали Патриарх и Синклит именем России; сего без сомнения хотел и Борис, чтобы важным церковным действием утвердить престол за собою и своим родом: но хитрым умом властвуя над движениями сердца, вымыслил новое очарование; вместо скипетра взял меч в десницу и спешил в поле, доказать, что безопасность отечества ему дороже и короны и жизни. Так Царствование самое миролюбивое началось ополчением, которое приводило на память восстание Россиян для битвы с Мамаем!

Еще в Марте месяце, из келии Новодевичьего монастыря, отправив гонца к Хану с дружественным письмом, Борис 1 Апреля свёдал, по донесению Воеводы Оскольского, что пленник, взятый Козаками за Донцом в сшибке с толпою Крымских разбойников, говорит о намерении Казы-Гирея вступить в пределы Московские со всею Ордою и с семью тысячами Султанских воинов. Борис не усомнился в истине столь мало достоверного известия и решился, не теряя времени, двинуть всю громаду наших сил к берегам Оки; писал о том к Воеводам,

убедительно и ласково, требуя от них ревности в первой, важной опасности его Царствования, в доказательство любви к нему и к России. Сей указ произвел удивительное действие: не было ни ослушных, ни ленивых; все Дети Боярские, юные и престарелые, охотно садились на коней; городские и сельские дружины без отдыха спешили к местам сборным. Главному стану назначили быть в Серпухове, Правой Руке в Алексине,левой в Кошире, Передовому полку в Калуге, Сторожевому в Коломне. – 20 Апреля пришли новые вести: писали из Белагорода, что Татарин, схваченный Донскими Козаками на перевозе, сказывал им о сильном вооружении Хана; что толпы Крымские, хотя и малочисленные, показались в степях и гонят везде наших стражей. Тогда Борис велел все изготовить для *похода Царского* и 2 Мая выехал из Москвы в ратном доспехе, взяв с собою пять Царевичей: Киргизского, Сибирского, Шамахинского, Хивинского и сына Кайбулина, Бояр, Князей Мстиславского, Шуйских, Годуновых, Романовых и других, – многих знатных сановников, и между ими Богдана Бельского, – Печатника Василья Щелкалова, Дворян и Дьяков Думных, 44 Стольника, 20 Стряпчих, 274 Жильца – одним словом, всех людей нужных и для войны и для совета и для пышности дворской. В Москве остался, при Царицах инокине Александре и Марии, юный Феодор с Боярами Дмитрием Ивановичем Годуновым, Князьями Трубецким, Глинским, Черкасским, Шестуновым и другими; а при Феодоре *дядька* Иван Чемоданов. Сделали распоряжение в столице и на случай осады ее: назначили Воевод для защиты стен и башен, для отъездов, вылазок и битв вне укреплений. 10 Мая, в селе Кузминском, представили Царю двух пленников, Литовского и Цесарского, ушедших из Крыма: они уверяли, что Хан уже в поле и действительно идет на Москву. Тогда Борис послал гонцов ко всем начальникам степных крепостей с *милостивым словом*: в Тулу, Оскол, Ливны, Елец, Курск, Воронеж; сим гонцам велено было *спросить о здравии* как Воевод, так и Дворян, Сотников, Детей Боярских, стрельцов и Козаков; вручить грамоты Царские первым и требовать, чтобы они читали их всенародно. «Я стою на берегу Оки (писал Борис) и смотрю на степи: где явятся неприятели, там и меня увидите». В Серпухове он распорядил Воеводство, дав *почетное* Царевичам, и действительное пяти Князьям знатнейшим: в главной рати Мстиславскому, в Правой Руке Василию Шуйскому, в левой Ивану Голицыну, в Передовом полку Дмитрию Шуйскому, в Сторожевом Тимофею Трубецкому. Оградою древней России, в случае Ханских впадений, служили, сверх крепостей, засеки в местах трудных для обхода: близ Перемышля, Лихвина, Белева, Тулы, Боровска, Рязани: Государь рассмотрел чертежи их и послал туда особенных Воевод с Мордвою и стрельцами; устроил еще *плавную*, или судовую, рать на Оке, чтобы тем более вредить неприятелю в битвах на берегах ее. Видели, чего не видали дотол: *полмиллиона войска*, как уверяют, в движении стройном, быстром, с усердием несказанным, с доверенностью беспредельною. Все действовало сильно на воображение людей: и новость Царствования, благоприятная для надежды, и высокое мнение о Борисовой, уже долговременными опытами изведенной мудрости. Исчезло самое местничество: Воеводы спрашивали только, где им быть, и шли к своим знаменам, не справляясь с разрядными книгами о службе отцов и дедов: ибо Царь объявил, что Великий Собор бил ему челом предписать Боярам и Дворянству *службу без мест*. Сия ревность, способствуя нужному повиновению, имела и другое важное следствие: умножила число воинов, и воинов исправных: Дворяне, Дети Боярские выехали в поле на лучших конях, в лучших доспехах, со всеми слугами, годными для ратного дела, к живейшему удовольствию Царя, который не знал меры в изъявлениях милости: ежедневно смотрел полки и дружины, приветствовал начальников и рядовых, угощал обедами, и всякий раз не менее десяти тысяч людей, на серебряных блюдах, под шатрами. Сии истинно Царские угощения продолжались шесть недель: ибо слухи о неприятеле вдруг замолкли; разъезды наши уже не встречали его; тишина Царствовала на берегах Донца, и стражи, нигде не видя пыли, нигде не слыша конского топота, дремали в безмолвии степей. Ложные ли слухи обманули Бориса, или он притворным легковерием обманул Россию, чтобы явить себя Царем не только Москвы, но и всего воинства, воспламенить любовь его к новому Самодержцу, в годину опасности предпочитающему бранный шлем венцу Мономахову, и тем удвоить блеск своего торжественного воцарения? Хитрость достойная Бориса и едва ли сомнительная. – Вместо тучи врагов, явились в южных пределах России мирные Послы Казы-Гиреевы с нашим гонцом: Елецкие Воеводы 18 июня донесли о том Борису, который наградил вестника деньгами и чином.

Следственно ополчение беспримерное, стоив великого иждивения и труда, оказалось напрасным? Уверяли, что оно спасло государство, поразив Хана ужасом; что Крымцы шли действительно, но узнав о восстании России, бежали назад. По крайней мере Царь хотел впечатлеть ужас в Послов Ханских, из коих главным был Мурза Алей: они въехали в Россию как

в стан воинский; видели на пути блеск мечей и копий, многолюдные дружины всадников, красиво одетых, исправно вооруженных; в лесах, в засеках слышали оклики и пальбу. Их остановили близ Серпухова, в семи верстах от Царских шатров, на лугах Оки, где уже несколько дней сходилась рать отовсюду. Там, 29 июня, еще до рассвета загремело сто пушек, и первые лучи солнца осветили войско несметное, готовое к битве. Велели Крымцам, изумленным сею ужасною стрельбою и сим зрелищем грозным, идти к Царю, сквозь тесные ряды пехоты, вдали окруженной густыми толпами конницы. Введенные в шатер Царский, где все блистало оружием и великолепием – где Борис, вместо короны увенчанный златым шлемом, первенствовал в сонме Царевичей и Князей не столько богатством одежды, сколько видом повелительным – Алей Мурза и товарищи его долго безмолвствовали, не находя слов от удивления и замешательства; наконец сказали, что Казы-Гирей желает вечного союза с Россиею, возобновляя договор, заключенный в Феодорово Царствование: *будет в воле* Борисовой и готов со всею Ордою идти на врагов Москвы. Послов угостили пышно и вместе с ними отправили наших к Хану для утверждения новой союзной грамоты его присягою.

В сей же день Св. Петра и Павла Царь простился с войском, дав ему роскошный обед в поле: 500 000 гостей пировало на лугах Оки; яства, мед и вино развозили обозами; чиновников дарили бархатами, парчами и камками. Последним словом Царя было: «люблю воинство Христианское и надеюсь на его верность». Громкие благословения провожали Бориса далеко по Московской дороге. Воеводы, ратники были в восхищении от Государя столь мудрого, ласкового и счастливого: ибо он без кровопролития, одною угрозою, дал отечеству вожденнейший плод самой блестящей победы: тишину, безопасность и честь! Россияне надеялись, говорит Летописец, что все Царствование Борисово будет подобно его началу, и славили Царя искренно. – Для наблюдения осталась часть войска на Оке; другая пошла к границе Литовской и Шведской; большую часть распустили: но все знатнейшие чиновники спешили вслед за Государем в столицу.

Там новое торжество ожидало Бориса: вся Москва встретила его, как некогда Иоанна, завоевателя Казани, и Патриарх в приветственной речи сказал ему: «Богом избранный, Богом возлюбленный, великий Самодержец! Мы видим славу твою: ты благодаришь Всевышнего! Благодарим Его вместе с тобою; но радуйся же и веселися с нами, совершив подвиг бессмертный! Государство, жизнь и достояние людей целы; а лютый враг, преклонив колена, молит о мире! Ты не скрыл, но умножил талант свой в сем случае удивительном, ознаменованном более, нежели человеческою мудростию... – Здравствуй о Господе, Царь любезный Небу и народу! От радости плачем и тебе кланяемся». Патриарх, Духовенство и народ преклонились до земли. Изъявляя чувствительность и смирение, Государь спешил в храм Успения славословить Всевышнего и в монастырь Новодевичий к печальной Ирине.

Все дома были украшены зеленью и цветами.

Но Борис еще отложил свое Царское венчание до 1 Сентября, чтобы совершить сей важный обряд в Новое Лето, в день общего доброжелательства и надежд, лестных для сердца. Между тем грамота избирательная была написана от имени Земской Думы с таким прибавлением: «Всем послушникам Царской воли неблагословение и клятва от Церкви, месть и казнь от Синклита и Государства; клятва и казнь всякому мятежнику, *раскольнику любопрительному*, который дерзнет противоречить деянию соборному и колебать умы людей молвами злыми, кто бы он ни был, священного ли сана или Боярского, Думного или воинского, гражданин или Вельможа: да погибнет и память его вовеки!» Сию грамоту утвердили 1 Августа своими подписями и печатями Борис и юный Феодор, Иов, все Святители, Архимандриты, Игумены, Протопопы, Келари, старцы чиновные, – Бояре, Окольничие, знатные сановники двора, Печатник Василий Щелкалов, Думные Дворяне и Дьяки, Стольники, Дьяки Приказов, Дворяне, Стряпчие и Выборные из городов, Жильцы, Дьяки нижней степени, гости, Сотские, числом около пятисот: один список ее был положен в сокровищницу Царскую, где лежали государственные уставы прежних Венценосцев, а другой в Патриаршую ризницу в храме Успения. – Казалось, что мудрость человеческая сделала все возможное для твердого союза между Государем и Государством!

Наконец Борис венчался на Царство, еще пышнее и торжественнее Феодора, ибо приял утварь Мономахову из рук Вселенского Патриарха. Народ благоговел в безмолвии; но когда Царь, осененный десницею Первосвятителя, в порыве живого чувства как бы забыв устав церковный, среди Литургии воззвал громогласно: «Отче, великий патриах Иов! Бог мне свидетель, то в моем Царстве не будет ни сирого, ни бедного» – и, тряся верх своей рубашки, примолвил: «отдам и сию последнюю народу»: тогда единодушный восторг прервал священнодействие:

слышны были только клики умиления и благодарности в храме; Бояре славословили Монарха, народ плакал. Уверяют, что новый Венценосец, тронутый знаками общей к нему любви, тогда же произнес и другой важный обет: щадить жизнь и кровь самых преступников и единственно удалять их в пустыни Сбирские. Одним словом, никакое Царское венчание в России не действовало сильнее Борисова на воображение и чувство людей. – Осыпанный в дверях церковных золотом из рук Мстиславского, Борис в короне, с державою и скиптром спешил в Царскую палату занять место Вряжских Князей на троне России, чтобы милостями, щедротами и государственными благодеяниями праздновать сей день великий.

Началось с Двора и Синклита: Борис пожаловал Царевича Киргизского, Ураз-Магмета, в Цари Касимовские; Дмитрия Ивановича Годунова в Конюшие, Степана Васильевича Годунова в Дворецкие (на место доброго Григорья Васильевича, который один не радовался возвышению своего рода и в тайной горести умер); Князей Катырева, Черкасского, Трубецкого, Ноготкова и Александра Романова-Юрьева в Бояре; Михайла Романова, Бельского (любимца Иоаннова и своего бывшего друга), Кривого-Салтыкова (также любимца Иоаннова) и четырех Годуновых в Окольные; многих в стольники и в иные чины. Всем людям служивым, воинским и гражданским он указал выдать двойное жалованье, гостям Московским и другим торговать беспощадно два года, а земледельцев казенных и самых диких жителей Сибирских освободить от податей на год. К сим милостям чрезвычайным прибавил еще новую для крестьян господских: уставил, сколько им работать и платить господам законно и безобидно. – Обнародовав с престола сии Царские благодеяния, Борис двенадцать дней угощал народ пирами.

Казалось, что и Судьба благоприятствовала новому Монарху, ознаменовав начало его державства и воцеленным миром и счастливым успехом оружия, в битве маловажной числом воинов, но достопамятной своими обстоятельствами и следствиями, местом победы, на краю света, и лицом побежденного. Мы оставили Царя-изгнанника Сибирского Кучюма в степи Барабинской, непреклонного к милостивым предложениям Феодоровым, неутомимого в набегах на отнятые у него земли и все еще для нас опасного. Воевода Тарский, Андрей Воейков, выступил (4 Августа 1598) с 397 Козаками, Литовцами и людьми ясашными к берегам Оби, где среди полей, засеянных хлебом и вдали окруженных болотами, гнезился Кучюм с бедными остатками своего Царства, с женами, с детьми, с верными ему Князьями и воинами, числом до пятисот. Он не ждал врага: бодрый Воейков шел день и ночь, кинув обоз; имел лазутчиков, хватал неприятельских, и 20 Августа пред восходом солнца напал на укрепленный стан Ханский. Целый день продолжалась битва, уже последняя для Кучюма: его брат и сын, Илитен и Кан, Царевичи, 6 Князей, 10 Мурз, 150 лучших воинов пали от стрельбы наших, которые около вечера вытеснили Татар из укрепления, прижали к реке, утопили их более ста и взяли 50 пленников; немногие спаслись на судах в темноте ночи. Так Воейков отмстил Кучюму за гибель Ермака неосторожного! Восемь жен, пять сыновей и восемь дочерей Ханских, пять Князей и немало богатства остались в руках победителя. Не зная о судьбе Кучюма и думая, что он, подобно Ермаку, утонул во глубине реки, Воейков не рассудил за благо идти далее: сжег, чего не мог взять с собою, и с знатными своими пленниками возвратился в Тару донести Борису, что в Сибири уже нет иного Царя, кроме Российского. Но Кучюм еще жил, двумя усердными слугами во время битвы увезенный на лодке вниз по Оби в землю Чатскую. Еще Воеводы наши снова предлагали ему ехать в Москву, соединиться с его семейством и мирно дожить век благодеяниями Государя великодушного. Сеит, именем Тул-Мегмет, посланный Воейковым, нашел Кучюма в лесу близ того места, где лежали тела убитых Россиянами Татар, на берегу Оби: слепой старец, неодолимый бедствиями, сидел под деревом, окруженный тремя сыновьями и тридцатью верными слугами; выслушал речь Сеитову о милости Царя Московского и спокойно отвечивал: «Я не поехал к нему и в лучшее время доброю волею, целый и богатый: теперь поеду ли за смертью? Я слеп и глух, беден и сир. Жалею не о богатстве, но только о милом сыне Асманаке, взятом Россиянами: с ним одним, без Царства и богатства, без жен и других сыновей, я мог бы еще жить на свете. Теперь посылаю остальных детей в Бухарию, а сам еду к Ногаям». Он не имел ни теплой одежды, ни коней и просил их из милости у своих бывших подданных, жителей Чатской волости, которые уже обещались быть данниками России: они прислали ему одного коня и шубу.

Кучюм возвратился на место битвы и там, в присутствии Сеита, занимался два дня погребением мертвых тел; в третий день сел на коня – и скрылся для Истории. Остались только неверные слухи о бедственной его кончине: пишут, что он, скитаясь в степях Верхнего Иртыша в земле Калмыцкой и близ озера Заисан-Нора, похитив несколько лошадей, был гоним жителями

из пустыни в пустыню, разбит на берегу озера Кургальчина и почти один явился в Улусе Ногаев, которые безжалостно умертвили слепого старца изгнанника, сказав: «Отец твой нас грабил, а ты не лучше отца». Весть о сем происшествии обрадовала Москву и Россию: Борис с донесением Воейкова спешил ночью в монастырь к Ирине, любя делить с нею все чистые удовольствия державного сана. Истребление Кучюма, первого и последнего Царя Сибирского, если не могуществом, то непреклонною твердостью в злосчастии достопамятного, как бы запечатлело для нас господство над полунощною Азией. В столице и во всех городах снова праздновали завоевание сего неизмеримого края, звоном колокольным и молебнами. Воейкова наградили золотою медалью, а его сподвижников деньгами; велели привезти знатных пленников в Москву и дали народу удовольствие видеть их торжественный въезд (в Генваре 1599). Жены, дочери, невестки и сыновья Кучюмовы (юноши Асманак и Шаим, отрок Бабадша, младенцы Кумуш и Молла) ехали в богатых *резных* санях: Царицы и Царевны в шубах бархатных, атласных и камчатных, украшенных золотом, серебром и кружевом; Царевичи в ферезах багряных, на мехах драгоценных; впереди и за ними множество всадников, Детей Боярских, по два в ряд, все в шубах собольих, с пищалями. Улицы были наполнены зрителями, Россиянами и чужеземцами. Цариц и Царевичей разместили в особенных домах, купеческих и Дворянских; давали им содержание пристойное, но весьма умеренное; наконец отпустили жен и дочерей Ханских в Касимов и в Бежецкий Верх к Царю Ураз-Магмету и к Царевичу Сибирскому Маметкулу, согласно с желанием тех и других. Сын Кучюмов Абдул-Хаир, взятый в плен еще в 1591 году, принял тогда Христианскую Веру и был назван Андреем.

С сего времени уже не имея войны, но единственно усмиряя, без важных усилий, строптивость наших данников в Сибири и страхом или выгодами мирной, деятельной власти умножая число их, мы спокойно занимались там основанием новых городов: Верхотурья в 1598, Мангазеи и Туринска в 1600, Томска в 1604 годах; населяли их людьми воинскими, семейными, особенно Козаками Литовскими или Малороссийскими, и самых коренных жителей Сибирских употребляли на ратное дело, вселяя в них усердие к службе льготою и честью, так что с величайшею ревностью содействовали нам в покорении своих единоплеменников. Одним словом, если случай дал Иоанну Сибирь, то государственный ум Борисов надежно и прочно встроил ее в состав России.

В делах внешней политики Российской ничто не переменилось: ни дух ее, ни виды. Мы везде хотели мира или приобретений без войны, готовясь единственно к оборонительной; не верили доброжелательству тех, коих польза была несовместна с нашею, и не упускали случая вредить им без явного нарушения договоров.

Хан, уверяя Россию в своей дружбе, откладывал торжественное заключение нового договора с новым Царем: между тем Донские Козаки тревожили набегами Тавриду, а Крымские разбойники Белгородскую область. Наконец, в июне 1602 года, Казы-Гирей, приняв дары, оцененные в 14 000 рублей, вручил послу, Князю Григорию Волконскому, шертную грамоту со всеми торжественными обрядами, но еще хотел тридцати тысяч рублей и жаловался, что Россияне стесняют Ханские Улусы основанием крепостей в степях, которые были дотоле при волею Татарским. «Не видим ли (говорил он) вашего умысла, столь недружелюбного? Вы хотите задушить нас в ограде. А я вам друг, каких мало. Султан живет мыслию идти войною на Россию, но слышит от меня всегда одно слово: *далеко! там пустыни, леса, воды, болота, грязи непроходимые*». Царь отвечал, что казна его истощилась от милостей, оказанных войску и народу; что крепости основаны единственно для безопасности наших Посольств к Хану и для обуздания хищных Донских Козаков; что мы, имея рать сильную, не боимся Султановой. Любимец Казы-Гиреев Ахмет-Челибей, присланный к Царю с союзною грамотою, требовал от него клятвы в верном исполнении взаимных условий: Борис взял в руки *книгу* (без сомнения не Евангелие) и сказал: «Обещаю искреннее дружество Казы-Гирею: вот моя *большая присяга*», не хотел ни целовать креста, ни показать сей книги Челибею, коего уверяли, что Государь Российский из особенной любви к Хану изустно произнес священное обязательство союза и что договоры с иными венценосцами утверждаются только Боярским словом. Так Борис, вопреки древнему обыкновению, уклонился от бесполезного унижения святыни в делах с варварами, уважающими одну корысть и силу; честил Хана умеренными дарами, а всего более надеялся на войско, готовое для защиты юго-восточных пределов России, и сохранил их спокойствие. Были взаимные досады, однако ж без всяких неприятельских действий. В 1603 году Казы-Гирей с гневом выслал из Тавриды нового Посла Государева Князя Борятинского за то, что он не хотел удержать Донских Козаков от впадения в Карасанский Улус, отвечая грубо: «у вас есть сабля; а мое дело сноситься только с Ханом, не с ворами Козаками». Но сей случай не произвел

разрыва: Хан жаловался без угроз и подтвердил обязательство умереть нашим другом, опасаясь тогда Султана и думая найти защитника в Борисе.

В делах с Литвою и с Швециею Борис также старался возвысить достоинство России, пользуясь случаем и временем. Сигизмунд, именем еще Король Швеции, уже воевал с ее Правителем, дядею своим, Герцогом Карлом, и склонил Вельможных Панов к участию в сем междоусобии, уступив их отечеству Эстонию. В таких благоприятных для нас обстоятельствах Литва домогалась прочного мира, а Швеция союза с Россиею: Борис же, изъявляя готовность к тому и к другому, вымышлял легкий способ взять у них, что было нашим и что мы уступили им невольно: древние Орденские владения, о коих столько жалел Иоанн, жалела и Россия, купив оные долговременными, кровавыми трудами и за ничто отдав властолюбивым иноземцам.

Мы упоминали о сыне Шведского Короля Эрика, изгнаннике Густаве. Скитаясь из земли в землю, он жил несколько времени в Торне, скудным жалованьем брата своего Сигизмунда и решился (в 1599 году) искать счастья в нашем отечестве, куда звали его и Феодор и Борис, предлагая ему не только временное убежище, но и знатное поместье или удел. На границе, в Новгороде, в Твери ждали Густава сановники царские с приветствиями и дарами; одели в золото и в бархат; ввезли в Москву на богатой колеснице; представили Государю в самом пышном собрании Двора. Поцеловав руку у Бориса и юного Феодора, Густав произнес речь (зная Славянский язык); сел на золотом изголовье; обедал у Царя за столом особенным, имея особенного крайчего и чашника. Ему дали огромный дом, чиновников и слуг, множество драгоценных сосудов и чаш из кладовых Царских; наконец Удел Калужский, три города с волостями, для дохода. Одним словом, после Борисова семейства Густав казался первым человеком в России, ежедневно ласкаемый и даримый. Он имел достоинства: душевное благородство, искренность, сведения редкие в науках, особенно в химии, так что заслужил имя второго Феофраста Парацельса; знал языки, кроме Шведского и Славянского, Италиянский, Немецкий, Французский; много видел в свете, с умом любопытным, и говорил приятно. Но не сии достоинства и знания было виною Царской к нему милости: Борис мыслил употребить его в орудие политики как второго Магнуса, желая иметь в нем страшилище для Сигизмунда и Карла; обольстил Густава надеждою быть Властителем Ливонии с помощью России и хитро приступил к делу, чтобы обольстить и Ливонию. Еще многие сановники Дерптские и Нарвские жили в Москве с женами и детьми в неволе сносной, однако ж горестной для них, лишенных отечества и состояния: Борис дал им свободу с условием, чтобы они присягнули ему в верности неизменной; ездили, куда хотят: в Ригу, в Литву, в Германию для торговли, но везде были его усердными слугами, наблюдали, выведывали важное для России и тайно доносили о том Печатнику Щелкалову. Сии люди, некогда купцы богатые, уже не имели денег: Царь велел им раздать до двадцати пяти тысяч нынешних рублей серебряных, чтобы они тем ревностнее служили России и преклоняли к ней своих единоплеменников. Зная неудовольствие жителей Рижских и других Ливонцев, утесняемых Правительством и в гражданской жизни и в богослужении, Царь велел тайно сказать им, что если хотят они спасти вольность свою и Веру отцев; если ужасаются мысли рабствовать всегда под тяжким игом Литвы и сделаться *Папистами или Иезуитами*: то щит России над ними, а меч ее над их утеснителями; что сильнейший из Венценосцев, равно славный и мудростию и человеколюбием, желает быть отцем более, нежели Государем Ливонии и ждет Депутатов из Риги, Дерпта и Нарвы для заключения условий, которые будут утверждены присягою Бояр; что свобода, законы и Вера останутся там неприкосновенными под его верховною властью. В то же время Воеводы Псковские должны были искусно разгласить в Ливонии, что Густав, столь милостиво принятый Царем, немедленно вступит в ее пределы с нашим войском, дабы изгнать Поляков, Шведов и господствовать в ней с правом наследственного Державца, но с обязанностию Российского присяжника. Сам Густав писал к Герцогу Карлу: «Европе известна бедственная судьба моего родителя; а тебе известны ее виновники и мои гонители: оставляю месть Богу. Ныне я в *тихом и безбоязненном пристанище* у великого Монарха, милостивого к несчастным державного племени. Здесь могу быть полезен нашему любезному отечеству, если ты уступишь мне Эстонию, угрожаемую Сигизмундовым властолюбием: с помощью Божиею и Царскою буду не только стоять за города ее, но возьму и всю Ливонию, мою законную отчину». Заметим, что о сем письме не упоминается в наших переговорах с Швециею; оно едва ли было доставлено Герцогу: сочиненное, как вероятно, в приказе Московском, ходило единственно в списках из рук в руки между Ливонскими гражданами, чтобы волновать их умы в пользу Борисова замысла. Так мы хитрили, будучи в перемирии с Литвою и в мире с Швециею!

Но сия хитрость, не чуждая коварства, осталась бесплодною – от трех причин: 1) Ливонцы издревле страшились и не любили России; помнили историю Магнуса и видели еще следы Иоаннова свирепства в их отечестве; слушали наши обещания и не верили. Только некоторые из Нарвских жителей, тайно сносясь с Борисом, умышляли сдать ему сей город; но, обличенные в сей измене, были казнены всенародно. 2) Мы имели лазутчиков, а Сигизмунд и Карл войско в Ливонии: могла ли она, если бы и хотела, думать о Посольстве в Москву? Густав лишился милости Бориса, который думал женить его на Царевне Ксении, с условием, чтобы он исповедовал одну Веру с нею; но Густав не согласился изменить своему Закону, ни оставить любовницы, привезенной им с собою из Данцига; не хотел быть, как пишут, и слепым орудием нашей Политики ко вреду Швеции; требовал отпуска и, разгоряченный вином, в присутствии Борисова медика Фидлера грозился зажечь Москву, если не дадут ему свободы выехать из России: Фидлер сказал о том Боярину Семену Годунову, а Боярин Царю, который, в гнев отняв у неблагодарного и сокровища и города, велел держать его под стражею в доме; однако ж скоро умилостивился и дал ему вместо Калуги разоренный Углич. Густав (в 1601 году) снова был у Царя, но уже не обедал с ним; удалился в свое поместье и там, среди печальных развалин, спокойно занимался химиею до конца Борисовой жизни. Неволеею перевезенный тогда в Ярославль, а после в Кашин, сей несчастный Принц умер в 1607 году, жалуясь на ветреность той женщины, которой он пожертвовал блестящею долею в России. Уединенную могилу его в прекрасной березовой роще, на берегу Кашенки, видели знаменитый Шведский Военачальник Иаков де-ла-Гарди и Посланник Карла IX Петрей в царствование Шуйского.

Между тем мы имели случай гордостью отплатить Сигизмунду за уничтожение, претерпенное Иоанном от Батория. Великий Посол Литовский Канцлер Лев Сапега, приехав в Москву, жил шесть недель в праздности для того, как ему сказывали, что Царь мучился подагрой. Представленный Борису (16 Ноября 1600), Сапега явил условия, начертанные Варшавским Сеймом для заключения вечного мира с Россиею: их выслушали, отвергнули и еще несколько месяцев держали Сапегу в скучном уединении, так что он грозился сесть на коня и без дела уехать из Москвы. Наконец, будто бы из уважения к милостивому ходатайству юного Борисова сына, Государь велел Думным Советникам заключить перемирие с Литвою на 20 лет. 11 Марта (1601 года) написали грамоту, но не хотели именовать в ней Сигизмунда *Королем Швеции* под лукавым предлогом, что он не известил ни Феодора, ни Бориса о своем восшествии на трон отцевский: в самом же деле мы пользовались случаем мести за старое упрямство Литвы называть Государей Российских единственно Великими Князьями и тем еще давали себе право на благодарность Шведского Властителя – право входить с ним в договоры как с законным Монархом. Тщетно Сапега возражал, требовал, молил, даже *с слезами*, чтобы внести в грамоту весь титул Королевский: ее послали к Сигизмунду для утверждения с Боярином Михайлом Глебовичем Салтыковым и с Думным Дьяком Афанасием Власьевым, которые, невзирая на худое гостеприимство в Литве, успели в главном деле, к чести двора Московского. Сигизмунд предводительствовал тогда войском в Ливонии и звал их к себе в Ригу: они сказали: «будем ждать Короля в Вильне», – и поставили на своем; в глубокую осень жили несколько времени на берегах Днепра в шатрах; терпели холод и недостаток, но принудили Короля ехать для них в Вильну, где начались жаркие прения. Литовские Вельможи говорили Салтыкову и Власьеву: «если действительно хотите мира, то признайте нашего Короля Шведским, а Эстонию собственностью Польши». Салтыков отвечал: «Мир вам нужнее, нежели нам. Эстония и Ливония собственность России от времен Ярослава Великого; а Шведским Королевством владеет ныне Герцог Карл: Царь не дает никому пустых титулов». «...Карл есть изменник и хищник, – возражали Паны: – Государь ваш перестанет ли называться в титуле *Астраханским* или *Сибирским*, если какой-нибудь разбойник на время завладеет сими землями? Знатная часть Венгрии ныне в руках Султана, но Цесарь именуется Венгерским, а Король Испанский Иерусалимским». Убеждения остались без действия; но Сигизмунд, целуя крест пред нашими Послами (7 Генваря 1602) с обещанием свято хранить договор, примолвил: «Клянуся именем Божиим умереть с моим наследственным титулом Короля Шведского, не уступать никому Эстонии и в течение сего двадцатилетнего перемирия добывать Нарвы, Ревеля и других городов ее, кем бы они ни были заняты». Тут Салтыков выступил и сказал громко: «Король Сигизмунд! Целуй крест к Великому Государю Борису Феодоровичу по точным словам грамоты, без всякого прибавления – или клятва не в клятву!» Сигизмунд должен был переговорить свою речь, как требовал Боярин и смысл грамоты. Следственно в Москве и в Вильне Политика Российская одержала верх над Литовскою: Король уступил, ибо не хотел воевать в одно время и с Шведами и с нами; устоял только в отказе величать Бориса именем

Царя и Самодержца, чего мы требовали и в Москве и в Вильне, но удовольствовались словом, что сей титул, бесспорно, будет дан Королем Борису при заключении мира вечного. «Хорошо (говорили Паны) и двадцать лет не лить Христианской крови: еще лучше успокоить навсегда обе Державы. Двадцать лет пройдут скоро; а кто будет тогда Государем и в Литве и в России, неизвестно». Заметим еще обстоятельство достопамятное: Послы Московские, в день своего отпуска пируя во дворце Королевском, увидели юного Сигизмундова сына, Владислава, и как бы в предчувствии будущего вызвались целовать у него руку: сей отрок семилетний, коему надлежало в возрасте юноши явиться столь важным действующим лицом в нашей истории, приветствовал их умно и ласково; встав с места и сняв с себя шляпу, велел кланяться Царевичу Феодору и сказать ему, что желает быть с ним в искренней дружбе. Знатный Боярин Салтыков и Думный Дьяк Власьев, который заменил Щелкалова в делах государственных, могли, храня в душе приятное воспоминание о юном Владиславе, вселить во многих Россиян добрые мысли о сем, действительно любезном Королевиче. – Возвратясь, Послы донесли Борису, что он может быть уверен в безопасности и тишине с Литовской стороны на долгое время; что Король и Паны знают, видят силу России, управляемую столь мудрым Государем, и конечно не помыслят нарушить договора ни в каком случае, внутренно славя миролюбие Царя как особенную милость Божию к их отечеству.

Мы сказали, что Правитель Швеции искал союза России: Борис, убеждая Герцога не мириться с Сигизмундом, позволял Шведам идти из Финляндии к Дерпту чрез Новгородское владение и хотел действовать вместе с ними для изгнания Поляков из Ливонии. Королевские чиновники ездили в Москву, наши в Стокгольм с изъявлениями взаимного дружества. В знак чрезвычайного уважения к Борису, Герцог тайно спрашивал у него, исполнить ли ему волю чинов государственных и назваться ли Королем Шведским? Царь советовал *исполнить и немедленно, для истинного блага Швеции*, и тем заслужил живейшую признательность Карлову; советовал искренно, ибо безопасность России требовала, чтобы Литва и Швеция имели разных Властителей. Но мы желали Нарвы, и для того хитрый Царь (в Феврале 1601) объявил Шведским Послам Карлу Гендрихсону и Георгию Клаусону, бывшим у нас в одно время с Литовским Канцлером Сапегою, что должно еще снова рассмотреть и торжественно утвердить мирную грамоту 1597 года, писанную от имени Феодорова и Сигизмундова: что она недействительна, ибо Сигизмунд не утвердил ее; что обстоятельства переменились и что сей Король готов уступить нам часть Ливонии, если будем помогать ему в войне с Герцогом. Послы удивились. «Мы заключили мир (говорили они Боярам) не между Феодором и Сигизмундом, а между Швециею и Россиею, до скончания веков, именем Божиим, и добросовестно исполнили условия: отдали Кексгольм вопреки Сигизмундову несогласию. Нет, Герцог Карл не поверит, чтобы Царь думал нарушить обет, запечатленный целованием креста на святом Евангелии. Если Сигизмунд уступает вам города в Ливонии, то уступает не свое: половина ее завоевана Герцогом. И союз с Литвою надежен ли для Царя? Прекратились ли споры о Киеве и Смоленске? Гораздо скорее можно согласить выгоды Швеции и России: главная их выгода есть мирное, доброе соседство. Не сам ли Царь убеждал Карла не мириться с Сигизмундом? Мы воюем и берем города: что мешает вам также ополчиться и разделить Ливонию с нами?» Но Борис, с удовольствием видя пламя войны между Герцогом и Королем, не мыслил в ней участвовать, по крайней мере до времени; заключив перемирие с Литвою, медлил утвердить бескорыстный мир с Карлом; отпустил его Послов ни с чем и, тайно склоняя жителей Эстонии изменить Шведам, чтобы присоединиться к России, досаждал ему сим непрямотушием – но в то же время искренно доброхотствовал в войне Ливонской: ибо торжество Сигизмундово угрожало нам соединением Шведской короны с Польскою, а торжество Карлово разделяло их навеки. Борис первый из Государей Европейских и всех охотнее признал Герцога Королем Швеции и в сношениях с ним уже давал ему сие имя, когда и сам Герцог еще назывался только Правителем.

Новая важная связь Борисова с наследственным врагом Швеции могла также беспокоить Карла. Известив соседственных и других Венценосцев, Императора, Елисавету о своем воцарении, Борис долго медлил оказать сию учтивость Королю Датскому, Христиану; но с 1601 года начались весьма дружелюбные сношения между ими. В одно время Послы Христиановы, Эске-Брок и Карл Бриске, отправились в Москву, а наши, знатный Дворянин Ржевский и Дьяк Дмитриев в Копенгаген для взаимного приветствия и для разрешения старых, бесконечных споров о Кольских и Варгавских пустынях. Доказывая, что вся Лапландия принадлежала Норвегии, Христиан ссылаясь на Историю Саксона Грамматика и даже на Мюнстерову Космографию; говорил еще, что сами Россияне издревле называют Лапландию *Мурманскою* или

Норвежскою землею; а мы возражали, что она без сомнения наша, ибо в Царствование Василия Иоанновича Новгородский Священник Илия крестил ее диких жителей, и еще утверждали сие право собственности следующею повестью, основанною на предании тамошних старцев: «Жил некогда в Кореле, или Кексгольме, знаменитый *Владелец* именем *Валит*, или Варент, данник великого Новгорода, муж необычной храбрости и силы: воевал, побеждал и хотел господствовать над Лопью, или *Мурманскою* землею. Лопари требовали защиты соседственных *Норвежских* Немцев; но Валит разбил и Немцев, там, где ныне *летний* погост *Варенский*, и где он, в память векам, положил своими руками огромный камень в вышину более сажени; сделал вокруг его твердую ограду *в двенадцать стен* и назвал ее *Вавилоном*, сей камень и теперь именуется *Валитовым*. Такая же ограда существовала на месте Кольского острога. Известны еще в земле Мурманской *Губа Валитова* и *Городище Валитова* среди острова или высокой скалы, где безопасно отдыхал витязь Корельский. Наконец побежденные Немцы заключили с ним мир, отдав ему всю Лопь до реки Ивгея. Долго славный и счастливый, Валит, именем Христианским Василий, умер и схоронен в Кексгольме в церкви Спаса; Лопари же с того времени платили дань Новгороду и Царям Московским». Сии исторические доводы с обеих сторон были не весьма убедительны, и датчане в знак миролюбия желали разделить Лапландию с нами вдоль или поперек на две равные части; а Борис, из любви к Христиану, уступал ему все земли за монастырем Печенским к северу, предоставляя Датским и Российским чиновникам на будущем съезде близ Колы означить границы обеих Держав. Между тем возобновили договор о свободной торговле Датских купцов в России; условились и в деле важнейшем.

Борис искал достойного жениха для прелестной Царевны между Европейскими Принцами державного племени, чтобы таким союзом возвысить блеск своего Дому в глазах Бояр и Князей Российских, которые еще недавно видели Годуновых ниже себя: не успев в намерении отдать руку дочери вместе с Ливониею Густаву, сей нежный родитель и хитрый Политик надеялся доставить счастье Ксении и выгоды Государству супружеством ее с Герцогом Иоанном, братом Христиановым, юношею умным и приятным, который, подобно Густаву, мог служить орудием наших властолюбивых замыслов на Эстонию, бывшую собственностью Дании. Царь предложил, и Король, не уstraшенный судьбою Магнуса, обрадовался чести быть сватом знаменитого Самодержца Московского, в надежде его усердным вспоможением осилить враждебную Швецию. К сожалению, любопытные бумаги о сем сватовстве утратились: не знаем условий о Вере, о приданом, ни других взаимных обязательств; но знаем, что Иоанн согласился жертвовать Ксении отечеством и быть Удельным Князем в России: не для того ли, чтобы в случае возможного несчастья, преждевременной кончины юного Царевича трон Московский имел наследников в семействе Борисовом? о чем, вероятно, думал Царь дальновидный, с горячностью любя сына, но любя и мысль о непрерывном наследстве короны, в течение веков, для своего рода. Жених воевал тогда в Нидерландах под знаменами Испании: спешил возвратиться, сел на Адмиральский корабль и вместе с пятью другими приплыл (10 Августа 1602) к устью Наровы. Там ожидала гостя ладия Царская, устланная бархатом – и как скоро Герцог ступил на землю Русскую, загремели пушки: Боярин Михайло Глебович Салтыков и Думный Дьяк Власев приветствовали его именем Царя, – ввели в богатый шатер и поднесли ему 80 драгоценнейших соболей. В карете, блистающей золотом и серебром, Иоанн ехал в Ивановгород мимо Нарвы, где развевались знамена, на башнях и стенах, усеянных любопытными зрителями: так приветствовали его и Шведы, внутренне опасаясь сего путешествия, коего цель они уже знали или угадывали.

Гораздо искреннее честили Герцога в России. С ним были Послы Христиановы, три сенатора (Гильденстерн, Браге и Гольк), восемь знатных сановников, несколько Дворян, два медика, множество слуг: на каждом стане, в самых бедных деревнях, угощали их как бы во дворце Московском; за обедом играла музыка. В городах стреляли из пушек; войско стояло в ружье и чиновники за чиновниками представлялись *Светлейшему Королевичу*. Ехали медленно, в день не более тридцати верст, чрез Новгород, Валдай, Торжок и Старицу. Путешественник не скучал; в часы роздыха гулял верхом или по рекам на лодках; забавлялся охотою, стрелял птиц; беседовал с Боярином Салтыковым и Дьяком Власевым о России, желая знать ее государственные уставы и народные обыкновения. Послы Христиановы советовали ему не вдруг перенимать наши обычаи и держаться еще Немецких: «еду к Царю (говорил он) за тем, чтобы навязать всему Русскому». Будучи 1 Сентября в Бронницах, Иоанн сказал Салтыкову: «Я знаю, что в сей день вы празднуете новый год; что Духовенство, Синклит и Двор ныне торжественно желают многолетия Государю: еще не имею счастья видеть его лицо, но также усердно молюся, да здравствует», – спросил вина и стоя пил *Царские чаши* вместе с Московскими сановниками и Датскими

Послами. Одним словом, Иоанн хотел любви Борисовой и любви Россиян. Салтыков и Власьев писали к Царю о здоровье и веселом нраве Королевича; уведомляли обо всем, что он говорил и делал: даже о нарядах, о цвете его атласных кафтанов, украшенных золотыми или серебряными кружевами! Царь требовал сих подробностей – и высылал новые дары путешественнику: богатые ткани Азиатские, шапки, низанные жемчугом, поясы и кушаки драгоценные, золотые цепи, сабли с бирюзой и с яхонтами. Наконец Иоанн изъявил нетерпение быть в Москве: ему ответствовали, что Государь боялся спешною ездою утомить его – и поехали скорее. 18 Сентября ночевали в Тушине, а 19 приблизились к столице.

Не только воины и люди сановные, от членов Синклита до приказных Дьяков, но и граждане встретили Герцога в поле. Выслушав ласковую речь Бояр, он сел на коня и ехал Москвою при звуке огромного Кремлевского колокола с Датскими и Российскими чиновниками. Ему отвели в Китае-городе лучший дом – и на другой день прислали обед Царский: сто тяжелых золотых блюд с яствами, множество кубков и чаш с винами и медами. 28 Сентября было торжественное представление. От дому Иоаннова до Красного крыльца стояли богато одетые воины; на площади Кремлевской граждане, Немцы, Литва, также в лучшем наряде. У крыльца встретили Иоанна Князь Трубецкой и Черкасский, на лестнице Василий Шуйский и Голицын, в сенях первый Вельможа Мстиславский с Окольничими и Дьяками. Царь и Царевич были в золотой палате, в бархатных порфирах, унизанных крупным жемчугом; в их коронах и на груди сияли алмазы и яхонты величины необыкновенной. Увидев Герцога, Борис и Феодор встали, обняли его с нежностью, сели с ним рядом и долго беседовали в присутствии Вельмож и Царедворцев. Все смотрели на юного Иоанна с любовью, пленяясь его красотою: Борис уже видел в нем будущего сына. Обедали в Грановитой палате: Царь сидел на золотом троне, за серебряным столом, под висящею над ним короною с боевыми часами между Феодором и Герцогом, уже причисленным к их семейству. Угощение заключилось дарами: Борис и Феодор сняли с себя алмазные цепи и надели на шею Иоанну; а царедворцы поднесли ему два ковша золотые, украшенные яхонтами, несколько серебряных сосудов, драгоценных тканей, Английских сукон, Сибирских мехов и три одежды Русские. Но жених не видал Ксении, веря только слуху о прелестях ее, любезных свойствах, достоинствах, и не обманываясь. Современники пишут, что она была среднего роста, полна телом и стройна; имела белизну *млечную*, волосы черные, густые и длинные, *трубами лежащие* на плечах, – лицо свежее, румяное, брови союзные, глаза большие, черные, светлые, красоты несказанной, особенно, когда блистали в них слезы умиления и жалости; не менее пленяла и душою, кротостию, *благоречием*, умом и вкусом образованным, любя книги и сладкие песни духовные. Строгий обычай не позволял показывать и *такой* невесты прежде времени; сама же Ксения и Царица могли видеть Иоанна скрытно, издали, как думали его спутники. Обручение и свадьбу отложили до зимы, готовясь к тому, вместо пиров, молитвою: родители, невеста и брат ее поехали в Лавру Троицкую... О сем пышном выезде Царского семейства очевидцы говорят так:

«Впереди 600 всадников и 25 заводных коней, блистающих убранством, серебром и золотом; за ними две кареты: пустая Царевичева, обитая алым сукном, и другая, обитая бархатом, где сидел Государь: обе в 6 лошадей; первую окружали всадники, вторую пешие Царедворцы. Далее ехал верхом юный Феодор; коня его вели знатные чиновники. Позади Бояре и придворные. Многие люди бежали за Царем, держа на голове бумагу: у них взяли сии челобитные и вложили в красный ящик, чтобы представить Государю. Чрез полчаса выехала Царица в великолепной карете; в другой, со всех сторон закрытой, сидела Царевна: первую везли десять белых коней, вторую восемь. Впереди 40 заводных лошадей и дружина всадников, мужей престарелых, с длинными седыми бородами; сзади 24 Боярыни на белых конях. Вокруг шли 300 Приставов с жезлами». – Там, в обители тишины и святости, Борис с супругою и с детьми девять дней молился над гробом Св. Сергия, да благословит Небо союз Ксении с Иоанном.

Между тем жениха ежедневно честили Царскими обедами в его доме; присылали ему бархаты, объяры, кружева *для Русской одежды*, прислали и богатую постелю, белье, шитое серебром и золотом. Он с ревностию хотел учиться нашему языку и даже переменить Веру, как пишут, чтобы исповедовать одну с будущею супругою; вообще вел себя благоразумно и всем нравился любезностию в обхождении. Но чего искренно желали и Россияне и Датчане – о чем молились родители и невеста – то не было угодно Провидению... На возвратном пути из Лавры, 16 Октября, в селе Братовщине Государь узнал о незапной болезни жениха. Иоанн еще мог писать к нему и прислал своего чиновника, чтобы его успокоить. Недуг усиливался беспрестанно: открылась жестокая горячка; но медики, Датские и Борисовы, не теряли надежды: Царь

заклинал их употребить все искусство, обещая им неслыханные милости и награды. 19 Октября посетил Иоанна юный Феодор, 27 сам Государь вместе с Патриархом и Боярами; увидел его слабого, безгласного; ужаснулся и с гневом винил тех, которые таили от него опасность. На другой день, ввечеру, он нашел Герцога уже при смерти; плакал, крушился; говорил: «Юноша несчастный! Ты оставил мать, родных, отечество и приехал ко мне, чтобы умереть безвременно!» Еще желая надеяться, Государь дал клятву освободить 4000 узников в случае Иоаннова выздоровления и просил Датчан молиться Богу с усердием. Но в 6 часов сего же вечера, 28 Октября, пресеклись цветущие дни Иоанновы на двадцатом году жизни... Не только семейство Царское, Датчане, Немцы, но и весь двор, все жители столицы были в горести. Сам Борис пришел к Ксении и сказал ей: «любезная дочь! твое счастье и мое утешение погибло!» Она упала без чувства к ногам его... Велели оказать всю должную честь умершему. Отворили казну Царскую для бедных вдов и сирот; питали нищих в доме, где скончался Иоанн; к телу приставили знатных чиновников; запретили его анатомить и вложили в деревянную гробницу, наполненную ароматами, а после в медную, и еще в дубовую, обитую черным бархатом и серебром, с изображением креста в середине и с латинскою надписью о достоинствах умершего, о благоволении к нему Царя и народа Российского, об их печали неутешной. В день погребения, 25 Ноября, Борис простился с телом, обливаясь слезами, и ехал за ним в санях Китаем-городом до Белого. Гроб везли на колеснице, под тремя черными знаменами, с гербом Дании, Мекленбургским и Голштейнским; на обеих сторонах шли воины Царской дружины, опутив вниз острие своих копий; за колесницею Бояре, сановники и граждане – до слободы Немецкой, где в новой церкви Аугсбургского исповедания схоронили тело Иоанново в присутствии Московских Вельмож, которые плакали вместе с Датчанами, хотя и не разумели умилительной надгробной речи, в коей Герцогов Пастор благодарил их за сию чувствительность...

Вероятно ли сказание нашего Летописца, что Борис внутренне не жалел о смерти Иоанна, будто бы завидуя общей к нему любви Россиян и страшая оставить в нем совместника для юного Феодора; что медики, узнав тайную мысль Царя, не смели излечить больного? Но Царь хотел, чтобы Россияне любили его нареченного зятя: для того советовал ему быть приветливым и следовать нашим обычаям; хотел без сомнения и счастья Ксении; давал сим браком новый блеск, новую твердость своему дому, и не мог переменить мыслей в три недели: утраститься, чего желал; видеть, чего не предвидел, и вверить столь гнусную тайну зла придворным врачам-иноземцам, коих он, по смерти Иоанновой, долго не пускал к себе на глаза, и которые лечили Герцога вместе с его собственными, Датскими врачами. Свидетели сей болезни, чиновники Христианова двора, издали в свет ее верное описание, доказывая, что все способы искусства, хотя и без успеха, были употреблены для спасения Иоаннова. Нет, Борис крушился тогда без лицемерия и чувствовал, может быть, казнь Небесную в совести, готовив счастье для милой дочери и видя ее вдовою в невестах; отвергнул украшения Царские, надел ризу печали и долго изъяснял глубокое уныние... Все, чем дарили Герцога, было послано в Копенгаген; всех Иоанновых спутников отпустили туда с новыми щедрыми дарами; не забыли и последнего из служителей. Борис писал к Христиану, что Россия остается в неразрывном дружестве с Даниею; оно действительно не разорвалось, как бы утверждаемое для обоих Государств печальным воспоминанием о судьбе юного Герцога, коего тело было перевезено в Рошильд, долго лежав под сводом Московской Лютеранской церкви. В честь Иоанновой памяти Борис дал колокола сей церкви и дозволил звонить в них по дням Воскресным.

Но печаль не мешала Борису ни заниматься делами государственными с обыкновенною ревностью, ни думать о другом женехе для Ксении: около 1604 года Послы наши снова были в Дании и содействием Христиановым условились с Герцогом Шлезвигским Иоанном, чтобы один из его сыновей, Филипп, ехал в Москву жениться на Царевне и быть там Удельным Князем. Сие условие не исполнилось единственно от тогдашних бедственных обстоятельств нашего отечества.

Сношения России с Австриею были, как и в Феодорово время, весьма дружелюбны и не бесплодны. Думный Дьяк Власьев (в Июне 1599 года), посланный к Императору с известием о Борисовом воцарении, сел на Лондонский корабль в устье Двины и вышел на берег в Германии: там, в Любеке и в Гамбурге, знатнейшие граждане встретили его с великою ласкою, с пушечною стрельбою и музыкаю, славя уже известную милость Борисову к Немцам и надеясь пользоваться новыми выгодами торговли в России. Рудольф, изгнанный моровым поветрием из Праги, жил тогда в Пильзене, где Власьев имел переговоры с Австрийскими Министрами, уверяя их, что наше войско уже шло на Турков, но что Сигизмунд заградил оному в Литовских владениях путь

к Дунаю; что Царь, как истинный брат Христианских Монархов и вечный недруг Оттоманов, убеждает Шаха и многих иных *Князей азийских* действовать усиленно против Султана и готов самолично идти на Крымцев, если они будут помогать Туркам; что мы непрестанно внушаем Литовским Панам утвердить союз с Императором и с нами возведением Максимилиана на трон Ягеллонов; что миролюбивый Борис не усомнится даже и воевать для достижения сей цели, если Император когда-нибудь решится отмстить Сигизмунду за бесчестие своего брата. Рудольф изъявил благодарность, но требовал от нас не людей, а золота для войны с Магометом III, желая только, чтобы мы смирили Хана. «Император, – говорили его Министры, – любя Царя, не хочет, чтобы он подвергал себя опасности *личной* в битвах с варварами: у вас много Воевод мужественных, которые легко могут и без Царя унять Крымцев: вот главное дело! Если угодно Небу, то корона Польская, при добром содействии великодушного Царя, не уйдет от Максимилиана; но теперь не время умножать число врагов». И мы, конечно, не думали действовать мечем для возведения Максимилиана на трон Польский: ибо Сигизмунд, уже враг Швеции, был для нас не опаснее Австрийского Князя в венце Ягеллонов: не думали, вопреки уверениям Власьева, ратоборствовать и с Султаном без необходимости: но предвидя оную – зная, что Магомет злобится на Россию и действительно велит Хану опустошать ее владения – Борис усердно доброхотствовал Австрии в войне с сим недругом Христианства. От 1598 до 1604 года были у нас разные Австрийские чиновники и знатный Посол Барон Логау; а Думный Дьяк Власьев вторично ездил к Императору в 1603 году. Не имеем сведений об их переговорах; известно только, что Царь помогал казною Рудольфу, удерживал Казы-Гирея от новых впадений в Венгрию и старался утвердить дружество между Императором и Шахом Персидским, к которому ездили Австрийские Посланники чрез Москву и который славно мужествовал тогда против Оттоманов. Но знаменитый Аббас, ласково поздравив Бориса Царем, изъявляя готовность заключить с ним тесный союз, а *для него* и с Императором – отправив (в 1600 году) Посланника Исеналея чрез Колмогоры в Австрию, в Рим, к Королю Испанскому – и в знак особенной любви прислав к своему *брату Московскому* с Вельможею Лачин-Беком (в Августе 1603 года) *златой трон древних Государей Персидских*, вдруг оказался нашим недругом за бедную Грузию: не спорив с Феодором, не споря с Борисом о праве именоваться ее Верховным Государем, хотел также бесспорно властвовать над нею и стиснул ее, как слабую жертву, в своих руках кровавых.

Царь Александр не преставал жаловаться в Москве на бедственную долю Иверии. Послы его так говорили Боярам: «Мы плакали от неверных и для того отдалися головами Царю православному, да защитит нас; но плачем и ныне. Наши дома, церкви и монастыри в развалинах, семейства в плену, рамена под игом. То ли вы нам обещали? И неверные смеются над Христианами, спрашивая: где же щит Царя Белого? где ваш заступник?» Борис велел напомнить им о походе Князя Хворостинина, с коим должно было соединиться их войско и не соединилось; однако ж послал в Иверию [в 1601 г.] двух сановников, Нащокина и Леонтьева, узнать все обстоятельства на месте и с Терскими Воеводами условиться в мерах для ее защиты. Там сделалась перемена. Во время тяжкой болезни Александровой сын его, Давид, объявил себя Властителем: отец выздоровел, но сын уже не хотел возвратить ему знаков державства: *Царской хоругви, шапки и сабли с поясом*. Сего мало: он злодейски умертвил всех ближних людей Александровых. Тогда несчастный отец, прибежав раздетый и босой в церковь, рыдая, захлипаясь от слез, всенародно предал сына анафеме и гневу Божию, который действительно постиг изверга: Давид в внезапной, мучительной болезни испустил дух, и Посланники наши возвратились с известием, что Александр снова Царствует в Иверии, но не достоин милости Государевой, будучи усердным рабом Султана и дерзая укорять Бориса алчностью к дарам. «Мне ли, – сказал Царь с негодованием, – мне ли прельщаться дарами нищих, когда могу всю Иверию *наполнить серебром и засыпать золотом?*» Он не хотел было видеть нового Посла Иверского, Архимандрита Кирилла; но сей умный старец ясно доказал, что Нащокин и Леонтьев оклеветали Александра; сделал еще более: умолил Государя не казнить их и дал ему мысль для будущего верного соединения Грузии с Россиею, построить каменную крепость в Тарках, месте неприступном, изобильном и красивом – другую на Тузлуке, где большое озеро соляное, много серы и селитры – а третью на реке Буйнаке, где некогда существовал город, будто бы Александром Македонским основанный и где еще стояли древние башни среди садов виноградных.

Для сего предприятия немаловажного Государь избрал двух знатных Воевод, Окольничих Бутурлина и Плещеева, которые должны были, взяв полки в Казани и в Астрахани, действовать вместе с Терскими Воеводами и ждать к себе вспомогательной рати Иверской, клятвенно

обещанной Послом от имени Александра. Не теряли времени и не жалели денег, выдав из казны не менее трехсот тысяч рублей на издержки похода столь отдаленного и трудного. Войско, довольно многочисленное, выступило с берегов Терека (в 1604 году) к Каспийскому морю и видело единственно тыл неприятеля. Шавкал, уже старец ветхий, лишенный зрения, бежал в ущелья Кавказа, и Россияне заняли Тарки. Нельзя было найти лучшего места для строения крепости: с трех сторон высокие скалы могли служить ей вместо твердых стен; надлежало укрепить только отлогий скат к морю, покрытый лесом, садами и нивами; в горах били ключи и наделяли жителей, посредством многих труб, свежою водою. Там, на высоте, где стоял дворец Шавкалов с двумя башнями, Россияне немедленно начали строить стену, имея все для того нужное: лес, камень, известь; назвали Тарки *Новым городом*, заложили крепость и на Тузлуке. Одни работали, другие воевали, до Андрии, или Эндрена, и Теплых вод, не встречая важного сопротивления; пленили людей в селениях, брали хлеб, отгоняли табуны и стада, но боялись недостатка в съестных припасах: для того в глубокую осень Бутурлин послал тысяч пять воинов зимовать в Астрахань; к счастью, они шли бережно: ибо сыновья Шавкаловы и Кумыки ждали их в пустынях, напали смело, сражались мужественно, целый день, а ночью бежали, оставив на месте 3000 убитых. О сем кровопролитном деле писали Воеводы в Москву и к Царю Иверскому, ожидая его войска по крайней мере к весне, чтобы очистить все горы от неприятеля, совершенно овладеть Дагестаном и беспрепятственно строить в нем новые крепости. Но не было слуха о вспомогательной рати, ни вестей из несчастной Грузии. Александр уже не обманывал России: он погиб, и за нас!

Государь, отпустив Кирилла (в Маие 1604) из Москвы, вместе с ним послал Дворянина *Ближней Думы* Михайла Татищева, во-первых, для утверждения Грузии в нашем подданстве, во-вторых, и для семейственного дела, еще тайного. Сей сановник (в Августе 1604) не нашел Царя в Загеме: Александр был у Шаха, который строго велел ему явиться с войском в стан Персидский, не взирая на имя Российского данника и не страшась оскорбить тем друга своего, Бориса. Сын Александров, Юрий, принял Татищева не только ласково, но и раболепно; славил величие Московского Царя и плакал о бедном отечестве. «Никогда (говорил он) Иверия не бедствовала ужаснее нынешнего: стоим под ножами Султана и Шаха; оба хотят нашей крови и всего, что имеем. Мы отдали себя России: пусть же Россия возьмет нас не словом, а делом! Нет времени медлить: скоро некому будет здесь целовать креста в бесполезной верности к ее Самодержцу. Он мог бы спасти нас. Турки, Персияне, Кумыки силою к нам врываются; а вас зовем добровольно: придите и спасите! Ты видишь Иверию, ее скалы, ущелья, дебри: если поставите здесь твердыни и введете в них войско Русское, то будем истинно ваши, и целы, и не убоимся ни Шаха, ни Султана». Сведая, что Турки идут к Загему, Юрий убеждал Татищева дать ему своих стрельцов для битвы с ними: умный Посол долго колебался, опасаясь без указа Царского как бы объявить войну Султану; наконец решился удостоверить тем Иверию в действительном праве Борисовом именоваться ее Верховным Государем и дал Юрию сорок Московских воинов, которые присоединились к пяти или шести тысячам Грузинских, с доблим Сотником Михайлом Семовским; пошли впереди (7 Октября) и встретили Турков сильным залпом. Сей первый звук нашего оружия в пустынях Иверских изумил неприятеля: густая передовая толпа его вдруг стала реже; он увидел новый строй, новых воинов; узнал Россиян и дрогнул, не зная их малого числа. Юрий с своими ударил мужественно и более гнал, нежели сражался: ибо Турки бежали не оглядываясь. Казалось, что в сей день воскресла древняя слава Иверии: ее воины взяли четыре хоругви Султанские и множество пленников. В следующий день Юрий одержал победу над хищными Кумыками, явил народу трофеи, уже давно ему неизвестные, и всю честь приписал сподвижникам, горсти Россиян, славя их как Героев.

Наконец Александр возвратился из Персии с сыном Константином, принявшим там Магометанскую Веру, как мы сказали. Аббас, самовластно располагая Ивериею, велел Константину собрать ее людей воинских, всех без остатка, и немедленно идти к Шамахе; дал ему 2000 своих лучших ратников, несколько Ханов и Князей; дал и тайное повеление, отгаданное умным Татищевым, который бесполезно остерегал Александра и Юрия, говоря, что дружина Персидская для них еще опаснее, нежели для Турков; что Константин, изменив Богу Христианскому, может изменить и святым узам родства. Они не смели изъявить подозрения, чтобы не разгневать могущественного Шаха; исполняли его указ, собирали войско и предали себя убийцам. Готовясь ехать на обед к Александру (12 Марта), Татищев вдруг слышит стрельбу во дворце, крик, шум битвы; посылает своего толмача узнать, что делается – и толмач, входя во дворец, видит Персидских воинов с обнаженными саблями, на земле кровь, трупы и две

отсеченные головы, лежащие пред Константином: головы отца его и брата! Константин-Мусульманин, уже объявленный Царем Иверии Христианской, приказал к Татищеву, что Александр убит нечаянно, а Юрий достойно, как изменник Шахов и Государя Московского, друг и слуга ненавистных Турков; что сия казнь не переменяет отношений Иверии к России; что он, исполняя волю великого Аббаса, брата и союзника Борисова, готов во всем усердствовать Царю Христианскому. Но Татищев уже сведал истину от Вельмож Грузинских. Долго терпел связь Александрову с Россиею, в надежде на содействие Царя в войне с Оттоманами, Аббас, уже победитель, не захотел более терпеть нашего, хотя и мнимого господства в земле, которая считалась достоянием его предков. Он вразумился в систему политики Борисовой; увидел, что мы, радуясь кровопролитию между им и Султаном, для себя избегаем оно; велел сыну убить отца, будто бы за приверженность к Туркам, но в самом деле за подданство России, дерзкое и безрассудное для несчастного Александра, который исканием дальнего, неверного заступника раздражал двух ближних утешителей. Будучи только орудием Аббасовой мести и плакав всю ночь пред совершением гнусного отцеубийства, Константин уверял Борисова посла, что Шах не имел в том участия. «Родитель мой (говорил он) сделался жертвою междоусобия сыновей: несчастье весьма обыкновенное в нашей земле! Сам Александр извел отца своего, убил и брата: я тоже сделал, *не зная, к добру ли, к худу ли* для света. По крайней мере буду верным моему слову и заслужу милость Государя Российского лучше Александра и Юрия; благодарен ему за крепости, основанные им в земле Шавкаловой, и скоро пришлю в Москву богатые дары». Татищев хотел не ковров и не тканей, а подданства; требовал от него клятвы в верности к России и доказывал, что Царем Иверии может быть единственно Христианин. Константин отвечал, что до времени останется Мусульманином и подданным Шаховым, но будет защитником Христианства и другом России – прибавив: «где твердый ваш *хребет*, на который мы в случае нужды могли бы опереться?» С сим Татищев должен был выехать из Загема, торжественно объявив, что Борис не уступает Иверии Шаху и что Аббас, самовластно казнив Александра рукою Константина, нарушил счастливое дружество, которое дотоле существовало между Персиею и Россиею. Одним словом, мы лишились Царства: то есть права называть его своим; но Татищев, не выезжая из Грузии, нашел другое Царство для титула Борисова!

Видя юного Феодора уже близкого к совершенному возрасту и снова предложив руку дочери Датскому Принцу, но желая на всякий случай иметь для нее и другого мужа в готовности, Борис искал вдруг и невесты и жениха в отечестве славной Тамари, знаменитой супруги Георгия Андреевича Боголюбского. Посол Александров, Кирилл, хвалил нашим Боярам красоту Иверского Царевича, Давидова сына, Теймураса, и Княжны или Царевны Карталинской, Елены, внуки Симеоновой: Татищеву велено было видеть их; он не нашел Теймураса, отданного Шаху в аманаты, и поехал в Карталинию видеть семейство ее Владетеля. Сия область древней Иверии, менее подверженная набегам Дагестанских Кумыков, представляла и менее развалин, нежели восточная Грузия или Кахетия. Там господствовал отец Еленин, Князь Юрий, после Симеона, взятого в плен Турками: он имел своих Князей присяжников (Сонского и других), многочисленных *Царедворцев*, Бояр и *Святителей*, угостил Татищева в шатрах и с изъявлением благодарности выслушал его предложения: первое, чтобы Юрий поддался России; второе, чтобы отпустил с ним в Москву Елену и ближнего родственника своего, юного Князя Хоздроя, *если* они имеют все достоинства, нужные для чести вступить в семейство Борисово. «Сия честь велика, – сказал усердный Посол: – Император и Короли Шведский, Датский, Французский искали ее ревностно». Судьба Александрова ужасала Юрия; но Татищев возражал, что сей несчастный погубил себя криводушием, хотел служить вместе Царям верному и неверному, к досаде обоих. «Желая угодить Аббасу (говорил он), Александр не дал нам войска, чтобы истребить Шавкала; оставил сына в Персии и дозволил ему быть Магометанином, то есть острить нож на отца и Христианство; сослал туда и внука, узнав о намерении Государя выдать за него Царевну Ксению: ибо страшился, чтобы Теймурас не взял Грузии в приданое за Царевною; но мог ли великий Царь наш разлучиться с нею для бедного престола Загемского, имея у себя многие знаменитейшие Княжества в удел милому зятю? Александр пал, ибо *не прямил* России и не стоил ее сильного вспоможения». Сорок Московских стрельцов спасли Загем: Татищев обязался немедленно прислать в Карталинию из Терской крепости 150 храбрейших воинов, как передовую дружину, для безопасности будущего свата Борисова – и Юрий с обрядами священными назвал себя Российским данником. Тем более желая родственного союза с Царем, он представил на суд Татищеву жениха и невесту, сказав: «Отдаюсь России и с Царством и с душою. Князь Хоздрой воспитан моею матерью вместе со мною и служит мне правою рукою в делах ратных; когда он в

поле, тогда могу быть спокоен дома. Детей у меня двое: сын мое око, а дочь сердце: веселюсь ими и в бедствиях нашего отечества; но не стою за Елену, когда так угодно Богу и Государю Российскому». В донесении Царю о женихе и невесте Татищев пишет: «Хоздрю 23 года от рождения; он высок и строен; лицо у него красиво и чисто, но смугло; глаза светлые карие, нос с горбиною, волосы темнорусые, ус тонкий; бороду уже бреет; в разговорах умен и речист; знает язык Турецкий и грамоту Иверскую; одним словом, хорош, но не отличен; вероятно, что полюбится, но не верно... Елену видел я в шатре у Царицы: она сидела между матерью и бабкою на золотом ковре и жемчужном изголовье, в бархатной одежде с кружевами, в шапке, украшенной камнями драгоценными. Отец велел ей встать, снять с себя верхнюю одежду и шапку: вымерил ее рост деревцом и подал мне сию мерку, чтобы сличить с данною от Государя. Елена прелестна, но не чрезвычайно: бела и еще несколько белится; глаза у нее черные, нос небольшой, волосы *крашенные*, станом пряма, но слишком тонка от молодости: ибо ей только 10 лет; и в лице не довольно полна. Старший брат Еленин гораздо благовиднее». Татищев хотел везти в Москву невесту и жениха, говоря, что перва будет жить до совершенных лет у Царицы Марии, учиться языку и навекать обычаям Русским. Отпустив с ним Хоздрю, Юрий удержал Елену до нового Посольства Царского и тем избавил себя от слез разлуки бесполезной: ибо Елена уже не нашла бы в Москве своего жениха злосчастного! Татищев должен был оставить и Хоздрю для его безопасности в земле Сонской, узнав, что случилось в Дагестане, где Турки отмстили нам с лихвою за геройство Московских стрельцов в Иверии и где в несколько дней мы лишились всего, кроме доброго имени воинского!

Отношения России к Константинополю были странны: Турки в Иоанново время без объявления войны приступали к Астрахани, а в Феодорово и к самой Москве под знаменами Крыма; а Цари еще уверяли Султанов в дружелюбии, удивляясь сим неприятельским действиям как ошибке или недоразумению. Утесненный нами Шавкал, тщетно ожидав вспоможения от Аббаса, искал защиты Магомета III, который велел Дербентскому и другим пашам своим в областях Каспийских изгнать Россиян из Дагестана. Турки соединились с Кумыками, Лезгинцами, Аварями и весною в 1605 году подступили к Койсе, где начальствовал Князь Владимир Долгорукий, имея мало воинов: ибо полки, ушедшие зимовать в Астрахань, еще не возвратились. Долгорукий зажег крепость, сел на суда и морем приплыл в городок Терский; а паши осадили Бутурлина в Тарках. Сей Воевода, уже старец летами, славился доблестию: худо ограждаемый стеною, еще недостроенною, он терял много людей, но отразил несколько приступов. Часть стены разрушилась, и каменная башня, подорванная осаждающими, взлетела на воздух с лучшею дружиною Московских стрельцов. Бутурлин еще мужествовал, однако ж видел невозможность спасти город, слушал предложения Султанских чиновников, колебался и наконец, вопреки мнению своих товарищей, решился спасти хотя одно войско. Главный Паша сам был у него в ставке, пировал и клялся ему выпустить Россиян с честью, с доспехами и наделить всеми нужными запасами. Но вероломные Кумыки, дав нашим свободный путь из крепости до степи, вдруг окружили их и начали страшное кровопролитие. Пишут, что добрые Россияне единодушно обрекли себя на славную гибель; бились с неприятелем злым и многочисленным врукопашь, человек с человеком, один с тремя, боясь не смерти, а плена. Из первых, в глазах отца, пал сын главного начальника, Бутурлина, прекрасный юноша; за ним его старец-родитель; также и Воевода Плещеев с двумя сыновьями, Воевода Полев, и все, кроме тяжело уязвленного Князя Владимира Бахтеярова и других немногих, взятых замертво неприятелем, но после освобожденных Султаном. Сия битва несчастная, хотя и славная для побежденных, стоила нам от шести до семи тысяч воинов, и на 118 лет изгладила следы Российского владения в Дагестане.

Татищев возвратился уже в новое Царствование, и Борис, не имев времени узнать о возведении отцеубийцы-Мусульманина на престол Иверии, до конца дней своих был другом Аббасу, как врагу явного, опасного врага нашего, Султана, против коего мы ревностно возбуждали тогда и Азию и Европу.

В самых переговорах с Англиею Борис изъявлял желание, чтобы все Христианские Державы единодушно восстали на Оттоманскую. «Не только Послы Императора и Римские, – писал он к Елисавете, – но и другие иноземные путешественники уверяли нас, что ты будто бы в тесной связи с Султаном: мы дивились и не верили. Нет, ты не будешь никогда дружить злодеям Христианства, и конечно пристанешь к общему союзу Государей Европейских, чтобы унижить высокую руку неверных: цель достойная тебя и всех нас!» Но Елисавета имела в виду только выгоды своего купечества и для того ласкала самолюбие Царя знаками чрезвычайного к нему уважения. Посланника нашего, дворянина Микулина, встретили в Лондоне с необыкновенною

честью: в гавани и в крепости стреляли из пушек, когда он (18 сентября 1600) плыл Темзою и ехал городом в Елисаветиною карете, провождаемой тремястами чиновных всадников, алдерманами, купцами в богатом наряде, в золотых цепях. Улицы были тесны для множества зрителей. Знаменитому гостю в одном из лучших домов Лондона служили Королевины люди: Елисавета прислала ему из своей казны блюда, чаши и кубки серебряные. Угадывали и спешили исполнять его желания: но он вел себя умно и скромно: за все благодарил и ничего не требовал. Представление было в Ричмонде (14 Октября): Елисавета встала с места и несколько шагов ступила навстречу посланнику; славил воцарение Бориса, своего *брата сердечного, издавна милостивого к Англичанам*, говорила, что *ежедневно молится о нем Богу*, что имеет друзей между Государями Европейскими, но никого из них не любит столь вседушно, как Самодержца Российского; что одно из ее главных удовольствий есть исполнять его волю. Микулин обедал у Королевы и только один сидел с нею: Лорды и знатные чиновники не садились; она стоя пила *чашу Борисову*. Приглашаемый быть зрителем всего любопытного, Посланник наш видел Рыцарские игры в день восшествия на престол Елизаветы, праздник Орденский Св. Георгия, богослужение в церкви Св. Павла и торжественный въезд Королевы в Лондон ночью, при свете факелов и звуке труб, со всеми перами и Царедворцами, среди бесчисленного множества граждан, исполненных усердия и любви к своей Монархине. Елисавета везде благодарила Микулина за его присутствие и в ласковых с ним беседах никогда не забывала хвалить Бориса и Россиян. Пленный ее милостями, сей посланник имел случай оказать ей свое усердие. В день ужасный для Лондона (18 Февраля 1601), когда несчастный Эссекс, дерзнув объявить себя мятежником, с пятьюстами преданных ему людей шел овладеть крепостию – когда все улицы, замкнутые цепями, наполнились воинами и гражданами в доспехах – Микулин вместе с верными Англичанами вооружился для спасения Елисаветы, как сама она, утишив бунт, писала к Царю, славя доблесть его сановника. – Одним словом, сие Посольство утвердило личное дружество между Борисом и Королевою. Хотя Елисавета, будучи врагом Испании и Австрии, не могла принять мысли Борисовой о новом Крестовом походе или союзе всех Держав Христианских для изгнания Турков из Европы, но удостоверила его в том, что никогда не мыслила о вспоможении Султану и что ревностно желает успеха Христианскому оружию. Царь имел и другое сомнение: он слышал, что Англия благоприятствует Сигизмунду в войне с Шведским Правителем; но Елисавета старалась доказать ему, что и Вера и политика предписывают ей усердствовать Карлу. Довольный сими объяснениями, Борис дал новую жалованную грамоту Англичанам для свободной, беспошлинной торговли в России, с особенным благоволением приняв Посланника Елисаветина, Ричарда Ли, коего главным делом было уверить Царя в ее дружбе и величать его добродетели. «Вселенная полна славы твоей, – писал к нему Ли, выезжая из России, – ибо ты, сильнейший из Монархов, доволен своим, не желая чужого. Враги хотят быть с тобою в мире от страха, а друзья в союзе от любви и доверенности. Когда бы все Христианские Венценосцы мыслили подобно тебе, тогда бы Царствовала тишина в Европе, и ни Султан, ни Папа не могли бы возмутить ее спокойствия». Узнав, что Борис имеет намерение женить сына, Королева (в 1603 году) предлагала ему руку знатной одиннадцатилетней Англичанки, украшенной редкими прелестями и достоинствами; вызывалась немедленно прислать живописное изображение сей и других красавиц Лондонских и желала, чтобы Царь до того времени не искал другой супруги для юного Феодора. Но Борис хотел прежде знать, кто невеста, и родня ли Королеве, уверяя, что многие великие государи требуют чести соединить браком детей своих с его семейством. Кончина Елисаветы, столь знаменитой в летописях Британских, достопамятной и в нашей истории долговременною приязнию к России, устранила дело о сватовстве, не прервав дружественной связи между Англиею и Царем. Новый Король, Иаков I, не замедлил известить Бориса о соединении Шотландии с Англиею и писал: «наследовав престол моей тетки, желаю наследовать и твою к ней любовь». Посол Иакова, Фома Смит, (в Октябре 1604) представив Борису в дар великолепную карету и несколько сосудов серебряных, сказал ему, что «Король Английский и Шотландский, сильный воинством, морским и сухопутным, еще сильнейший любовью народною, только одного Московского Венценосца просит о дружбе: ибо все иные Государи Европейские сами ищут в Иакове; что он имеет двоякое право на сию дружбу, требуя оной в память великой Елисаветы и своего незабвенного шурина Датского Герцога Иоанна, коего Царь любил столь нежно и столь горестно оплакал». Борис сказал, что ни с одним из Монархов не был он в такой сердечной любви, как с Елисаветою и что желает навсегда остаться другом Англии. Сверх права торговать беспошлинно во всех наших городах, Иаков требовал свободного пропуска Англичан чрез Россию в Персию, в Индию и в другие восточные земли для отыскания

пути в Китай, ближайшего и вернейшего, нежели морем, около мыса Доброй Надежды, к обоюдной пользе Англии и России, изысняя, что драгоценности, перевозимые купцами из земли в землю, оставляют на пути следы золотые. Бояре удостоверили Посла в неизменной силе милостивых грамот, данных Царем гостям Лондонским, но объявили, что жестокая война пылает на берегах Каспийского моря, что Аббас приступает к Дербенту, Баке и Шамахе; что Царь до времени не может пустить туда Англичан, для их безопасности, С таким ответом Смит выехал из Москвы (20 Марта 1605). Уже не было речи о государственном союзе Англии с Россиею; одна торговля служила твердою связью между ими, будучи равно выгодною для обеих. Предпочтительно благоприятствуя сей торговле, как важнейшей для России, Борис не усомнился однако ж дать и Немецким гостям права новые. Еще не довольная Феодоровою жалованною грамотою, Ганза прислала в Москву Любского Бургомистра Гермерса, трех Ратсгеров и Секретаря своего, которые (3 Апреля 1603) поднесли в дар Государю и сыну его литые серебряные, вызолоченные изображения Фортуны, Венеры, двух больших орлов, двух коней, льва, единорога, носорога, оленя, страуса, пеликана, грифа и павлина. Купцев приняли как знатнейших Вельмож; угостили обедом на золоте. От имени *пятидесяти девяти* Немецких союзных городов они вручили Боярам *челобитную*, писанную убедительно и смиренно. В ней было сказано, что древность их торговли в нашем отечестве исчисляется не годами, а столетиями; что в самые отдаленные времена, когда Англичане, Голландцы, Французы едва знали имя России, Ганза доставляла ей все нужное и приятное для жизни гражданской и за то искони пользовалась благоволением *державных предков Царя*, правами и выгодами исключительными: о возвращении сих прав молила Ганза, славя Бориса; желала торговли беспошлинной; хотела, чтобы он дозволил ей свободно купечествовать и в пристанях Северного моря, в Колмогорах, в Архангельске и дал гостинные дворы в Новгороде, Пскове, Москве, с правом иметь там церкви, как в старину бывало; требовала ямских лошадей для перевоза своих товаров из места в место и проч. Царь сказал, что в России берут таможенную пошлину с купцев Императора, Королей Испанского, Французского, Литовского, Датского; что жители вольных Немецких городов должны платить ее, как и все, но что половина ее, в знак милости, уступается Любчанам, ибо другие Немцы суть подданные разных Властителей, для коих ничто не обязывает нас быть столь бескорыстными; что одни же Любчане избавляются от всякого таможенного осмотра, сами заявляя и ценя свои товары по совести; что Ганзе дозволяется торговать в Архангельске, также купить или завести гостинные дворы в Новгороде, Пскове и Москве своим иждивением, а не Государевым; что всякая Вера терпима в России, но строить церквей не дозволяется ни Католикам, ни Лютеранам, и что в сем отказано знатнейшим Венценосцам Европы, Императору, Королеве Елисавете и проч.; что ямы учреждены в России не для купечества, а единственно для гонцов Правительства и для Послов чужеземных. В таком смысле написали жалованную грамоту (5 Июня) с прибавлением, что имение гостей, умирающих в России, неприкосновенно для казны и в целости отдается их наследникам; что Немцы в домах своих могут держать вино Русское, пиво и мед для своего употребления, а продавать единственно чужеземные вина, в куфах или в бочках, но не ведрами и не в стопы. С сею жалованною грамотою Послы выехали в Новгород, представили ее там Воеводе Князю Буйносову-Ростовскому и требовали места для строения домов и лавок; но Воевода ждал еще особенного указа, и долго, так, что они, лишась терпения, уехали во Псков, где были счастливее: градоначальник немедленно отвел им, на берегу реки Великой, вне города, место старого гостиного двора Немецкого, то есть его развалины, памятник древней цветущей торговли в знаменитой Ольгиной родине. Жители радовались не менее Любчан, вспоминая предания о счастливом союзе их города с Ганзою; но минувшее уже не могло возвратиться, от перемены в отношениях Ганзы к Европе и Пскова к России. Оставив поверенных, чтобы изготовить все нужное для заведения конторы в Новгороде и Пскове, Гермерс и товарищи его спешили обрадовать Любек успехом своего дела – и в 1604 году корабли Гамбургские уже начали приходить в Архангельск.

Между Европейскими Посольствами заметим еще Римские и Флорентийское. В 1601 году были в Москве нунции Климента VIII, Франциск Коста и Дидак Миранда, а другие в 1603 году, требуя дозволения ехать в Персию: Царь велел им дать суда, чтобы плыть Волгою в Астрахань. Фердинанд, великий Герцог Тосканский и Флорентийский, один из знаменитых Властителей славного рода Медицисов, великодушный друг Генрика IV, присылал к Борису (в Марте 1602) чиновника Авраама Люса с предложением своих услуг для вызова в Россию людей ученых, художников, ремесленников, и для доставления ей богатых естественных произведений Италии, особенно мрамора и дерева драгоценного, морем чрез наши Двинские гавани.

Не имея никакого сношения с Магометом III, ни с его наследником, Ахметом, мы узнавали все происшествия Константинопольские от Греческих Святителей, которые непрестанно являлись в Москве за милостынею, с иконами и с благословением Патриархов. Еще Иоанн дал Афонской Введенской обители двор в Китае-городе у монастыря Богоявленского, где приставали ее странники-Иноки и другие Греки, искавшие службы в России. Известия сих наших ревностных единоверцев о затруднениях и худом внутреннем состоянии Оттоманской Империи удостоверяли Бориса в безопасности с ее стороны, по крайней мере на несколько времени.

Государственная хитрость Борисова, по словам летописца, всего успешнее действовала в ногайских улусах, ослабленных и разоренных междоусобием их Властителей, коих будто бы ссорили Наместники Астраханские. Вопреки летописцу, бумаги государственные представляют Бориса миротворцем Ногаев, по крайней мере главного их Улуса, Волжского, или Уральского, который со времен знаменитого отца Сююмбеки, Юсуфа, имел всегда одного Князя и трех чиновников-властителей: Нурадына, Тайбугу и Кокувата, но тогда повиновался двум Князьям, Иштереку, сыну Тинь-Ахматову, и Янараслану, Урусову сыну, исполненным ненависти друг ко другу. На приказ Борисов, чтобы они жили в любви и в братстве, Янараслан отвечал: «Царь Московский желает чуда: велит овцам дружить с волками и пить воду из одной проруби!» Боярин Семен Годунов, уполномоченный Царем, приехал в Астрахань, собрал там (в Ноябре 1604) Ногайских Вельмож, объявил Иштерека первым или старейшим Князем и взял с него клятвенную грамоту в том, чтобы ему и всему Исмаилову племени служить России и биться с ее врагами до последнего издыхания, не давать никому Княжеского и Нурадынского достоинства без утверждения Государева, не иметь войны междоусобной, не сноситься с Шахом, Султаном, Ханом Крымским, Царями Бухарским и Хивинским, *Ташкентцами*. Ордою Киргизскою, Шавкалом и Черкесами – кочевать в степях Астраханских у моря, по Тереку, Куме и Волге около Царицына – перезвать к себе Улус Казыев или овладеть им, чтобы от моря Черного до Каспийского и далее, на восток и север, не было в степях иной Орды Ногайской, кроме Иштерековой, верной Царю Московскому. Улус Казыев, отделясь от Волжского и кочуя близ Азова с своим Князем Барангазыем, зависел от Турков и Крымцев, часто искал милости в Царе, обещал служить России, вероломствовал и грабил в ее владениях: чтобы унять или совершенно истребить его, Борис велел Донским Козакам помогать Иштереку, и прислав ему в дар богатую саблю, писал: «она будет или на шее злодеев России или на твоей собственной». Сей Князь исполнил условие и непрестанно теснил Ногаев Азовских, так что многие из них сделались нищими и продавали детей своих в Астрахани. – Третий Ногайский Улус, именуясь *Алтаульским*, занимал степи в окрестностях Синего моря, или Арала, и находился в тесной связи с Бухариєю и с Хивою: Иштерек должен был также склонять его Мурз к подданству Российскому, соединенному с важною выгодною в торговле: Борис, дозволяя верным Ногаям мирно купечествовать в Астрахани, освобождал их от всякой пошрины.

Представив в сем обозрении важнейшие действия Борисовой политики, Европейской и Азиатской – политики вообще благоразумной, не чуждой властолюбия, но умеренного: более *охранительной*, нежели *стяжательной* представим действия Борисовы внутри Государства, в законодательстве и в гражданском образовании России.

В 1599 году Борис, в знак любви к Патриарху Иову, возобновил жалованную грамоту, данную Иоанном Митрополиту Афанасию, такого содержания, что все люди Первосвятителя, его монастыри, чиновники, слуги и крестьяне их освобождаются от ведомства Царских Бояр, Наместников, волостелей, Тиунов и не судятся ими ни в каких преступлениях, кроме душегубства, завися единственно от суда Патриаршего; увольняются также от всяких податей казенных. Сие древнее государственное право нашего Духовенства оставалось неизменным и в Царствование Василия Шуйского, Михаила и сына его.

Закон об укреплении сельских работников, целию своею благоприятный для владельцев средних или избыточных, как мы сказали, имел однако ж и для них вредное следствие, частыми побегам крестьян, особенно из селений мелкого Дворянства: владельцы искали беглецов, жаловались друг на друга в их укрывательстве, судились, разорялись. Зло было столь велико, что Борис, не желая совершенно отменить закона благонамеренного, решился объявить его только временным, и в 1601 году снова дозволил земледельцам господ малочиновных, Детей Боярских и других, везде, кроме одного Московского уезда, переходить в известный срок от владельца к владельцу *того же состояния*, но не всем вдруг и не более, как по два вместе; а крестьянам Бояр, Дворян, знатных Дьяков, и казенным, Святительским, монастырским велел остаться без перехода на означенный 1601 год. Уверяют, что изменение устава древнего и

нетвердость нового, возбуждав негодование многих людей, имели влияние и на бедственную судьбу Годунова; но сие любопытное сказание Историков XVIII века не основано на известиях современников, которые единогласно хвалят мудрость Бориса в делах государственных.

Хвалили его также за ревность искоренять грубые пороки народа. Несчастливая страсть к крепким напиткам, более или менее свойственная всем народам северным, долгое время была осуждаема в России единственно учителями Христианства и мнением людей нравственных. Иоанн III и внук его хотели ограничить ее неумеренность законом и наказывали оную как гражданское преступление. Может быть, не столько для умножения Царских доходов, сколько для обуздания невожатых, Иоанн IV налагал пошлину на варение пива и меда. В Феодорово время существовали в больших городах казенные питейные дома, где продавалось и вино хлебное, неизвестное в Европе до XIV века; но и многие частные люди торговали крепкими напитками, к распространению пьянства: Борис строго запретил сию вольную продажу, объявив, что скорее помилюет вора и разбойника, нежели корчемников; убеждал их жить иным способом и честными трудами; обещал дать им земли, если они желают заняться хлебопашеством, но хотел тем, как пишут, воздержать народ от страсти равно вредной и гнусной, Царь не мог истребить корчемства, и самые казенные питейные дома, наперерыв откупаемые за высокую цену, служили местом разврата для людей слабых.

В усердной любви к гражданскому образованию Борис превзошел всех древнейших Венценосцев России, имев намерение завести школы и даже *Университеты*, чтобы учить молодых Россиян языкам Европейским и *Наукам*. в 1600 году он посылал в Германию Немца, Иоанна Крамера, уполномочив его искать там и привезти в Москву профессоров и докторов. Сия мысль обрадовала в Европе многих ревностных друзей просвещения: один из них, учитель прав, именем Товия Лонциус, писал к Борису (в Генваре 1601): «Ваше Царское Величество, хотите быть истинным отцом отечества и заслужить всемирную, бессмертную славу. Вы избраны Небом совершить дело великое, новое для России: просветить ум вашего народа несметного и тем возвысить его душу вместе с государственным могуществом, следуя примеру Египта, Греции, Рима и знаменитых Держав Европейских, цветущих искусствами и науками благородными». Сие важное намерение не исполнилось, как пишут, от сильных возражений Духовенства, которое представило Царю, что Россия благоденствует в мире единством Закона и языка; что разность языков может произвести и разность в мыслях, опасную для церкви; что во всяком случае неблагоприятно верить учение юношества Католикам и Лютеранам. Но оставив мысль заводить *Университеты* в России, Царь послал 18 молодых *Боярских людей* в Лондон, в Любек и во Францию, учиться языкам иноземным так же, как молодые Англичане и Французы ездили тогда в Москву учиться Русскому. Умом естественным поняв великую истину, что народное образование есть сила государственная и, видя несомнительное в оном превосходство других Европейцев, он звал к себе из Англии, Голландии, Германии не только врачей, художников, ремесленников, но и людей чиновных в службу. Так посланник наш, Микулин, сказал в Лондоне трем путешествующим Баронам Немецким, что если они желают из любопытства видеть Россию, то Царь с удовольствием примет их и с честью отпустит; но если, любя славу, хотят служить ему умом и мечом в деле воинском, наравне с Князьями владетельными, то удивятся его ласке и милости. В 1601 году Борис с отменным благоволением принял в Москве 35 Ливонских Дворян и граждан, изгнанных из отечества Поляками. Они не смели идти во дворец, будучи худо одеты: Царь велел сказать им: «хочу видеть людей, а не платье»; обедал с ними; утешал их и тронул до слез уверением, что будет им вместо отца: Дворян сделает Князьями, мещан Дворянами; дал каждому, сверх богатых тканей и соболей, пристойное жалованье и поместье, не требуя в возмездие ничего, кроме любви, верности и молитвы о благоденствии его дома. Знатнейший из них, Тизенгаузен, клялся именем всех умереть за Бориса, и сии добрые Ливонцы, как видим, не обманули Царя, с ревностью вступив в его Немецкую дружину. Вообще благосклонный к людям ума образованного, он чрезвычайно любил своих иноземных медиков, ежедневно виделся с ними, разговаривал о делах государственных, о Вере; часто просил их за него молиться, и только в удовольствие им согласился на возобновление Лютеранской церкви в слободе Яузской. Пастор сей церкви, Мартин Бер, коему мы обязаны любопытною историею времен Годунова и следующих, пишет: «Мирно слушая учение Христианское и торжественно славословя Всевышнего по обрядам Веры своей, Немцы Московские плакали от радости, что дожили до такого счастья!»

Признательность иноземцев к милостям Царя не осталась бесплодною для его славы: муж ученый, Фидлер, житель Кенигсбергский (брат одного из Борисовых медиков) сочинил ему в 1602 году на Латинском языке похвальное слово, которое читала Европа и в коем оратор

уподобляет своего Героя Нуме, превознося в нем законодательную мудрость, миролюбие и *чистоту нравов*. Сию последнюю хвалу действительно заслуживал Борис, ревностный наблюдатель всех уставов церковных и правил благочиния, трезвый, воздержный, трудолюбивый, враг забав суетных и пример в жизни семейственной, супруг, родитель нежный, особенно к милому ненаглядному сыну, которого он любил до слабости, ласкал непрестанно, называл своим велеителем, не пускал никуда от себя, воспитывал с отменным старанием, даже учил наукам: любопытным памятником географических сведений сего Царевича осталась ландкарта России, изданная под его именем в 1614 году Немцем Герардом. Готовя в сыне достойного Монарха для великой державы и заблаговременно приучая всех любить Феодора, Борис в делах внешних и внутренних давал ему право ходатая, заступника, умирителя; ждал его слова, чтобы оказать милость и снисхождение, действуя и в сем случае без сомнения как искусный Политик, но еще более как страстный отец, и своим семейственным счастьем доказывая, сколь неизъяснимо слияние добра и зла в сердце человеческом!

Но время приближалось, когда сей мудрый Властитель, достойно славимый тогда в Европе за свою разумную Политику, любовь к просвещению, ревность быть истинным отцом отечества, – наконец за благонравие в жизни общественной и семейственной, должен был вкусить горький плод беззакония и сделаться одною из удивительных жертв суда Небесного. Предтечами были внутреннее беспокойство Борисова сердца и разные бедственные случаи, коим он еще усиленно противоборствовал твердостью духа, чтобы вдруг оказать себя слабым и как бы беспомощным в последнем явлении своей судьбы чудесной.

Глава II. Продолжение царствования Борисова. Г. 1600–1605

Блестящее властвование Годунова. Молитва о Царе. Подозрения Борисовы. Гонения. Голод. Новые здания в Кремле. Разбои. Порочные нравы. Мнимые чудеса. Явление Самозванца. Поведение и наружность обманщика. Иезуиты. Свидание Лжедмитрия с Королем Польским. Письмо к Папе. Собрание войска, договоры Лжедмитрия с Мнишком. Меры, взятые Борисом. Первая измена. Витязь Басманов. Робость Годунова. Общее расположение умов. Великодушие Борисово. Битва. Поляки оставляют Самозванца. Честь Басманову. Победа Воевод Борисовых. Осада Кром. Письмо Самозванца к Борису. Кончина Годунова.

Достигнув цели, возникнув из ничтожности рабской до высоты Самодержца усилиями неутомимыми, хитростию неусыпною, коварством, происками, злодейством, наслаждался ли Годунов в полной мере своим величием, коего алкала душа его – величием, купленным столь дорогой ценою? Наслаждался ли и чистейшим удовольствием души, благотворя подданным и тем заслуживая любовь отечества? По крайней мере недолго.

Первые два года сего Царствования казались лучшим временем России с XV века или с ее восстановления: она была на вышней степени своего нового могущества, безопасная собственными силами и счастьем внешних обстоятельств, а внутри управляемая с мудрою твердостью и с кротостью необыкновенною. Борис исполнял обет царского венчания и справедливо хотел именоваться отцом народа, уменьшив его тягости; отцом сирых и бедных, изливая на них щедроты беспримерные; другом человечества, не касаясь жизни людей, не обагрывая земли Русской ни каплею крови и наказывая преступников только ссылкой. Купечество, менее стесняемое в торговле; войско, в мирной тишине осыпаемое наградами; Дворяне, приказные люди, знаками милости отличающиеся за ревностную службу; Синклит, уважаемый Царем деятельным и советолубивым; Духовенство, честимое Царем набожным – одним словом, все государственные состояния могли быть довольны за себя и еще довольнее за отечество, видя, как Борис в Европе и в Азии возвеличил имя России без кровопролития и без тягостного напряжения сил ее; как радуется о благе общем, правосудии, устройстве. И так не удивительно, что Россия, по сказанию современников, *любила* своего Венценосца, желая забыть убиение Димитрия или сомневаясь в оном!

Но Венценосец знал свою тайну и не имел утешения верить любви народной; благотворя России, скоро начал удаляться от Россиян; отменил устав времен древних: не хотел, в известные дни и часы, выходить к народу, выслушивать его жалобы и собственными руками принимать челобитные; являлся редко и только в пышности недоступной. Но убегая людей – как бы для

того, чтобы лицом Монарха не напомнить им лицо бывшего раба Иоаннова – он хотел невидимо присутствовать в их жилищах или в мыслях, и недовольный обыкновенною молитвою в храмах о Государе и Государстве, велел искусным книжникам составить особенную для чтения во всей России, во всех домах, *на трапезах и вечерах, за чашами*, о душевном спасении и телесном здравии «Слуги Божия, Царя Всевышним избранного и превознесенного, Самодержца всей Восточной страны и Северной; о Царице и детях их; о благоденствии и тишине отечества и Церкви под скиптром единого Христианского Венценосца в мире, чтобы все иные властители пред ним уклонялись и *рабски служили* ему, величая имя его от моря до моря и до конца вселенныя; чтобы Россияне всегда с умилением славили Бога за такого Монарха, коего ум есть пучина мудрости, а сердце исполнено любви и долготерпения; чтобы все земли трепетали меча нашего, а земля Русская непрестанно высилась и расширялась; чтобы юные, цветущие ветви Борисова Дому возрасли благословением Небесным и непрерывно осенили оную до скончания веков!» То есть, святое действие души человеческой, ее таинственное сношение с Небом, Борис дерзнул осквернить своим тщеславием и лицемерием, заставив народ свидетельствовать пред Оком Всевидящим о добродетелях убийцы, губителя и хищника!.. Но Годунов, как бы не страшась Бога, тем более страшился людей, и еще до ударов Судьбы, до измен счастья и подданных, еще спокойный на престоле, искренно славимый, искренно любимый, уже не знал мира душевного; уже чувствовал, что если путем беззакония можно достигнуть величия, то величие и блаженство, самое земное, не одно знаменуют.

Сие внутреннее беспокойство души, неизбежное для преступника, обнаружилось в Царе несчастными действиями подозрения, которое, тревожа его, скоро встревожило и Россию. Мы видели, что он, касаясь рукою венца Мономахова, уже мечтал о тайных ковах против себя, яде, чародействе; ибо естественно думал, что и другие, подобно ему, могли иметь жажду к верховной власти, лицемерие и дерзость. Нескромно открыв боязнь свою, и взяв с Россиян клятву постыдную, Борис столь же естественно не доверял ей: хотел быть на страже неусыпной, все видеть и слышать, чтобы предупредить злые умыслы; восстановил для того бедственную Иоаннову систему доносов и верил судьбу граждан, Дворянства, Вельмож сонму гнусных изветников.

Первою знаменитою жертвою подозрения и доносов был тот, с кем Годунов жил некогда душа в душу, кто охотно делил с ним милость Иоаннову и страдал за него при Феодоре – свойственник Царицы Марии, Бельский. Спасенный Годуновым от злобы народной во время Московского мятежа, но оставленный надолго в честной ссылке, – снова призванный ко двору, но без всякого отличия, и в самое Царствование Бориса удостоенный только второстепенного думного сана, сей главный любимец Грозного, считая себя благодетелем Годунова, мог быть или казаться недовольным, следственно виновным в глазах Царя, имея еще и другую, важнейшую вину за собою: он знал лучше иных глубину Борисова сердца! В 1600 году Царь послал его в дикую степь строить новую крепость Борисов на берегу Донца Северского, без сомнения не в знак милости; но Бельский, стыдясь представлять лицо униженного, ехал в отдаленные пустыни как на знатнейшее Воеводство, с необыкновенною пышностью, с богатою казною и множеством слуг; велел заложить город своим, а не Царским людям; ежедневно угощал стрельцов и Козаков, давал им одежду и деньги, не требуя ничего от государя. Следствием было то, что новую крепость построили скорее и лучше всех других крепостей; что делатели не скучали работою, любя, славя начальника; а Царю донесли, что начальник, милостию прельстив воинов, думает объявить себя независимым и говорит: «Борис Царь в Москве, а я Царь в Борисове!» Сию клевету, основанную, вероятно, на тщеславии и каком-нибудь неосторожном слове Бельского, приняли за истину (ибо Годунов желал избавиться от старинного, беспокойного друга) – и решили, что он достоин смерти; но Царь, хвалясь милосердием, велел только взять у него имяние и выщипать ему всю длинную, густую бороду, избрав Шотландского хирурга Габриеля для совершения такой новой казни. Бельский снес позор и, заточенный в один из Низовых городов, дожил там до случая отомстить неблагодарному хотя в могиле. Умный, опытный в делах государственных, сей преемник Малюты Скуратова был ненавистен Россиянам страшными воспоминаниями своих дней счастливых, а иноземцам своею жестокою к ним неприязнию, которою он мог гневить и Бориса, их ревностного покровителя. Мало жалели о старом, безродном временщике; но его опала предшествовала другой, гораздо чувствительнейшей для знатных родов и для всего отечества.

Память добродетельной Анастасии и свойство Романовых-Юрьевых с Царским домом Мономаховой крови были для них правом на общее уважение и самую любовь народа. Боярин

Никита Романович, достойный сей любви и личными благородными качествами, оставил 5 сыновей: Федора, Александра, Михайла, Ивана и Василия, в последний час жизни молив Годунова быть им вместо отца. Честя их наружно – дав старшим, Федору и Александру, Боярство, Михайлу сан Окольного, и женив своего ближнего, Ивана Ивановича Годунова, на их меньшей сестре, Ирине – Борис внутренне опасался Романовых, как совместников для его юного сына: ибо носилась молва, что Феодор, за несколько времени до кончины, мыслил объявить старшего из них наследником Государства: молва, вероятно, несправедливая; но они, будучи единокровными Анастасии и двоюродными братьями Феодора, казались народу ближайшими к престолу. Сего было достаточно для злобы Борисовой, усиленной наездами родственников Царских; но гонение требовало предлога, если не для успокоения совести, то для мнимой безопасности гонителя, чтобы личиною закона прикрыть злодейство, как иногда поступал Грозный и сам Борис, избавляя себя от ненавистных ему людей в Феодорово время. Надежнейшими изветниками считались тогда рабы: желая ободрить их в сем предательстве, Царь не устыдился явно наградить одного из слуг Боярина Князя Федора Шестунова за ложный донос на господина в недобротстве к Венценосцу: Шестунова еще не тронули, но всенародно, на площади, сказали клеветнику *милостивое слово Государево*, дали вольность, чин и поместье. Между тем шептали слугам Романовых, что их за такое же усердие ждет еще важнейшая милость Царская; и главный клевет новоявленного тиранства, новый Малюта Скуратов, Вельможа Семен Годунов, изобрел способ уличить невинных в злодействе, надеясь на общее легкоеверие и невежество: подкупил казначея Романовых, дал ему мешки, наполненные кореньями, велел спрятать в кладовой у Боярина Александра Никитича и донести на своих господ, что они, тайно занимаясь составом яда, умышляют на жизнь Венценосца. Вдруг сделалась в Москве тревога: Синклит и все знатные чиновники спешат к Патриарху; посылают окольного Михайла Салтыкова для обыска в кладовой у Боярина Александра; находят там мешки, несут к Иову и в присутствии Романовых высыпают коренья, будто бы волшебные, изготовленные для отравления Царя. Все в ужасе – и Вельможи, усердные подобно Римским Сенаторам Тибериева или Неронова времени, с воплем кидаются на мнимых злодеев, как дикие звери на агнцев, – грозно требуют ответа и не слушают его в шуме. Отдают Романовых под крепкую стражу и велят судить, как судят беззаконие.

Сие дело есть одно из гнуснейших Борисова ожесточения и бесстыдства. Не только Романовым, но и всем их ближним надлежало погибнуть, чтобы не осталось мстителей на земле за невинных страдальцев. Взяли Князей Черкасских, Шестуновых, Репниных, Карповых, Сицких: знатнейшего из последних, Князя Ивана Васильевича, Наместника Астраханского, привезли в Москву скованного с женою и сыном. Допрашивали, ужасали пыткой, особенно Романовых; мучили, терзали слуг их, безжалостно и бесполезно: никто не утешил тирана клеветою на самого себя или на других; верные рабы умирали в муках, свидетельствуя единственно о невинности господ своих пред Царем и Богом. Но судии не дерзали сомневаться в истине преступления, столь грубо вымышленного, и прославили неслыханное милосердие Царя, когда он велел им осудить Романовых, со всеми их ближними, единственно на заточение, как уличенных в измене и в злодейском намерении известить Государя средствами волшебства. В июне 1601 года исполнился *приговор Боярский*: Федора Никитича Романова (будущего знаменитого Иерарха), постриженного и названного Филаретом, сослали в Сийскую Антониеву Обитель; супругу его, Ксению Ивановну, также постриженную и названную Марфою, в один из заонежских погостов; тещу Федорову, Дворянку *Шестову*, в Чебоксары, в Никольский Девичий монастырь; Александра Никитича в Усолье-Луду, к Белому морю; третьего Романова, Михайла, в Великую Пермь, в Ныробскую волость; четвертого, Ивана, в Нелым; пятого, Василия, в Яренск; зятя их, Князя Бориса Черкасского, с женою и с детьми ее брата, Федора Никитича, с шестилетним Михаилом (будущим Царем!) и с юною дочерью, на Белоозеро, сына Борисова, Князя Ивана, в Малмыж на Вятку; Князя Ивана Васильевича Сицкого в Кожеозерский монастырь, а жену его в пустыню Сумского острога; других Сицких, Федора и Владимира Шестуновых, Карповых и Князей Репниных в темницы разных городов: одного же из последних, Воеводу Яренского, будто бы за расхищение Царского достояния, в Уфу. Вотчины и поместья опальных раздали другим; имение движимое и дома взяли в казну.

Но гонение не кончилось ссылкой и лишением собственности: не веря усердию или строгости местных начальников, послали с несчастными Московских приставов, коим надлежало смотреть за ними неусыпно, давать им нужное для жизни и доносить Царю о каждом их слове значительном. Никто не смел взглянуть на оглашенных *изменников*, ни ходить близ уединенных

домов, где они жили, вне городов и селений, вдали от больших дорог; некоторые в землянках, и даже скованные. В монастырь Сийский не пускали богомольцев, чтобы кто-нибудь из них не доставил письма Федору Никитичу, Иноку невольному, но ревностному в благочестии: коварный пристав, с умыслом заговаривая ему о дворе, семействе и друзьях его, доносил Царю, что Филарет не находит между Боярами и Вельможами ни одного весьма умного, способного к делам государственным, кроме опального Богдана Бельского, и считает себя жертвою их злобных наветов; что хотя занимается единственно спасением души, но тоскует о жене и детях, не зная, где они без него сиротствуют, и моля Бога о скором конце их бедственной жизни (Бог не услышал сей молитвы, ко счастью России!). Донесли также Царю, что Василий Романов, отягченный болезнью и цепями, не хотел однажды славить милосердия Борисова, сказав Приставу: «истинная добродетель не знает тщеславия». Но Борис, как бы желая доказать узнику истину своего милосердия, велел снять с него цепи, объявить за них Царский гнев приставу, излишне ревностному в угнетении опальных, перевезти недужного Василия в Пелым к брату Ивану Никитичу, лишенному движения в руке и ноге от удара, и дать им печальное утешение страдать вместе. Василий от долговременной болезни скончался (15 февраля 1602) под молитвою брата и великодушного раба, который, верно служив господину в чести, служил ему и в оковах с усердием нежного сына. Александр и Михайло Никитичи также недолго жили в темнице, быв жертвою горести или насильственной смерти, как пишут: первого схоронили в Луде, второго в семи верстах от Чердыня, близ села Ныроба, в месте пустынном, где над могилою выросли два кедра. Доныне в церкви Ныробской хранятся Михайловы тяжкие оковы, и старцы еще рассказывают там о великодушном терпении, о чудесной силе и крепости сего мужа, о любви к нему всех жителей, коих дети приходили к его темнице играть на свирелях, и сквозь отверстия землянки подавали узнику все лучшее, что имели, для утоления голода и жажды: любовь, за которую их гнали при Годунове и наградили в Царствование Романовых милостивою, обельною грамотою. – Если верить Летописцу, то Борис, велел удавить в монастыре Князя Ивана Сицкого с женою, хотел уморить голодом и недужного Ивана Романова; но бумаги приказные свидетельствуют, что последний имел весьма не бедное содержание, ежедневно два или три блюда, мясо, рыбу, белый хлеб, и что у пристава еще было 90 (450 нынешних серебряных) рублей в казне, для доставления ему нужного. Скоро участь опальных смягчилась, от политики ли Царя (ибо народ жалел об них), или от ходатайства зятя Романовых, Крайчего Ивана Ивановича Годунова. В Марте 1602 Царь *милостиво указал* Ивану Романову (оставляя его под надзором, но уже без имени *злодея*) ехать в Уфу *на службу*, оттуда в Нижний Новгород, и наконец в Москву, вместе с племянником, Князем Иваном Черкасским; Сицких послал Воеводствовать в города Низовские (освободил ли Шестуновых и Репниных, неизвестно); а Княгине Черкасской, Марфе Никитишне, овдовевшей на Белеозере, велел жить с невесткою, сестрою и детьми Федора Никитича, в отчине Романовых Юрьевского уезда, в селе Клине, где, лишенный отца и матери, но блюдомый Провидением, дожил семилетний отрок Михаил, грядущий Венценосец России, до гибели Борисова племени. Царь хотел изъяснить милость и Филарету: позволил ему стоять в церкви на крылосе, взять к себе Чернца в келию для услуг и беседы; приказал всем довольствоваться своего *изменника* (еще так называя сего мужа непорочного в совести) и для богомольцев отворить монастырь Сийский, но не пускать их к опальному Иноку; приказал наконец (в 1605 году) посвятить Филарета в Иеромонахи и в Архимандриты, чтобы тем более удалить его от мира!

Не одни Романовы были страшилищем для Борисова воображения. Он запретил Князьям Мстиславскому и Василию Шуйскому жениться, думая, что их дети, по древней знатности своего рода, могли бы также состязаться с его сыном о престоле. Между тем, устраняя будущие мнимые опасности для юного Феодора, робкий губитель трепетал настоящих: волнуемый подозрениями, непрестанно боясь тайных злодеев и равно боясь заслужить народную ненависть мучительством, гнал и миловал: сослал Воеводу, Князя Владимира Бахтеярова-Ростовского, и простил его; удалил от дел знаменитого Дьяка Щелкалова, но без явной опалы; несколько раз удалял и Шуйских, и снова приближал к себе: ласкал их, и в то же время грозил немилостию всякому, кто имел обхождение с ними. Не было торжественных казней, но морили несчастных в темницах, пытали по доносам. Сонмы изветников, если не всегда награждаемых, но всегда свободных от наказания за ложь и клевету, стремились к Царским палатам из домов Боярских и хижин, из монастырей и церквей: слуги доносили на господ, Иноки, Попы, Дьячки, просвирницы на людей всякого звания – самые жены на мужей, самые дети на отцов, к ужасу человечества! «И в диких Ордах (прибавляет Летописец) не бывает столь великого зла: господа не смели глядеть на рабов

своих, ни ближние искренно говорить между собою; а когда говорили, то взаимно обязывались страшною клятвою не изменять скромности». Одним словом, сие печальное время Борисова Царствования, уступая Иоаннову в кровопийстве, не уступало ему в беззаконии и разврате: наследство гибельное для будущего! Но великодушие еще действовало в Россиянах (оно пережило Иоанна и Годунова, чтобы спасти отечество): жалели о невинных страдальцах и мерзили постыдными милостями Венценосца к доносителям; другие боялись за себя, за ближних – и скоро неудовольствие сделалось общим. Еще многие славили Бориса: приверженники, льстецы, изветники, утучняемые стяжанием опальных: еще знатное Духовенство, как уверяют, хранило в душе усердие к Венценосцу, который осыпал Святителей знаками благоволения: но глас отечества уже не слышался в хвале частной, корыстолюбивой, и молчание народа, служа для Царя явною укоризною, возвестило важную перемену в сердца Россиян: *они уже не любили Бориса!*

Так говорит Летописец современный, беспристрастный, и сам знаменитый в нашей Истории своею государственною доблестью: Келарь Палицын. Народы всегда благодарны: оставляя Небу судить тайну Борисова сердца, Россияне искренно славил Царя, когда он под личиною добродетели казался им отцом народа; но признав в нем тирана, естественно возненавидели его и за настоящее и за минувшее: в чем, может быть, хотели сомневаться, в том снова удостоверились, и кровь Димитриева явнее означилась для них на порфире губителя невинных: вспомнили судьбу Углича и других жертв мстительного властолюбия Годунова; безмолвствовали, но тем сильнее чувствовали в присутствии изветников – и тем сильнее говорили в святилищах недоступных для услужников тиранства, коего время бывает и Царством клеветы и Царством ненарушимой скромности: там, в тихих беседах дружества, неумолимая истина обнажала, а ненависть чернила Бориса, упрекая его не только душегубством, гонением людей знаменитых, грабежом их достояния, алчностью к прибытку беззаконному, корыстолюбивым введением откупов, размножением казенных домов питейных, порчею нравов, но и пристрастием к иноземным, новым обычаям (из коих брадобритие особенно соблазняло усердных староверов), даже наклонностию к Арменской и к Латинской ереси! Как любовь, так и ненависть редко бывают довольны истиною: первая в хвале, последняя в осуждении. Годунову ставили в вину и самую ревность его к просвещению!

В сие время общей нелюбви к Борису он имел случай доказать свою чувствительность к народному бедствию, заботливость, щедрость необыкновенную; но и тем уже не мог тронуть сердец, к нему остывших. Среди естественного обилия и богатства земли плодородной, населенной хлебопашцами трудолюбивыми; среди благословений долговременного мира, и в Царствование деятельное, предусмотрительное, пала на миллионы людей казнь страшная: весною, в 1601 году, небо омрачилось густою тьмою, и дожди лили в течение десяти недель непрестанно так, что жители сельские пришли в ужас: не могли ничем заниматься, ни косить, ни жать; а 15 Августа жестокий мороз повредил как зеленому хлебу, так и всем плодам незрелым. Еще в житницах и в гумнах находилось немало старого хлеба; но земледельцы, к несчастью, засеяли поля новым, гнилым, тощим, и не видали всходов, ни осенью, ни весною: все истлело и смешалось с землею. Между тем запасы изошли, и поля уже остались незасеянными. Тогда началось бедствие, и вопль голодных встревожил Царя. Не только гумна в селах, но и рынки в столице опустели, и четверть ржи возвысилась ценою от 12 и 15 денег до трех (пятнадцати нынешних серебряных) рублей. Борис велел отворить Царские житницы в Москве и в других городах; убедил Духовенство и Вельмож продавать хлебные свои запасы также низкою ценою; отворил и казну: в четырех оградах, сделанных близ деревянной стены Московской, лежали кучи серебра для бедных, ежедневно, в час утра, каждому давали две морковки, деньгу или копейку – но голод свирепствовал: ибо хитрые корыстолюбцы обманом скупали дешевый хлеб в житницах казенных, Святительских, Боярских, чтобы возвышать его цену и торговать им с прибытком бессовестным; бедные, получая в день копейку серебряную, не могли питаться. Самое благодеяние обратилось во зло для столицы; из всех ближних и дальних мест земледельцы с женами и детьми стремились толпами в Москву за Царскою милостынею, умножая тем число нищих. Казна раздавала в день несколько тысяч рублей, и бесполезно: голод усиливался и наконец достиг крайности столь ужасной, что нельзя без трепета читать ее достоверного описания в преданиях современников. «Свидетельствуюсь истиною и Богом, – пишет один из них, – что я собственными глазами видел в Москве людей, которые, лежа на улицах, подобно скоту щипали траву и питались ею; у мертвых находили во рту сено». Мясо лошадиное казалось лакомством: ели собак, кошек, стерво, всякую нечистоту. Люди сделались хуже зверей:

оставляли семейства и жен, чтобы не делиться с ними куском последним. Не только грабили, убивали за ломоть хлеба, но и пожирали друг друга. Путешественники боялись хозяев, и гостиницы стали вертепами душегубства: давили, резали сонных для ужасной пищи! Мясо человеческое продавалось в пирогах на рынках! Матери глодали трупы своих младенцев!.. Злодеев казнили, жгли, кидали в воду; но преступления не уменьшались... И в сие время другие изверги копили, берегли хлеб в надежде продать его еще дороже!.. Гибло множество в неизъяснимых муках голода. Везде шатались полумертвые, падали, издыхали на площадях. Москва заразилась бы смрадом гниющих тел, если бы Царь не велел, на свое иждивение, хоронить их, истощая казну и для мертвых. Приставы ездили в Москве из улицы в улицу, подбирали мертвецов, обмывали, завертывали в белые саваны, обували в красные башмаки или коты и сотнями возили за город в три скудельницы, где в два года и четыре месяца было схоронено 127'000 трупов, кроме погребенных людьми христоролюбивыми у церковей приходских. Пишут, что в одной Москве умерло тогда 500'000 человек, а в селах и в других областях еще несравненно более, от голода и холода: ибо зимою нищие толпами замерзали на дорогах. Пища неестественная также производила болезни и мор, особенно в Смоленском уезде, куда Царь в одно время послал 20'000 рублей для бедных, не оставив ни одного города в России без вспоможения, и если не спасая многих, то везде уменьшая число жертв, так что сокровищница Московская, полная от благополучного Феодорова Царствования, казалась неистощимою. И все иные возможные меры были им приняты: он не только в ближних городах скупал ценою им определенною, волею и неволею, все хлебные запасы у богатых; но послал и в самые дальние, изобильнейшие места освидетельствовать гумна, где еще нашлись огромные скирды, в течение полувека неприкосновенные и поросшие деревьями: велел немедленно молотить и везти хлеб как в Москву, так и в другие области. В доставлении встречались неминуемые, едва одолжимые трудности: во многих местах на пути не было ни подвод, ни корму; ямщики и все жители сельские разбегались. Обозы шли Россиею как бы пустынею Африканскою, под мечами и копьями воинов, опасаясь нападения голодных, которые не только вне селений, но и в Москве, на улицах и рынках, силою отнимали съестное. – Наконец деятельность верховной власти устранила все препятствия, и в 1603 году, мало-помалу, исчезли все знамения ужаснейшего из зол: снова явилось обилие, и такое, что четверть хлеба упала ценою от трех рублей до 10 копеек, к восхищению народа и к отчаянию корыстолюбцев, еще богатых тайными запасами ржи и пшеницы! Памятником бывшей, беспримерной дороговизны осталась навсегда, как сказано в летописях, ею введенная, новая мера *четверик*, ибо до 1601 года хлеб продавали в России единственно *оковами*, *бочками* или *кадями*, четвертями и осьминами.

Бедствие прекратилось, но следы его не могли быть скоро изглажены: заметно уменьшилось число людей в России и достояние многих! оскудела без сомнения и казна, хотя Годунов, великодушно расточая оную для спасения народного, не только не убавил своей обыкновенной пышности Царской, но еще более нежели когда-нибудь хотел блистать оною, чтобы закрыть тем действие гнева Небесного, особенно для послов иноземных, окружая их на пути от границы до Москвы призраками изобилия и роскоши: везде являлись люди, богато или красиво одетые; везде рынки полные товаров, мяса и хлеба, и ни единого нищего там, где за версту в сторону могилы наполнялись жертвами голода. В сие-то время Борис столь пышно угощал своего нареченного зятя, Герцога датского – и в сие же время украшал древний Кремль новыми зданием: в 1600 году воздвигнув огромную колокольню Ивана Великого, пристроил в 1601 и 1602 годах, на месте сломанного деревянного дворца Иоаннова, две большие каменные палаты к Золотой и Грановитой, столовую и панихидную, чтобы доставить тем работу и пропитание людям бедным, соединяя с милостию пользу, и во дни плача думая о велелепии! Однако ж не Московские летописцы, а только чужеземные историки упрекают Бориса гордостью неуклонною и в общем бедствии, суетою, тщеславием, рассказывая, что он запретил тогда Россиянам купить весьма умеренною ценою знатное количество ржи у Немцев в Иваногороде, стыдясь питать народ свой чужим хлебом. Известие конечно несправедливое: ибо наши государственные бумаги, свидетельствуя о приходе туда Немецких кораблей с хлебом в 1602 году, не упоминают о таком жестоком запрете. Борис, оказав в сем несчастьи столько деятельности и столько щедрости, чтобы удостоверить Россию в любви истинно отеческой Царя к подданным, не мог явно жертвовать их спасением тщеславию безумному.

Но Борис не обольстил Россиян своими благодеяниями: ибо – мысль, для него страшная, господствовала в душах мысль, что Небо за беззакония Царя казнит Царство. «Изливая на бедных щедроты, – говорят Летописцы, – он в золотой чаше подавал им кровь невинных, да

пиют во здравие; питал их милостынею богопротивною, расхитив имение Вельмож честных, и древние сокровища Царские осквернив добычею грабежа». Россия не благоденствовала в новом изобилии; не имела времени успокоиться: открылось новое бедствие, в коем современники непосредственно винили Бориса.

Еще Иоанн IV, желая населить Литовскую Украину, землю Северскую, людьми годными к ратному делу, не мешал в ней укрываться и спокойно житьствовать преступникам, которые уходили туда от казни: ибо думал, что они, в случае войны, могут быть надежными защитниками границы. Борис, любя следовать многим государственным мыслям Иоанновым, последовал и сей, весьма ложной и весьма несчастной: ибо незнаемо изготовил тем многочисленную дружину злодеев в услугу врагам отечества и собственным. «Великий разум и жестокость Грозного, – по словам Летописца, – не давали двинуться змиям; а кроткий, набожный Феодор связывал их своею молитвою», но Борис увидел зло, и еще увеличил его другими плодами своего мудрования, несогласного с вечными уставами правды. Издревле Бояре наши окружали себя толпами слуг, вольных и крепостных; издревле также любили кабалить первых: закон, изданный в Феодорово время, единственно в угодность знатному Дворянству, об укреплении всех людей, служащих господам не менее шести месяцев, совершенно прекратил род вольных слуг в нашем отечестве и наполнил дома Боярские рабами, коими сделались тогда, в противность Иоаннову Судебнику, даже и многие люди воинские, благородные, от нищеты, но без стыда служив богачам именитым: закон недостойный сего имени своею явною несправедливостию! Еще мало: к его действию присоединилось и насилие: знатные и случайные бессовестно укрепляли и не слуг, а всякого беззащитного, кто им нравился художеством, рукодельем, ловкостью или красотою. Но в дешевое время охотно умножав свою челядь, Дворяне во время голода начали распускать ее: воля обратилась в казнь и мучительство! Люди, еще совестные, выгоняли слуг из дому по крайней мере с отпускными; а злые без всякого письменного вида, с намерением клепать их в бегстве и в сносе, чтобы ябедою суда разорять тех, которые могли бы из человеколюбия дать им у себя дело и пищу: ужас разврата обыкновенного в години бедствий! Несчастные гибли или разбойничали, вместе со многими людьми Вельмож ссыльных, Романовых и других, осужденными вести жизнь бродяг (ибо никто не смел принять слуг опального) – вместе с украинскими беглецами, ходившими из гнезда своего в добычу и внутрь России. Явились шайки на дорогах; завелись пристани в местах глухих и лесистых; грабили, убивали под самою Москвою. Не боялись и сыскных дружин воинских: злодеи смело пускались на сечу с ними, имея Атаманом Хлопка, или Косолапа, удалца редкого. Государь должен был действовать с усилием немаловажным, и в мирное время отрядить целое войско против разбойника! Главный Воевода, Окольный Иван Федорович Басманов, едва выступив в поле, уже встретил Хлопка, врага презрительного, но злого, который, соединив свои шайки, дерзнул близ Москвы спорить с ним о победе. Упорная битва, бесславная и жестокая, решилась смертью Басманова: видя его падающего с коня, воины кинулись на разбойников, не жалели себя, и наконец одолели их остервенение: большую часть истребили и взяли в плен Атамана, изнемогшего от тяжелых ран – злодея, коего необыкновенная храбрость достойна была лучшего побуждения и лучшей цели! Удивленный дерзостью сего опасного скопища, Борис искал, кажется, тайных соумышленников или наставников Хлопка между людьми значительнейшими, зная, что в его шайках находились слуги господ опальных, и подозревая, что они могли быть вооружены местию против гонителя Романовых. Нарядили следствие; допрашивали, пытали взятых разбойников, но, по-видимому, ничего не узнали, кроме их собственных злодеяний. Хлопка, вероятно, умер от ран или в муках: всех других перевешали, и Борис единственно в сем случае уклонился от своего человеколюбивого обета не казнить никого смертью. – Еще многие из товарищей Хлопковых спаслись бегством в Украину, где Воеводы, по указу государеву, их ловили и вешали, но не могли истребить гнезда злодейского, которое ждало нового, гораздо опаснейшего Атамана, чтобы дать ему передовую дружину на пути к столице!

Так готовилась Россия к ужаснейшему из явлений в своей истории; готовилась долго: неистовым тиранством двадцати четырех лет Иоанновых, адскою игрою Борисова властолюбия, бедствиями свирепого голода и всеместных разбоев, ожесточением сердец, развратом народа – всем, что предшествует испровержению Государств, осужденных Провидением на гибель или на мучительное возрождение.

Если, как пишут, очевидцы, не было ни правды, ни чести в людях; если долговременный голод не смирил, не исправил их; но еще умножил пороки между ими: распутство, корыстолюбие, лихоимство, бесчувствие к страданию ближних; если и самое лучшее Дворянство, и самое

Духовенство заражалось общею язвою разврата, слабея в усердии к отечеству от беззаконий Царя, уже вообще ненавистного: то нужны ли были иные, чудесные знамения для устрашения России? ибо сии же Летописцы, следуя древнему обыкновению суеверия, рассказывают, что «нередко восходили тогда два и три солнца вместе; столпы огненные, ночью пылая на тверди, в своих быстрых движениях представляли битву воинств и красным цветом озаряли землю; от бурь и вихрей падали колокольни и башни; женщины и животные производили на свет множество уродов; рыбы во глубине вод и дичь в лесах исчезали, или, употребляемые в пищу, не имели вкуса; алчные псы и волки, везде бегая станицами, пожирали людей и друг друга; звери и птицы невиданные явились; орлы парили над Москвою; в улицах у самого дворца, ловили руками лисиц черных; летом (в 1604 году) в светлый полдень воссияла на небе комета, и мудрый старец, за несколько лет пред тем вызванный Борисом из Германии, объявил Дьяку Государственному (Власьеву), что Царству угрожает великая опасность». Оставим суеверие предкам: его мнимые ужасы не столь разнообразны, как действительные в истории народов.

В сие время [26 Октября 1603 г.] скончалась Ирина в келии Новодевичьего монастыря, около шести лет не выходя из своего добровольного заключения никуда, кроме церкви, пристроенной к ее смиренному жилищу. Жена знаменитая и душевными качествами и судьбою необыкновенною; без отца, без матери, в печальном сиротстве взысканная удивительным счастьем; воспитанная, любимая Иоанном – и добродетельная; первая *Державная Царица* России, и в юных летах Монахиня; чистая сердцем пред Богом, но омраченная в истории союзом с злым властолюбцем, коему она указала путь к престолу, хотя и невинно, будучи ослеплена любовью к нему и блеском его наружных добродетелей, не зная его тайных преступлений или не веря оным. Мог ли Борис открыть свою темную душу сердцу преданному святой набожности? Он делил с нежною сестрою только добрые чувства: с нею радовался торжеству отечества и скорбел о случаях бедственных для оною; поверял ей, может быть, свое великое намерение просветить Россию, жаловался на злую неблагодарность, на злые умыслы, призраки его беспокойной совести, и на горестную необходимость карать Вельмож-изменников; лицемерив пред сестрою в добре, не лицемерил, может быть, только в изъявлениях скорби о кончине ее: Ирина не мешала ему державствовать и служила Ангелом-хранителем, всеми любимая как истинная мать народа и в келии. Погребли Инокию с великолепиям Царским в девичьем Вознесенском монастыре, близ гроба Иоанновой дочери Марии и никогда не раздавалось столько милостыни, как в сей день печали; бедные во всех городах Российских благословили щедрость Борисову. Ирина была счастлива, смежив глаза навеки: ибо не видала гибели всего, что еще любила в жизни.

Настало время явной казни для того, кто не верил правосудию Божественному в земном мире, надеясь, может быть, смиренным покаянием спасти свою душу от ада (как надеялся Иоанн) и делами достохвальными загладить для людей память своих беззаконий. Не там, где Борис стерегся опасности, незапная опасность явилась; не потомки Рюриковы, не Князья и Вельможи, им гонимые, – не дети и друзья их, вооруженные местию, умыслили свергнуть его с Царства: сие дело умыслил и совершил презренный бродяга, именем младенца, давно лежавшего в могиле... Как бы Действием сверхъестественным тень Димитриева вышла из гроба, чтобы ужасом поразить, обезумить убийцу и привести в смятение всю Россию. Начинаем повесть, равно истинную и невероятную.

Бедный сын Боярский, Галичанин Юрий Отрепьев, в юности лишась отца, именем Богдана-Якова, стрелецкого сотника, зарезанного в Москве пьяным Литвином, служил в доме у Романовых и Князя Бориса Черкасского; знал грамоте; оказывал много ума, но мало благородствия; скучал низким состоянием и решился искать удовольствия беспечной праздности в сане Инока, следуя примеру деда, Замятни-Отрепьева, который уже давно монашествовал в обители Чудовской. Постриженный Вятским Игуменом Трифоном и названный Григорием, сей юный Чернец скитался из места в место; жил несколько времени в Суздале, в обители Св. Евфимия, в Галицкой Иоанна Предтечи и в других; наконец в Чудове монастыре, в келии у деда, под началом. Там Патриарх Иов узнал его, посвятил в Диаконы и взял к себе для *книжного дела*: ибо Григорий умел не только хорошо списывать, но даже и сочинять каноны Святым лучше многих старых книжников того времени. Пользуясь милостию Иова, он часто ездил с ним и во дворец: видел пышность Царскую и пленялся ею; изъявлял необыкновенное любопытство; с жадностию слушал людей разумных, особенно когда в искренних, тайных беседах произносилось имя Димитрия Царевича; везде, где мог, выводывал обстоятельства его судьбы несчастной и записывал на хартии. Мысль чудная уже поселилась и зрела в душе мечтателя, внушенная ему,

как уверяют, одним злым Иноком: мысль, что смелый самозванец может воспользоваться легковерием Россиян, умиляемых памятию Димитрия, и в честь Небесного Правосудия казнить святоубийцу! Семя пало на землю плодоносную: юный Диакон с прилежанием читал Российские летописи и нескромно, хотя и в шутку, говаривал иногда Чудовским Монахам: «знаете ли, что я буду Царем на Москве?» Одни смеялись; другие плевали ему в глаза, как вралю дерзкому. Сии или подобные речи дошли до ростовского Митрополита Ионы, который объявил Патриарху и самому Царю, что «недостойный Инок Григорий хочет быть сосудом диавольским»: добродушный Патриарх не уважил Митрополитова извета, но Царь велел Дьяку своему, Смирнову-Васильеву, отправить безумца Григория в Соловки, или в Белозерские пустыни, будто бы за ересь, навечное покаяние. Смирной сказал о том другому Дьяку, Евфимьеву; Евфимьев же, будучи свойственником Отрепьевых, умолил его не спешить в исполнении Царского указа и дал способ опальному Диакону спастися бегством (в Феврале 1602 года), вместе с двумя Иноками Чудовскими, Священником Варлаамом и Крылошанином Мисаилом Повадиным. Не думали гнаться за ними, и не известили Царя, как уверяют, о сем побеге, коего следствия оказались столь важными.

Бродяги-Иноки были тогда явлением обыкновенным; всякая обитель служила для них гостиницею: во всякой находили они покой и довольствие, а на путь запас и благословение. Григорий и товарищи его свободно достигли Новгорода Северского, где Архимандрит Спасской обители принял их весьма дружелюбно и дал им слугу с лошадьми, чтобы ехать в Путивль; но беглецы, отослав провожатого, спешили в Киев, и Спасский Архимандрит нашел в келии, где жил Григорий, следующую записку: «Я Царевич Димитрий, сын Иоаннов, и не забуду твоей ласки, когда сяду на престол отца моего». Архимандрит ужаснулся; не знал, что делать; решился молчать.

Так в первый раз открылся Самозванец еще в пределах России; так беглый Диакон вздумал грубою ложью низвергнуть великого Монарха и сесть на его престоле, в державе, где Венценосец считался земным Богом, – где народ еще никогда не изменял Царям, и где присяга, данная Государю *избранному*, для верных подданных была не менее священною! Чем, кроме действия непостижимой Судьбы, кроме воли Провидения, можем изъяснить не только успех, но и самую мысль такого предприятия? Оно казалось безумием; но безумец избрал надежнейший путь к цели: Литву!

Там древняя, естественная ненависть к России всегда усердно благоприятствовала нашим изменникам, от Князей Шемякина, Вереяского, Боровского и Тверского до Курбского и Головина: туда устремился и Самозванец, не прямою дорогою, а мимо Стародуба, к Луевым горам, сквозь темные леса и дебри, где служил ему путеводителем новый спутник его, Инок *Днепров* монастыря, Пимен, и где, вышедши наконец из Российских владений близ Литовского селения Слободки, он принес усердную благодарность Небу за счастливое избежание всех опасностей. В Киеве, снискав милость знаменитого Воеводы Князя Василия Константиновича Острожского, Григорий жил в Печерском монастыре, а после в Никольском и в Дермане; везде священнодействовал как Диакон, но вел жизнь соблазнительную, презирая устав воздержания и целомудрия; хвалился свободою мнений, любил толковать о Законе с иноверцами и был даже в тесной связи с Анабаптистами. Между тем безумная мысль не усыпала в голове прошлеца: он распустил темную молву о спасении и тайном убежище Димитрия в Литве; свел знакомство с другим отчаянным бродягою, Иноком Крыпецкого монастыря, Леонидом: уговорил его назваться своим именем, то есть Григорием Отрепьевым; а сам, скинув с себя одежду Монашескую, явился мирянином, чтобы удобнее приобрести навыки и знания, нужные ему для ослепления людей. Среди густых камышей Днепровских гнездились тогда шайки удалых Запорожцев, бдительных стражей и дерзких грабителей Литовского Княжества: у них, как пишут, расстрига Отрепьев несколько времени учился владеть мечем и конем, в шайке Герасима Евангелика, старшины именитого; узнал и полюбил опасность; добыл первой воинской опытности и корысти. Но скоро увидели прошлеца на ином феатре: в мирной школе городка Волынского, Гащи, за Польскою и Латинскою грамматикою: ибо мнимому Царевичу надобно было действовать не только оружием, но и словом. Из школы он перешел в службу к Князю Адаму Вишневецкому, который жил в Брагине со всею пышностию богатого Вельможи. Тут Самозванец приступил к делу – и если искал надежного, лучшего пособника в предприятии равно дерзком и нелепом, то не обманулся в выборе: ибо Вишневецкий, сильный при дворе и в Государственной думе многочисленными друзьями и прислужниками, соединял в себе надменность с умом слабым и легковерием младенца. Новый слуга знаменитого Пана вел себя скромно; убегал всяких низких забав,

ревностно участвовал только в воинских, и с отменною ловкостью. Имея наружность некрасивую – рост средний, грудь широкую, волосы рыжеватые, лицо круглое, белое, но совсем не привлекательное, глаза голубые без огня, взор тусклый, нос широкий, бородавку под правым глазом, также на лбу, и одну руку короче другой – Отрепьев заменял сию невыгоду живостию и смелостию ума, красноречием, осанкою благородною. Заслужив внимание и доброе расположение господина, хитрый обманщик притворился больным, требовал Духовника, и сказал ему тихо: «Умираю. Предай мое тело земле с честью, как хоронят детей Царских. Не объявлю своей тайны до гроба; когда же закрою глаза навеки, ты найдешь у меня под ложем свиток, и все узнаешь; но другим не сказывай. Бог судил мне умереть в злосчастии». Духовник был Иезуит: он спешил известить Князя Вишневецкого о сей тайне, а любопытный Князь спешил узнать ее: обыскал постелю мнимоумирающего; нашел бумагу, заблаговременно изготовленную, и прочитал в ней, что слуга его есть Царевич Димитрий, спасенный от убийства своим верным медиком; что злодеи, присланные в Углич, умертвили одного сына Иерейского, вместо Димитрия, коего укрыли добрые Вельможи и Дьяки Щелкаловы, а после выпроводили в Литву, исполняя наказ Иоаннов, данный им на сей случай. Вишневецкий изумился: еще хотел сомневаться, но уже не мог, когда хитрец, вина нескромность Духовника, раскрыл свою грудь, показал золотой, драгоценными камнями осыпанный крест (вероятно где-нибудь украденный) и с слезами объявил, что сия святыня дана ему крестным отцом Князем Иваном Мстиславским.

Вельможа Литовский был в восхищении. Какая слава представлялась для него возможною! бывшего слугу своего увидеть на троне Московском! Он не щадил ничего, чтобы поднять мнимого Димитрия с одра смертного, и в краткое время его притворного выздоровления изготовив ему великолепное жилище, пышную услугу, богатые одежды, успел во всей Литве разгласить о чудесном спасении Иоаннова сына. Брат Князя Адама Константин Вишневецкий и тесть сего последнего Воевода Сендомирский Юрий Мнишек взяли особенное участие в судьбе столь знаменитого изгнанника, как они думали, веря свитку, золотому кресту обманщика и свидетельству двух слуг: обличенного вора беглеца Петровского и другого, Мнишкова холопа, который в Иоанново время был нашим пленником и будто бы видал Димитрия (младенца двух или трех лет) в Угличе: первый уверял, что Царевич действительно имел приметы Самозванца (дотоле никому неизвестные): бородавки на лице и короткую руку. Вишневецкие донесли Сигизмунду, что у них истинный наследник Феодоров: а Сигизмунд отвечал, что желает его видеть, уже быв извещен о сем любопытном явлении другими, не менее ревностными доброхотами Самозванца: Папским Нунцием Рангони и пронырливыми Иезуитами, которые тогда Царствовали в Польше, управляя совестью малодушного Сигизмунда, и легко вразумили его в важные следствия такого случая.

В самом деле, что могло казаться счастливее для Литвы и Рима? Чего нельзя было им требовать от благодарности Лжедимитрия, содействуя ему в приобретении Царства, которое всегда грозило Литве и всегда отвергало духовную власть Рима? В опасном неприятеле Сигизмунд мог найти друга и союзника, а Папа усердного сына в непреклонном послушнике. Сим изъясняется легковерие Короля и Нунция: думали не об истине, но единственно о пользе; одно бедствие, одно смятение и междоусобие России уже пленяло воображение наших врагов естественных; и если робкий Сигизмунд еще колебался, то ревностные Иезуиты победили его нерешимость, представив ему способ, обольстительный для душ слабых: действовать не открыто, не прямо, и под личиною мирного соседа ввергнуть пламя войны в Россию. Уже Рангони находился в тесной связи с Самозванцем, и деятельные Иезуиты служили посредниками между ими; уже с обеих сторон изъяснились и заключили договор: Лжедимитрий письменно обязался за себя и за Россию пристать к Латинской Церкви, а Рангони быть его ходатаем не только в Польше и в Риме, но и во всей Европе; советовал ему спешить к Королю и ручался за доброе следствие их свидания.

Вместе с Воеводою Сендомирским и Князем Вишневецким Отрепьев (в 1603 или 1604 году) явился в Кракове, где Нунций немедленно посетил его. «Я сам был тому свидетелем, – пишет Секретарь Королевский Чилли, *веря мнимому Царевичу*: – я видел, как Нунций обнимал и ласкал Димитрия, беседуя с ним о России и говоря, что ему должно торжественно объявить себя Католиком для успеха в своем деле. Димитрий с видом сердечного умиления клялся в непременно исполнении данного им обета и вторично подтвердил сию клятву в доме у Нунция, в присутствии многих Вельмож. Угостив Царевича пышным обедом, Рангони повез его во дворец. Сигизмунд, обыкновенно важный и величавый, принял Димитрия в кабинете, стоя, и с ласковою улыбкою. Димитрий поцеловал у него руку, рассказал ему всю свою историю», и

заклучил так: *Государь! вспомни, что ты сам родился вузах и спасен единственно Провидением. Державный изгнанник требует от тебя сожаления и помощи.* «Чиновник Королевский дал знак Царевичу, чтобы он вышел в другую комнату, где Воевода Сендомирский и все мы ждали его. Король остался наедине с Нунциеми чрез несколько минут снова призвал Димитрия. Положив руку на сердце, смиренный Царевич более вздохами, нежели словами убеждал Сигизмунда быть милостивым. Тогда Король с веселым видом, приподняв свою шляпу, сказал: *Да поможет вам Бог, Московский Князь Димитрий! А мы, выслушав и рассмотрев все ваши свидетельства, несомненно видим в вас Иоаннова сына, и в доказательство нашего искреннего благоволения определяем вам ежегодно 40 000 золотых*» (54 000 нынешних рублей серебряных) «на содержание и всякие издержки. Сверх того вы, как истинный друг Республики, вольны сноситься с нашими Панами и пользоваться их усердным вспоможением. Сия речь столько восхитила Димитрия, что он не мог сказать ни единого слова: Нунций благодарил Короля, привез Царевича в дом к Воеводе Сендомирскому и, снова обняв его, советовал ему действовать немедленно, чтобы скорее достигнуть цели: отнять Державу у Годунова и навеки утвердить в России Веру Католическую с Иезуитами». Прежде всего надлежало самому Лжедимитрию принять сию Веру: чего неотменно хотел Рангони; но условились не оглашать того до времени, боясь закоренелой ненависти Россиян к Латинской Церкви. Действие совершилось в доме Краковских Иезуитов. Расстрига шел к ним тайно с каким-то Вельможею Польским в бедном рубище, закрывая лицо свое, чтобы никто не узнал его; выбрал одного из них себе в Духовники, исповедался, отрекся от нашей Церкви, и как новый ревностный сын Западной принял Тело Христово с миропомазанием от Римского Нунция. Так сказано в письмах *Иезуитского общества*, которое славilo будущие великие добродетели мнимого Димитрия, надеясь усердием его подчинить Риму *все неизмеримые страны Востока!* – Тогда Отрепьев, следуя наставлениям нунция, собственною рукою написал красноречивое Латинское письмо к Папе, чтобы иметь в нем искреннего покровителя – и Климент VIII не замедлил удостоверить его в своей готовности помогать ему всею духовною властью Апостольского Наместника.

Должно отдать справедливость уму расстриги: предав себя Иезуитам, он выбрал действительнейшее средство одушевить ревностию беспечного Сигизмунда, который, вопреки чести, совести, народному праву и мнению многих знатных Вельмож, решился быть сподвижником бродяги. Славный друг Баториев Гетман Замойский был еще жив: Король писал к нему о своем важном предприятии, говоря, что Республика, доставив Димитрию корону, будет располагать силами Московской Державы, легко обуздает Турков, Хана и Шведов, возьмет Эстонию и всю Ливонию, откроет путь для своей торговли в Персию и в Индию; но что сие великое намерение, требуя тайны и скорости, не может быть предложено сейму, дабы Годунов не имел времени изготoвиться к обороне. Тщетно старец Замойский, Пан Жолкевский, Князь Острожский и другие Вельможи благоразумные удерживали Короля, не советуя ему легкомысленно вдаваться в опасность такой войны, особенно без ведома чинов государственных и с малыми силами; тщетно знаменитый Пан Збаражский доказывал, что мнимый Димитрий есть без сомнения обманщик. Убежденный Иезуитами, но не дерзая самовластно нарушить двадцатилетнего перемирия, заключенного между им и Борисом, Король велел Мнишку и Вишневецким поднять знамя против Годунова именем Иоаннова сына и составить рать из вольницы; определил ей на жалованье доходы Сендомирского Воеводства; внушал Дворянам, что слава и богатство ожидают их в России и, торжественно возложив с своей груди золотую цепь на расстригу, отпустил его с двумя Иезуитами из Кракова в Галицию, где близ Львова и Самбора, в местностях Вельможи Мнишка, под распущенными знаменами уже толпилась Шляхта и чернь, чтобы идти на Москву.

Главою и первым ревнителем сего подвига сделался старец Мнишек, коему старость не мешала быть ни честолюбивым, ни легкомысленным до безрассудности. Он имел юную дочь прелестницу, Марину, подобно ему честолюбивую и ветреную: Лжедимитрий, гостя у него в Самборе, объявил себя, искренно или притворно, страстным ее любовником и вскружил ей голову именем Царевича; а гордый Воевода с радостию благословил сию взаимную склонность, в надежде видеть Россию у ног своей дочери, как наследственную собственность его потомства. Чтобы утвердить сию лестную надежду и хитро воспользоваться еще неверными обстоятельствами жениха, Мнишек предложил ему условия, без малейшего сомнения принятые расстригою, который дал на себя следующее обязательство (писанное 25 Маия 1604, собственною рукою Воеводы Сендомирского): «Мы, Димитрий *Иванович*, Божию милостию *Царевич* Великой России, Углицкий, Дмитровский и проч., Князь от колена предков своих, и всех Государств

Московских Государь и наследник, по уставу Небесному и примеру Монархов Христианских избрали себе достойную супругу, Вельможную Панну Марину, дочь ясновельможного Пана Юрия Мнишка, коего считаем отцем своим, испытав его честность и любовь к нам, но отложили бракосочетание до нашего воцарения: тогда – в чем клянемся именем Св. Троицы и прямым словом Царским – женюсь на панне Марине, обязываясь: 1) выдать немедленно миллион золотых» (1 350 000 нынешних серебряных рублей) «на уплату его долгов и на ее путешествие до Москвы, сверх драгоценностей, которые пришлем ей из нашей казны Московской; 2) торжественным Посольством известить о сем деле Короля Сигизмунда и просить его благосклонного согласия на оное; 3) будущей супруге нашей уступить два Великие Государства, Новгород и Псков, со всеми уездами и пригородами, с людьми Думными, Дворянами, Детьми Боярскими и с Духовенством, так чтобы она могла судить и рядить в них самовластно, определять Наместников, раздавать вотчины и поместья своим людям служивым, заводить школы, строить монастыри и церкви Латинской Веры, свободно исповедуя сию Веру, которую и мы сами приняли с твердым намерением ввести оную во всем Государстве Московском. Если же – от чего Боже сохрани – Россия воспротивится нашим мыслям и мы не исполним своего обязательства в течение года, то Панна Марина вольна развестися со мною или взять терпение еще на год», и проч. Сего не довольно: в восторге благодарности Лжедмитрий другою грамотою (писанною 12 Июня 1604) отдал Мнишку в наследственное владение Княжество Смоленское и Северское, кроме некоторых уездов, назначенных им в дар Королю Сигизмунду и Республике в залог вечного, ненарушимого мира между ею и Московскою державою... Так беглый Диакон, чудесное орудие гнева Небесного, под именем Царя Российского готовился предать Россию, с ее величием и православием, в добычу Иезуитам и Ляхам! Но способы его еще не ответствовали важности замысла.

Ополчалась в самом деле не рать, а сволочь на Россию: весьма немногие знатные Дворяне, в угодность Королю, мало уважаемому, или прельщаясь мыслию храбровать за изгнанника Царевича, явились в Самборе и Львове: стремились туда бродяги, голодные и полунагие, требуя оружия не для победы, но для грабежа, или жалованья, которое щедро выдавал Мнишек в надежде на будущее: на богатое вено Марины и доходы Смоленского Княжества. Расстрига и друзья его чувствовали нужду в иных, лучших сподвижниках и должны были естественно искать их в самой России. Достойно замечания, что некоторые из Московских беглецов, детей Боярских, исполненных ненависти к Годунову, укрываясь тогда в Литве, не хотели быть участниками сего предприятия, ибо видели обман и гнушались злодейством: пишут, что один из них, Яков Пыхачев, даже всенародно, и пред лицом Короля, свидетельствовал о сем грубом обмане вместе с товарищем расстригиным, Инокком Варлаамом, встревоженным совестью; что им не верили и прислали обоих скованных к Воеводе Мнишку в Самбор, где Варлаама заключили в темницу, а Пыхачева, обвиняемого в намерении умертвить Лжедмитрия, казнили. Другие беглецы, менее совестные, Дворянин Иван Борошин с десятью или пятнадцатью клеветами, пали к ногам мнимого Царевича и составили его первую дружину Русскую: скоро нашлася гораздо сильнейшая. Зная свойство мятежных Донских Козаков – зная, что они не любили Годунова, казнившего многих из них за разбой, – Лжедмитрий послал на Дон Литвина Свирского с грамотою; писал, что он сын первого Царя Белого, коему сии вольные Христианские витязи присягнули в верности; звал их на дело славное: свергнуть раба и злодея с престола Иоаннова. Два Атамана, Андрей Корела и Михайло Нежакож, спешили видеть Лжедмитрия; видели его честимого Сигизмундом, Вельможными Панами и возвратились к товарищам с удостоверением, что их зовет истинный Царевич. Удальцы Донские сели на коней, чтобы присоединиться к толпам Самозванца. Между тем усердный слуга его Пан Михайло Ратомский, Остерский Староста, волновал нашу Украйну чрез своих лазутчиков и двух Монахов Русских, вероятно Мисаила и Леонида, из коих последний, взяв на себя имя Григория Отрепьева, мог свидетельствовать, что оно не принадлежит Самозванцу. В городах, в селах и на дорогах подкидывали грамоты от Лжедмитрия к Россиянам с вестию, что он жив и скоро к ним будет. Народ изумлялся, не зная, верить тому или не верить; а бродяги, негодяи, разбойники, издавна гнездясь в земле Северской, обрадовались: наступало их время. Кто бежал в Галицию к Самозванцу, кто в Киев, где Ратомский также выставил знамя для собрания вольницы: он поднял и Козаков Запорожских, прельщенных мыслию вести бывшего ученика своего на Царство Московское. – Столько движения, столько гласных происшествий могло ли утаиться от Годунова?

Еще прежде, нежели Самозванец открылся Вишневецким, слух, распушенный им в Литве о Дмитрии, сделался, вероятно, известным Борису. В Генваре 1604 года Нарвский сановник

Тирфельд писал с гонцем к Абовскому градоначальнику, что мнимо убитый сын Иоаннов живет у Козаков: гонца задержали в Иванегороде, и письмо его доставили Царю. В то же время пришли и вести из Литвы и подметные грамоты Лжедмитриевы от наших Воевод украинских; в то же время на берегах Волги Донские Козаки разбили Окольного Семена Годунова, посланного в Астрахань и, захватив несколько стрельцов, отпустили их в Москву с таким наказом: «объявите Борису, что мы скоро будем к нему с Царевичем Димитрием!» Один Бог видел, что происходило в душе Годунова, когда он услышал сие роковое имя!.. но чем более устранился, тем более хотел казаться бесстрашным. Не сомневаясь в убиении истинного сына Иоаннова, он изыскал для себя столь дерзкую ложь умыслом своих тайных врагов, и велел лазутчикам узнать в Литве, кто сей Самозванец, искал заговора в России: подозревал Бояр; призвал в Москву Царицу-Инокиню, мать Димитриеву, и ездил к ней в Девиный монастырь с Патриархом, воображая, как вероятно, что она могла быть участницею предполагаемого кова, и надеясь лестию или угрозами выведать ее тайну: но Царица-Инокиня, равно как и Бояре, ничего не знала, с удивлением и, может быть, не без внутреннего удовольствия слыша о Лжедмитрии, который не заменял сына для матери, но страшил его убийцу. Сведая наконец, что Самозванец есть расстрига Отрепьев и что Дьяк Смирной не исполнил Царского указа сослать его в пустыню Беломорскую, Борис усилием притворства не оказал гнева, ибо хотел уверить Россиян в маловажности сего случая: Смирной трепетал, ждал гибели и был казнен, но после, и будто бы за другую вину: за расхищение государственного достояния. Удвоив заставы на Литовской границе, чтобы перехватывать вести о Самозванце, однако ж чувствуя невозможность скрыть его явление от России и боясь молчанием усилить вредные толки, Годунов обнародовал историю беглеца Чудовского, вместе с допросами Монаха Пимена, Венедикта, Чернца Смоленского, и мещанина Ярославца, иконника Степана: первый объявлял, что он сам вывел бродягу Григория в Литву, но не хотел идти с ним далее и возвратился; второй и третий свидетельствовали, что они знали Отрепьева Дяконом в Киеве и вором между запорожцами; что сей негодяй, богоотступник, чернокнижник с умыслом Князей Вишневецких и самого Короля дерзает в Литве называться Димитрием. В то же время Царь послал, от имени Бояр, дядю расстригина Смирного-Отрепьева к Сигизмундовым Вельможам, чтобы в их присутствии изобличить племянника; послал и к Донским Козакам Дворянина Хрущова вывести их из бедственного заблуждения. Но грамоты и слова не действовали: Вельможи Королевские не хотели показать Лжедмитрия Смирнову-Отрепьеву и сухо ответствовали, что им нет дела до мнимого Царевича Российского; а Козаки схватили Хрущова, оковали и привезли к Самозванцу. Уже расстрига (15 Августа) двинулся с своими дружинами к берегам Днепровским и стоял (17 того же месяца) в Сокольниках: Хрущов, представленный ему в цепях, взглянул на него... залился слезами и пал на колена, воскликнув: «вижу Иоанна в лице твоём: я твой слуга навеки!» С него сняли оковы; и сей первый чиновный изменник, ослепленный страхом или корыстию, в знак усердия донес своему новому Государю, мешая истину с ложью, что «народ изъявляет в России любовь к Димитрию; что самые знатные люди, Меньшой Булгаков и другие, пили у себя с гостями чашу за его здоровье и были, по доносу слуг, осуждены на казнь; что Борис умертвил и сестру, вдовствующую Царицу Ирину, которая всегда видела в нем Монарха незаконного; что он, не смея явно ополчаться против Димитрия, сводит полки в Ливнах, будто бы на случай Ханского впадения; что главные Воеводы их Петр Шереметев и Михайло Салтыков, встретясь с ним, Хрущовым, в искренней беседе сказали: *нас ожидает не Крымская, а совсем иная война – но трудно поднять руку на Государя природного*, что Борис нездоров, едва ходит от слабости в ногах и думает тайно выслать казну Московскую в Астрахань и в Персию». Годунов без сомнения не убил Ирины и не думал искать убежища в Персии; еще не видал дотоле измены в Россиянах и не казнил ни одного человека за явную приверженность к Самозванцу; с жадностью слушая лазутчиков, доносителей, клеветников, воздерживал себя от тиранства для своей безопасности в таких обстоятельствах и терзаемый подозрениями, еще неосновательными, хотел знаками великодушной доверенности тронуть Бояр и чиновников: но действительно медлил двинуть значительную рать прямо к Литовским пределам, в доказательство ли бесстрашия, боясь ли сильным ополчением дать народу мысль о важности неприятеля, избегая ли войны с Польшею до самой крайней необходимости? Сия необходимость была уже очевидна: Король Сигизмунд вооружал на Бориса не только Самозванца, но и крымских разбойников, убеждая Хана вступить вместе с Лжедмитрием в Россию. Борис знал все и еще послал в Варшаву лично к Королю Дворянина Огарева, усостыжить его представлением, сколь унижительно для Венценосца Христианского быть союзником подлого обманщика; вторично объявлял, кто сей мнимый Царевич, и спрашивал, чего Сигизмунд желает:

мира или войны с Россиею? Сигизмунд хотел лукавствовать и подобно своим Вельможам отвечал, что не стоит за Лжедмитрия и не мыслит нарушать перемирия; что некоторые Ляхи самовольно помогают сему бродяге, *ушедшему* в Галицию, и будут наказаны как мятежники. «Мы хотели обмануть Бога (пишет современник, один из знатных Ляхов), уверяя бессовестно, что Король и республика не участвуют в Дмитриевом предприятии». – Уже Самозванец начал действовать, а Царь велел Патриарху Иову еще писать к Духовенству Литовскому и Польскому, чтобы оно для блага обеих держав старалось удалить кровопролитие за богоотступника расстригу; все наши Епископы скрепили Патриаршую грамоту своими печатями, клятвенно свидетельствуя, что они все знали Отрепьева Монахом. Такую же грамоту написал Иов и к Киевскому Воеводе Князю Василию Острожскому, напоминая ему, что он сам знал сего беглеца Дияконом, и заклиная его быть достойным сыном церкви: обличить расстригу, схватить и прислать в Москву. Но гонцы Патриарховы не возвратились: их задержали в Литве и не ответствовали Иову ни Духовенство, ни Князь Острожский: ибо Самозванец действовал уже с блестящим успехом.

Сие грозное ополчение, которое шло низвергнуть Годунова, состояло едва ли из 1500 воинов исправных, всадников и пеших, кроме сволочи, без устройства и почти без оружия. Главными предводителями были сам Лжедмитрий (сопровожаемый двумя Иезуитами), юный Мнишек (сын Воеводы Сендомирского), Дворжицкий, Фредро и Неборский; каждый из них имел свою особенную дружину и хоругвь; а старец Мнишек первенствовал в их Думе. Они соединились близ Киева с двумя тысячами Донских Козаков, приведенных Свирским, с толпами вольницы, Киевской и Северской, ополченной Ратомским, и 16 октября [1604 г.] вступили в Россию... Тогда единственно Борис начал решительно готовиться к обороне: послал надежных Воевод в украинские крепости с Головами Стрелецкими; а знатных Бояр, Князя Дмитрия Шуйского, Ивана Годунова и Михайла Глебовича Салтыкова в Брянск, чтобы собрать там многочисленное полевое войско. Еще Борис мог стыдиться страха, видя против себя толпы Ляхов, нестройной вольницы и Козаков, предводимые беглым расстригою; но сей человек назывался именем ужасным для Бориса и любезным для России!

Лжедмитрий шел с мечем и с манифестом: объявлял Россиянам, что он, невидимою десницею Всевышнего устранный от ножа Борисова и долго сокрываемый в неизвестности, сею же рукою изведен на феатр мира под знаменами сильного, храброго войска и спешит в Москву взять наследие своих предков, венец и скипетр Владимиров; напоминал всем чиновникам и гражданам присягу, данную ими Иоанну; убеждал, их оставить хищника Бориса и служить государю законному; обещал мир, тишину, благоденствие, коих они не могли иметь в Царствование злодея богопротивного. Вместе с тем Воевода Сендомирский именем Короля и Вельможных Панов обнародовал, что они, убежденные доказательствами очевидными, несомненно признали Дмитрия истинным Великим Князем Московским, дали ему рать и готовы дать еще сильнейшую для восшествия на престол отца его. Сей манифест довершил действие прежних подметных грамот Лжедмитрия в Украине, где не только сподвижники Хлопковы и слуги опальных Бояр, ненавистники Годунова – не только низкая чернь, но и многие люди воинские поверили Самозванцу, не узнавая беглого Диякона в союзнике Короля Сигизмунда, окруженном знатными Ляхами; в витязе ловком, искусном владеть мечем и конем; в Военачальнике бодром и бесстрашном: ибо Лжедмитрий был всегда впереди, презирал опасность, и взором спокойным искал, казалось, не врагов, а друзей в России. Несчастья Годунова времени, надежда на лучшее, любовь к чрезвычайному и золото, рассыпаемое Мнишком и Вишневецкими, также способствовали легковерию народному. Тщетно градоначальники Борисовы хотели мешать распространению листов Самозванцевых, опровергали и жгли их: листы ходили из рук в руки, готовя измену. Начались тайные сношения между Самозванцем и городами украинскими, где лазутчики его действовали с величайшею ревностью, обольщая умы и страсти людей – доказывая, что присяга, данная Годунову, не имеет силы: ибо обманутый народ, присягая ему, считал сына Иоаннова мертвым; что сам Борис знает сию истину, обезумел в ужасе и не противится мирному вступлению Царевича в Россию. Самые чиновники колебались, или в оцепенении ждали дальнейших происшествий; самые Воеводы, видя общее движение в пользу Лжедмитрия, опасались, кажется, употребить строгость и не изъявили должного усердия. Составились заговоры, и мятеж вспыхнул.

Отрепьев на левом берегу Днепра разделил свое войско: послал часть его к Белугороду, а сам шел вверх Десны, вслед за рассыпною дружиною переметчиков, которые служили ему верными путеводителями, зная места и людей. Едва поставив ногу на Русскую землю (18

Октября), в Слободе Шляхетской, он сведал о своем первом успехе: жители и воины Моравска отложились от Бориса; связали, выдали Воевод своих Лжедмитрию; встретили его с хлебом и солью. Чувствуя важность начала в таком предприятии, умный пришлец вел себя с отменной ловкостью: торжественно славил Бога; изъявлял милость и величавость; не укорял Воевод моравских верностью к Борису, жалел только об их заблуждении, и дал им свободу; жаловал, ласкал изменников, граждан, воинов, видом и разговором, не без искусства представляя лицо державного, так что от Литовского рубежа до самых внутренних областей России с неимоверною быстротою промчалась добрая слава о Лжедмитрии – и знаменитая столица Ольговичей не усомнилась следовать примеру Моравска. 26 Октября покорился Самозванцу Чернигов, где ратники и граждане также встретили его с хлебом и солью, выдав ему Воевод, из коих главный, Князь Иван Андреевич Татев, внутренне ненавидя Бориса, как второй Хрущов бесстыдно вступил в службу к обманщику. Там хранилась значительная казна: Лжедмитрий, разделив ее между своими воинами, усилил тем их ревность; умножил и число, присоединив к ним 300 стрельцов изменников и жителей, ополченных усердием к нему и духом буйным. Взяв из Черниговской крепости 12 пушек, Самозванец оставил в ней начальником Ляха и спешил к Новугороду Северскому. Он надеялся быть везде завоевателем без кровопролития и действительно, на берегах Десны, Свины и Снова, видел единственно коленопреклонение народа и слышал радостный клик: «Да здравствует Государь наш, Димитрий!»

Но вести не было из Новагорода: жители не высылали ко Лжедмитрию ни призывных грамот, ни Воевод связанных: там бодрствовал один человек, решительный, смелый – и еще верный! Сей витязь был Петр Федорович Басманов, брат убитого разбойниками (в 1604 году) Ивана Басманова, дотоле известный только чрезвычайною судьбою отца и деда, которые всем жертвуя Иоанновой милости, своею гибелью доказали Небесное правосудие: наследовав их дух Царедворческий, он соединял в себе великие способности ума и даже некоторые благородные качества сердца и совестью уклонною, нестроюю, будучи готов на добро и зло для первенства между людьми. Борис видел в юном Басманове только достоинства; вывел его, вместе с братом, из родовой опалы на степень знатности, в 1601 году дав ему сан Окольничего, и вместе с Боярином Князем Никитою Романовичем Трубецким послал было спасти Чернигов; но они за 15 верст до сего города сведали, что там уже Самозванец, и заключились в Новгороде. Тогда узнали Басманова! Великая опасность поставила его выше Боярина Трубецкого: приняв начальство в городе, где все колебалось от внушений измены или страха, он истинною и грозою обуздал предательство: сам уверенный в обмане, уверил в нем и других; сам не боясь смерти, устранил мятежников казнию; сжег предместья, и с пятисотною дружиною стрельцов Московских заперся в крепости, волею или неволею взяв к себе и знатнейших жителей. 11 Ноября Лжедмитрий подступил к Новугороду: тут Россияне приветствовали его, в первый раз, ядрами и пулями! Он требовал переговоров: Басманов с зажженным фитилем стоял на стене и слушал клеветы Самозванцева Ляха Бучинского, который сказал, что Царь и Великий Князь Димитрий готов быть отцом воинов и жителей, если ему сдадутся, или, в случае упорства, не оставит живым ни грудного младенца в Новгороде. «Великий Князь и Царь в Москве, – отвечивал Басманов, – а ваш Димитрий разбойник сядет на кол вместе с вами». Отрепьев посылал и Российских изменников уговаривать Басманова, но бесполезно; хотел взять крепость смелым приступом и был отражен; хотел огнем разрушить ее стены, но не успел и в том; лишился многих людей, и видел бедствие пред собою: стан его уныл; Басманов давал время войску Борису ополчиться и пример неробости иным градоначальникам.

Но добрые вести утешили Самозванца. В крепком Путивле начальствовали знатный Окольничий Михайло Салтыков и Князь Василий Рубец-Мосальский: сей последний, как воин не без достоинства, как гражданин без чести и правил с Дьяком Сутуповым объявил себя за мнимого Царевича; сам возмущил граждан и ратников; сам связал Салтыкова и (18 Ноября), предав сие важное место расстриге, сделался с того времени любимцем его и советником. Не менее важный Рыльск, волость Комарницкая, или Севская, Борисов, Белгород, Волуйки, Оскол, Воронеж, Кромы, Ливны, Елец (где находился и ревностно действовал тогда Монах Леонид под именем Григория Отрепьева) также поддались Самозванцу. Вся южная Россия кипела бунтом; везде вязали чиновников, едва ли искренно верных Борису, и представляли Лжедмитрию, который немедленно освобождал их и с милостию принимал к себе в службу. Рать его умножалась новыми толпами изменников. Перехватив казну, тайно везенную Московскими купцами в медовых бочках к начальникам Северских городов, он послал знатную часть ее в Литву к Князю Вишневецкому и Пану Рожинскому, чтобы набирать там новые дружины

сподвижников; а сам еще стоял под Новым городом, стрелял из больших пушек, разрушал стены. Басманов не слабел духом и мужествовал в счастливых вылазках; но видя разрушение крепости и зная, что войско Борисово идет спасти ее, он хитро заключил перемирие с Самозванцем, будто бы в ожидании вестей из Москвы, и во всяком случае обязываясь сдаться ему чрез две недели. Уже Самозванец считал Новгород своим и Басманова пленником.

Сии быстрые успехи оболыщения поразили Годунова и всю Россию. Царь увидел, вероятно, свою ошибку – и сделал другую; увидел, что ему надлежало бы не обманывать людей знаками лицемерного презрения к расстриге, но готовым, сильным войском отразить его от нашей границы и не впускать в Северскую землю, где еще жил старый дух Литовский и где скопище злодеев, беглецов, слуг опальных, естественно ожидало мятежа как счастья; где народ и самые люди воинские, удивленные беспрепятственным входом Самозванца в Россию, могли, веря внушению его лазутчиков, думать, что Годунов действительно не смеет противиться истинному Иоаннову сыну. Новое доказательство, сколь ум обманчив в раздоре с совестью, и как хитрость, чуждая добродетели, запутывается в сетях собственных! Еще Борис мог бы исправить сию ошибку: сесть на бранного коня и самолично вести Россиян против злодея. Присутствие Венценосца, его великодушная смелость и доверенность без сомнения имели бы действие. Не рожденный Героем, Годунов однако ж с юных лет знал войну; умел силою души своей оживлять доблесть в сердцах и спасти Москву от Хана, будучи только Правителем. За него были святость венца и присяги, навык повиновения, воспоминание многих государственных благодеяний – и Россия на поле чести не предала бы Царя расстриге. Но смятенный ужасом, Борис не дерзал идти навстречу к Дмитриевой тени: подозревал Бояр и вручил им судьбу свою, назвав главным Воеводою Мстиславского, добросовестного, лично мужественного, но более знатного, нежели искусного предводителя; велел строго людям ратным, всем без исключения, спешить в Брянск, а сам как бы укрывался в столице!

Одним словом, суд Божий гремел над державным преступником. Никто из Россиян до 1604 года не сомневался в убиении Дмитрия, который возрастал на глазах своего Углича и коего видел весь Углич мертвого, в течение пяти дней орошав его тело слезами: следственно Россияне не могли благоразумно верить воскресению Царевича; но они – *не любили Бориса!* Сие несчастное расположение готовило их быть жертвою обмана. Сам Борис ослабил свидетельство истины, казнив важнейших очевидцев Дмитриевой смерти и явно ложными показаниями затмив ее страшные обстоятельства. Еще многие знали верно сию истину в Угличе, в Пелыме, но там жила в сердцах ненависть к тирану. Всех громогласнее, как пишут, свидетельствовал в столице Князь Василий Шуйский, торжественно, на лобном месте, о несомнительной смерти Царевича, им виденного во гробе и в могиле. То же писал и Патриарх во все концы России, ссылаясь и на мать Дмитриеву, которая сама погребала сына. Но бессовестность Шуйского была еще в свежей памяти; знали и слепую преданность Иова к Годунову; слышали только имя Царицы-Иокини: никто не видался, никто не говорил с нею, снова заключенною в Пустыне Выксинской. Еще не имел примера в истории Самозванцев и не понимая столь дерзкого обмана; любя древнее племя Царей и с жадностью слушая тайные рассказы о мнимых добродетелях Лжедмитрия, Россияне тайно же передавали друг другу мысль, что Бог действительно каким-нибудь чудом, достойным Его правосудия, мог спасти Иоаннова сына для казни ненавистного хищника и тирана. По крайней мере сомневались и не изъявляли ревности стоять за Бориса. Расстрига с своими Ляхами уже господствовал в наших пределах, а воины отечества уклонялись от службы, шли неохотно в Брянск под знамена, и тем неохотнее, чем более слышали об успехах Лжедмитрия, думая, что сам Бог помогает ему. Так нелюбовь к Государю рождает нечувствительность и к государственной чести!

В сей опасности, уже явной, Борис прибегнул к двум средствам: к Церкви и к строгости. Он велел Иерархам петь вечную память Дмитрию в храмах, а расстригу с его клеветами, настоящими и будущими, клясть всенародно, на амвонах и торжищах, как злого еретика, умышляющего не только похитить Царство, но и ввести в нем Латинскую Веру: следственно Борис уже знал или угадывал обет, данный Лжедмитрием Иезуитам и Легату Папскому. Хотя народ, видев слабость и повторство Святителей в исследовании Дмитриева убиения, не мог иметь к ним беспредельной доверенности; но ужас анафемы должен был тронуть совесть людей набожных и вселить в них омерзение к человеку, отверженному церкви и преданному ею суду Божию. Второе средство также не осталось бесплодным. Издав указ, чтобы с каждых двухсот четвертей земли обработанной выходил ратник в поле с конем, доспехом и запасом – следственно убавив до половины число воинов, определенное Уставом Иоанновым, – Борис

требовал скорости; писал, что владельцы богатые живут в домах, не заботясь о гибели Царства и церкви; грозил жестокою казнию ленивым и беспечным, не упоминая о злонамеренных, и действительно велел наказывать ослушных без пощады: лишением имения, темницею и кнутом; велел, чтобы и все слуги Патриаршие, Святительские и монастырские, годные для ратного дела, спешили к войску под опасением тяжкого гнева Царского в случае медленности. «Бывали времена, – сказано в сем определении Государственного совета, – когда и самые Иноки, Священники, Диаконы вооружались для спасения отечества, не жалея своей крови; но мы не хотим того: оставляем их в храмах, да молятся о Государе и государстве». Сии меры, угрозы и наказания недель в шесть соединили до пятидесяти тысяч всадников в Брянске, вместо полумиллиона, в 1598 году ополченного призывным словом Царя, *коего любила Россия!*

Но Борис еще оказал тогда великодушие. Шведский Король, враг Сигизмундов, слышав о Самозванце и вероломстве Ляхов, предлагал Царю союз и войско вспомогательное. Царь отвечал, что Россия не требует вспоможения иноземцев; что она при Иоанне в одно время воевала с Султаном, Литвою, Швециею, Крымом, и не должна бояться мятежника презренного. Борис знал, что в случае верности Россиян горсть Шведов ему не нужна, а в случае неверности бесполезна, ибо не могла бы спасти его.

Грозный час опыта наступал: нельзя было медлить, ибо Самозванец ежедневно усиливался и распространял свои мирные завоевания. Бояре, Князья Федор Иванович Мстиславский, Андрей Телятевский, Дмитрий Шуйский, Василий Голицын, Михайло Салтыков, Окольничие Князь Михайло Кашин, Иван Иванович Годунов, Василий Морозов, выступили из Брянска, чтобы пресечь успехи измены и спасти Новгородскую крепость, которая одна противилась расстриге уже среди подвластной ему страны. Не только Годунов с мучительным волнением души следовал мыслями за Московскими знаменами, но и вся Россия сильно тревожилась в ожидании, чем Судьба решит столь важную прю между Борисом и ложным или неложным Димитрием: ибо не было общего удостоверения ни в войске, ни в Государстве. Мысль поднять руку на действительного сына Иоаннова или предаться дерзкому обманщику, клятому Церковию, равно ужасала сердца благородные. Многие и самые благороднейшие из Россиян, не любя Бориса, но гнушаясь изменою, хотели соблюсти данную ему присягу; другие, следуя единственно внушению страстей, только желали или не желали перемены Царя и не заботились об истине, о долге верноподданного; а многие не имели точного образа мыслей, готовясь думать, как велит случай. Если бы в сие время открылась проницанию наблюдателя и самая внутренность душ, то он, может быть, еще не решил бы для себя вопроса о вероятной удаче или неудаче Самозванцева дела: столь расположение умов было отчасти несогласно, отчасти неясно и нерешительно! Войско шло, повинувшись Царской власти; но колебалось сомнением, толками, взаимным недоверием.

Приближаясь к Трубчевску, где уже славилось имя Димитриево, Воеводы Борисовы писали к Сендомирскому, чтобы он немедленно вышел из России, мирной с Литвою, оставив злодея расстригу на казнь, им заслуженную. Мнишек не отвечал в надежде, что войско Борисово не обнажит меча: так думал Самозванец; так говорили ему изменники, сносясь с своими единомышленниками в полках Московских. 18 декабря, на берегу Десны, верстах в шести от стана Лжедимитриево, была перестрелка между отрядами того и другого войска; а на третий день легкая сшибка. Ни с которой стороны не изъявляли пылкой ревности: Самозванец ждал, кажется, чтобы рать Борисова, следуя примеру городов, связала и выдала ему своих начальников; а Мстиславский, чтобы неприятель ушел без битвы как слабейший, едва ли имея и 12000 воинов. Но не видали ни измены, ни бегства; перешло к Лжедимитрию только три человека из детей Боярских. Оставив Новгород и свой укрепленный стан, он выстроился на равнине, весьма неблагоприятной для войска малочисленного; оказывал спокойствие и бодрость; говорил речь к сподвижникам, стараясь воспламенить их мужество; молился велегласно, воздев руки на небо, и дерзнул, как уверяют, громко произнести следующие слова: «Всевышний! Ты зришь глубину моего сердца. Если обнажаю меч несправедно и незаконно, то сокруши меня Небесным громом»... (увидим 17 Маия 1606 года!)... «Когда же я прав и чист душою, дай силу неодолимую руке моей в битве! А Ты, Мать Божия, буди покровом нашего воинства!» 21 Декабря началось дело, сперва не жаркое; но вдруг конница Польская с воплем устремила на правое крыло Россиян, где предводительствовали Князья Дмитрий Шуйский и Михайло Кашин: оно дрогнуло и в бегстве опрокинуло средину войска, где стоял Мстиславский: изумленный такою робостию и таким беспорядком, он удерживал мечом своих и неприятелей; бился в свалке; облился кровию и с пятнадцатью ранами упал на землю: дружина стрельцов едва спасла его от плена. Час был решительный: если бы Лжедимитрий общим нападением подкрепил удар смелых Ляхов, то вся

рать Московская, как пишут очевидцы, представила бы зрелище срамного бегства; но он дал ей время опомниться: 700 Немецких всадников, верных Борису, удержали стремление неприятельских, и левое крыло наше уцелело. Тогда же Басманов вышел из крепости, чтобы действовать в тылу у Самозванца, который, слыша выстрелы позади себя и видя свой укрепленный стан в пламени, прекратил битву. Обе стороны вдруг отступили, Лжедимитрий хвалясь победою и четырьмя тысячами убитых неприятелей, а Борисовы Воеводы от стыда безмолвствуя, хотя и взяв несколько пленников. Чтобы менее стыдиться, Россияне выдумали басню: уверяли, что Ляхи испугали их коней, нарядясь в медвежьи шубы навыворот; иноземцы же, свидетели сего малодушного бегства, пишут, что Россияне не имели, казалось, ни мечей, ни рук, имея единственно ноги!

Однако ж мнимый победитель не веселился. Сия битва странная доказала не то, чего хотелось Самозванцу: Россияне сражались с ним худо, без усердия, но сражались; бежали, но от него, а не к нему. Он знал, что без их общего предательства ни Ляхи, ни Козаки не свергнут Бориса, и страшился быть между двумя огнями, двумя верными Воеводами, Мстиславским и Басмановым, который, видя отступление первого, снова заключился в крепости, готовый умереть в ее развалинах. На другой день присоединилось к Лжедимитрию 4000 Запорожцев, и войско Борисово удалилось к Стародубу Северскому, но для того, чтобы ожидать там других, свежих полков из Брянска, и могло чрез несколько дней возвратиться к Новугороду, обороняемому столь усиленно. Ревность наемников и союзников ослабела: Ляхи надеялись вести своего Царя в Москву без кровопролития; увидели, что надобно ратоборствовать; не любили ни зимних походов, ни зимних осад – и как легкомысленно начали, так легкомысленно и кончили: объявили, что идут назад, будто бы исполняя указ Сигизмундов не воевать с Россиею в случае, если она будет стоять за Царя Годунова. Тщетно убеждал их Лжедимитрий не терять надежды: осталось не более четырехсот удалцов Польских; все другие бежали восвояси, а с ними и горестный Мнишек. Думая, что все погибло, и княжество Смоленское для него и Царство для Марины, сей ветреный старец еще дружественно простился с женихом ее и смело обещал ему возвратиться с сильнейшею ратию. Но Самозванец, едва ли уже веря нареченному тестю, еще верил счастью: с обрядами священными предав на поле сражения тела убитых, своих и неприятелей, и сняв осаду Новогорода, расположился станом в Комарницкой волости, занял Севский острог, спешил вооружать, кого мог: граждан и земледельцев. Рать Борисова не дала ему времени.

[1605 г.] Смятение Воевод Московских было столь велико, что они даже медлили известить Царя о битве: узнав от других все ее печальные обстоятельства, Борис (1 Генваря) послал Князя Василия Шуйского к войску, быть вторым предводителем оного, а чашника Вельяминова к раненому Мстиславскому, *ударить* ему *челом* за кровь, пролиянную им из усердия к святому отечеству, и сказать именем государя: «Когда ты, совершив знаменитую службу, увидишь образ Спасов, Богоматери, Чудотворцев Московских и наши Царские очи: тогда пожалуем тебя свыше твоего чаяния. Ныне шлем к тебе искусного врача, да будешь здрав и снова на коне ратном». Всем иным Воеводам Царь велел объявить свое неудовольствие за их преступное молчание, но войско уверить в милости. Чтобы блестящею наградою мужества оживить доблесть в сердцах Россиян, Борис, искренно довольный одним Басмановым, призвал его к себе, выслал знатнейших государственных сановников навстречу к Герою и собственные великолепные сани для торжественного въезда в Москву со всею Царскою пышностью; дал ему из своих рук тяжелое золотое блюдо, насыпанное червонцами, и 2000 рублей, множество серебряных сосудов из казны Кремлевской, доходное поместье и сан Боярина Думного. Столица и Россия обратили взор на сего нового Вельможу, ознаменованного вдруг и славою подвига и милостию Царскою; превозносили его необыкновенные достоинства – и любимец государев сделался любимцем народным, первым человеком своего времени в общем мнении. Но столь блестящая награда одного была укоризною для многих и естественно рождала негодование зависти между знатными. Если бы Царь осмелился презреть устав Боярского старейшинства и дать главное Воеводство Басманову, то, может быть, спас бы свой Дом от гибели и Россию от бедствий: чего судьба не хотела! Призвав Басманова в Москву, вероятно, с намерением пользоваться его советами в Думе, Царь отнял лучшего Воеводу у рати и сделал, кажется, новую ошибку, избрав Шуйского в начальники. Сей Князь, подобно Мстиславскому, мог не робеть смерти в битвах, но не имел ни ума, ни души вождя истинного, решительного и смелого; уверенный в самозванстве бродяги, не думал предать ему отечества, но, угождая Борису как Царедворец льстивый, помнил свои опалы: видел, может быть, не без тайного удовольствия муку его тиранского сердца, и желая спасти честь России, зложелательствовал Царю.

Шуйский, провождаемый множеством чиновных Стольников и Стряпчих, нашел войско близ Стародуба в лесах, между засеками, где оно, усиленное новыми дружинами, как бы таилось от неприятеля, в бездействии, в унынии, с предводителем недужным; другая запасная рать под начальством Федора Шереметева собиралась близ Кром, так что Борис имел в поле не менее осьмидесяти тысяч воинов. Мстиславский, еще изнемогая от ран, и Шуйский немедленно двинулись к Севску, где Лжедимитрий не хотел ждать их: смелый отчаянием, вышел из города и встретился с ними в Добрыничах. Силы были несоразмерны: у него 15 000, конных и пеших; у Воевод Борисовых 60 или 70 тысяч. Узнав, что полки наши теснятся в деревне, он хотел ночью зажечь ее и врасплох нагрянуть на сонных: тамошние жители взялись подвести его к селению незаметно; но стражи увидели сие движение: сделалась тревога, и неприятель удалился. Ждали рассвета (21 Генваря), Самозванец молился, говорил речь к своим, как и в день Новгородской битвы; разделил войско на три части: для первого удара взял себе 400 Ляхов и 2000 Россиян всадников, которые все отличались белою одеждою сверх лат, чтобы знать друг друга в сече: за ними должны были идти 8000 Козаков, также всадников, и 4000 пеших воинов с пушками. Утром началась сильная пальба. Россияне, столь многочисленные, не шли вперед, с обеих сторон примыкая к селению, где стояла их пехота. Оглядев устройство Московских Воевод, Лжедимитрий сел на борзого карего аргамака, держа в руке обнаженный меч, и повел свою конницу долиною, чтобы стремительным нападением разрезать войско Борисово между селением и правым крылом. Мстиславский, слабый и томный, был на коне: угадал мысль неприятеля и двинул сие крыло, с иноземною дружиною, к нему навстречу. Тут расстрига, как истинный витязь, оказал смелость необыкновенную: сильным ударом смял Россиян и погнал их; сломил и дружину иноземную, несмотря на ее мужественное блестящее сопротивление, и кинулся на пехоту Московскую, которая стояла пред деревнею с огнестрельным снарядом – и не трогалась, как бы в оцепенении; ждала и вдруг залпом из сорока пушек, из десяти или двенадцати тысяч ружей, поразила неприятеля: множество всадников и коней пало; кто уцелел, бежал назад в беспамятстве страха – и сам Лжедимитрий. Уже Козаки его неслись было во всю прыть довершить легкую победу своего Героя; но видя, что она не их, обратили тыл, сперва Запорожцы, а после и Донцы; и пехота. 5000 Россиян и Немцы с кликом: *Hilf Gott (помоги Бог)*, гнали, разили бегущих на пространстве осьми верст, убили тысяч шесть, взяли немало и пленников, 15 знамен, 13 пушек; наконец истребили бы всех до единого, если бы Воеводы, как пишут, не велели им остановиться, думая, вероятно, что все кончено и что сам Лжедимитрий убит. С сею счастливою вестью прискакал в Москву сановник Шеин и нашел Царя молящегося в Лавре Св. Сергия...

Борис затрепетал от радости; велел петь благодарственные молебны, звонить в колокола и представить народу трофеи: знамена, трубы и бубны Самозванцев; дал гонцу сан Окольничего, послал с любимым Стольником, Князем Мезецким, золотые медали Воеводам, а войску 80 000 рублей и писал к первым, что ждет от них вестей о конце мятежа, будучи готов отдать верным слугам и последнюю свою рубашку; в особенности благодарил усердных иноземцев и двух их предводителей, Вальтера Розена, Ливонского Дворянина, и Француза Якова Маржерета; наконец изъявлял живейшее удовольствие, что победа стоила нам недорого: ибо мы лишились в битве только пятисот Россиян и двадцати пяти Немцев.

Но Самозванец был жив: победители, безвременно веселясь и торжествуя, упустили его: он на раненом коне ускакал в Севск и в ту же ночь бежал далее, в город Рыльск, с немногими Ляхами, с Князем Татевым и с другими изменниками. В следующий день явились к нему рассеянные Запорожцы: Самозванец не впустил их в город как малодушных трусов или предателей, так что они с досадою и стыдом ушли восвояси. Не видя для себя безопасности и в Рыльске, Лжедимитрий искал ее в Путивле, лучше укрепленном и ближайшем к границе; а Воеводы Борисовы все еще стояли в Добрыничах, занимаясь казнями: вешали пленников (кроме Литовских, пана Тишкевича и других, посланных в Москву); мучили, расстреливали земледельцев, жителей Комарницкой волости, за их измену, безжалостно и безрассудно, усиливая тем остервенение мятежников, ненависть к Царю и доброе расположение к обманщику, который миловал и самых усердных слуг своего неприятеля. Сия жестокость, вместе с оплошностью Воевод, спасли злодея. Уже лишенный всей надежды, разбитый наголову, почти истребленный, с горстиею беглецов унылых, он хотел тайно уйти из Путивля в Литву: изменники отчаянные удержали его, сказав: «мы всем тебе жертвовали, а ты думаешь только о жизни постыдной, и предаешь нас мести Годунова; но еще можем спастись, выдав тебя живого Борису!» Они предложили ему все, что имели: жизнь и достояние; ободрили его; ручались за множество своих единомышленников и в полках Борисовых и в государстве. Не менее ревности оказали и Козаки

донские: их снова пришло к Самозванцу 4000 в Путивль; другие засели в городах и клялись оборонять их до последнего издыхания. Лжедмитрий волею и неволею остался; послал Князя Татеева к Сигизмунду требовать немедленного вспоможения; укреплял Путивль и, следуя совету изменников, издал новый манифест, рассказывая в нем свою вымышленную историю о Димитриевом спасении, свидетельствуясь именем людей умерших, особенно даром Князя Ивана Мстиславского, крестом драгоценным, и прибавляя, что он (Димитрий) тайно воспитывался в Белоруссии, а после тайно же был с канцлером Сапегою в Москве, где видел хищника Годунова сидящего на престоле Иоанновом. Сей второй манифест, удовлетворяя любопытству баснями, дотоле неизвестными, умножил число друзей Самозванца, хотя и разбитого. Говорили, что Россияне шли на него только принужденно, с неизъяснимою боязнию, внушаемою чем-то сверхъестественным, без сомнения Небом; что они победили случайно, и не устояли бы без слепого остервенения Немцев; что Провидение очевидно хотело спасти сего витязя и в самой несчастной битве; что он и в самой крайности не оставлен Богом, не оставлен верными слугами, которые, признав в нем истинного Димитрия, еще готовы жертвовать ему собою, женами, детьми, и конечно не могли бы иметь столь великого усердия к обманщику. Такие разглашения сильно действовали на легковверных, и многие люди, особенно из Комарницкой волости, где свирепствовала месть Борисова, стекались в Путивль, требуя оружия и чести умереть за Димитрия.

Между тем Воеводы Царские – сведав, что Самозванец не истреблен, – тронулись с места, приступили к Рыльску и, не обещая никому помилования, хотели, чтобы город сдался без условия. Там начальствовали злые изменники, Князь Григорий Долгорукий-Роща и Яков Змеев: видя пред собою виселицу, они велели сказать Мстиславскому: «служим Царю Димитрию» – и залпом из всех пушек доказали свою непреклонность. Воеводы стояли две недели под городом, хвалились не вовремя человеколюбием, жалели крови и решились дать отдохновение войску, действительно утружденному зимним походом; отступили в Комарницкую волость и донесли Царю, что будут ждать там весны в покойных станах. Но Борис, после кратковременной радости встревоженный известиями о спасении Лжедмитрия и новых прельщениях измены, досадуя на Мстиславского и всех его сподвижников, послал к ним в острог Радогостский Окольныйчег Петра Шереметева и думного Дьяка Власьева с дружиною Московских Дворян и с гневным словом: укорял их в нерадении, винил в упущении Самозванца из рук, в бесполезности победы и произвел всеобщее негодование в войске. Жаловались на жестокость и несправедливость Царя те, которые дотоле верно исполняли присягу, обагрились кровию в битвах, изнемогли от трудов ратных; еще более жаловались зломысленники, чтобы усиливать нелюбовь к Царю – и могли хвалиться успехом: ибо с сего времени, по известию Летописца, многие чиновники воинские видимо склонялись к Самозванцу, и желание *избыть Бориса* овладело сердцами. Измена возникала, но еще не созрела до мятежа; еще наблюдалось, хотя и неохотно, повиновение законное. Следуя строгому предписанию Государеву, Мстиславский и Шуйский снова вывели войско в поле, чтобы удивить Россию ничтожностью своих действий: оставили Лжедмитрия на свободе в Путивле, соединились с запасною ратию Федора Шереметева, уже две или три недели теснившего Кромь, и вместе с ним, в Великий Пост, начали осаждать сию крепость. Дело невероятное: тысяч восемьдесят или более ратников, имея множество стенобитных орудий, без успеха приступало к деревянному городку, ибо в нем, сверх жителей, сидело 600 мужественных Донцов, с храбрым Атаманом Корелою! Осаждающие ночью сожгли город, заняли пепелище и вал; но Козаки сильною, меткою стрельбою не допускали их до острога, и Боярин Михайло Глебович Салтыков, или малодушный или уже предатель, не сказав ни слова главным Воеводам, велел рати отступить в тот час, когда ей должно было устремиться на последнюю ограду изменников. Мстиславский и Шуйский не дерзнули наказать виновного, уже видя худое расположение в сподвижниках – и с сего дня, в надежде взять крепость голодом, только стреляли из пушек, не вредя посаженным, которые выкопали себе землянки и под защитой вала укрывались в них безопасно; иногда же выползали из своих нор и делали смелые вылазки. Между тем войско, стоя на снегу и в сырости, было жертвою повальной болезни: смертоносного мыта. Сие бедствие еще оказало достохвальную заботливость Царя, приславшего в стан лекарства и все нужное для спасения болящих, но умножило нерадивость осады, так что в белый день 100 возов хлеба и 500 Козаков Лжедмитриевых из Путивля могли пройти в обожженные Кромь.

Досадуя на замедление воинских действий, Борис хотел иным способом, как пишут современники, избавить себя и Россию от злодея. Три Инока, знавшие Отрепьева Дяконом, явились в Путивле (8 Марта) с грамотами от Государя и Патриарха к тамошним жителям: первый

обещал им великие милости, если они выдадут ему Самозванца, живого или мертвого; второй грозил страшным действием церковной анафемы. Сих Монахов схватили и привели к Лжедмитрию, который употребил хитрость: вместо его в Царском одеянии на троне сидел поляк Иваницкий и, представляя лицо Самозванца, спросил у них: «Знаете ли меня?» Монахи сказали: «Нет; знаем только, что ты во всяком случае не Димитрий». Их стали пытать: двое терпели и молчали; а третий спас себя объявлением, что у них есть яд, коим они, исполняя волю Борисову, хотели уморить лжецаревича, и что некоторые из ближних его людей в заговоре с ними. Яд действительно нашелся в сапоге у младшего из сих Иноков, и Самозванец, открыв двух изменников между своими любимцами, предал их в жертву народной мести. Уверяют, что он, хваляся явным небесным к нему благоволением, писал тогда к Патриарху и к самому Царю: укорял Иова злоупотреблением церковной власти в пользу хищника, а Бориса убеждал мирно оставить престол и свет, заключиться в монастыре и жить для спасения души, обещая ему свою Царскую милость. Такое письмо, если действительно писанное и доставленное Годунову, было конечно новым искушением для его твердости!

Душа сего властолюбца жила тогда ужасом и притворством. Обманутый победою в ее следствиях, Борис страдал, видя бездействие войска, нерадивость, неспособность или зломыслие Воевод и, боясь сменить их, чтобы не избрать худших; страдал, внимая молве народной, благоприятной для Самозванца, и не имея силы унять ее, ни снисходительными убеждениями, ни клятвою Святительскою, ни казнию: ибо в сие время уже резали языки нескромным. Доносы ежедневно умножались, и Годунов страшился жестокостию ускорить общую измену: еще был Самодержцем, но чувствовал оцепенение власти в руке своей и с престола, еще окруженного льстивыми рабами, видел открытую для себя бездну! Дума и Двор не изменялись наружно: в первой текли дела как обыкновенно; второй блистал пышностью, как и дотоле. Сердца были закрыты: одни таили страх, другие злорадство; а всех более должен был принуждать себя Годунов, чтобы унынием и расслаблением духа не предвестить своей гибели – и, может быть, только в глазах верной супруги обнаруживал сердце: казал ей кровавые, глубокие раны его, чтобы облегчать себя свободным стенанием. Он не имел утешения чистейшего: не мог предаться в волю Святого Провидения, служа только идолу властолюбия: хотел еще наслаждаться плодом Димитриева убиения и дерзнул бы, конечно, на злодеяние новое, чтобы не лишиться приобретенного злодейством. В таком ли расположении души утешается смертный Верою и надеждою Небесною? Храмы были отверсты: Годунов молился – богу неумолимому для тех, которые не знают ни добродетели, ни раскаяния! Но есть предел мукам – в бренности нашего естества земного.

Борису исполнилось 53 года от рождения: в самых цветущих летах мужества он имел недуги, особенно жестокую подагру, и легко мог, уже стареясь, истощить свои телесные силы душевным страданием. Борис 13 Апреля, в час утра, судил и рядил с Вельможами в Думе, принимал знатных иноземцев, обедал с ними в золотой палате и, едва встав из-за стола, почувствовал дурноту: кровь хлынула у него из носу, ушей и рта; лилась рекою: врачи, столь им любимые, не могли остановить ее. Он терял память, но успел благословить сына на Государство Российское, воспрять Ангельский Образ с именем Боголепа и чрез два часа испустил дух, в той же храме, где пировал с Боярами и с иноземцами...

К сожалению, потомство не знает ничего более о сей кончине, разительной для сердца. Кто не хотел бы видеть и слышать Годунова в последние минуты *такой* жизни – читать в его взорах и в душе, смятенной незапным наступлением вечности? Пред ним были трон, венец и могила: супруга, дети, ближние, уже обреченные жертвы Судьбы; рабы неблагодарные, уже с готовою изменою в сердце; пред ним и Святое Знание Христианства: образ Того, Кто не отвергает, может быть, и позднего раскаяния!.. Молчание современников, подобно непроницаемой завесе, сокрыло от нас зрелище столь важное, столь нравоучительное, позволяя действовать одному воображению.

Уверяют, что Годунов был самоубийцею, в отчаянии, лишив себя жизни ядом; но обстоятельства и род его смерти подтверждают ли истину сего известия? И сей нежный отец семейства, сей человек сильный духом, мог ли, спасаясь ядом от бедствия, малодушно оставить жену и детей на гибель, почти несомнительную? И торжество Самозванца было ли верно, когда войско еще не изменяло Царю делом; еще стояло, хотя и без усердия, под его знаменами? Только смерть Борисова решила успех обмана; только изменники, явные и тайные, могли желать, *могли ускорить* ее – но всего вероятнее, что удар, а не яд прекратил бурные дни Борисовы, к истинной скорби отечества: ибо сия безвременная кончина была небесною казнию для России еще более,

нежели для Годунова: он умер по крайней мере на троне, не в узах пред беглым Дияконом, как бы еще в воздаяние за государственные его благодеяния; Россия же, лишенная в нем Царя умного, попечительного, сделалась добычею злодейства на многие лета.

Но имя Годунова, одного из разумнейших властителей в мире, в течение столетий было и будет произносимо с омерзением, во славу нравственного неуклонного правосудия. Потомство видит лобное место обагренное кровию невинных, Св. Димитрия издыхающего под ножом убийц, Героя Псковского в петле, столь многих Вельмож в мрачных темницах и келиях; видит гнусную мзду, рукою Венценосца предлагаемую клеветникам-доносителям; видит систему коварства, обманов, лицемерия пред людьми и Богом... везде личину добродетели, и где добродетель? В правде ли судов Борисовых, в щедрости, в любви к гражданскому образованию, в ревности к величию России, в политике мирной и здоровой? Но сей яркий для ума блеск хладен для сердца, удостоверенного, что Борис не усомнился бы ни в каком случае действовать вопреки своим мудрым государственным правилам, если бы властолюбие потребовало от него такой перемены. Он *не был*, но *бывал* тираном; не безумствовал, но злодействовал подобно Иоанну, устраняя совместников или казня недоброжелателей. Если Годунов на время благоустроил Державу, на время возвысил ее во мнении Европы, то не он ли и ввергнул Россию в бездну злополучия, почти неслыханного – предал в добычу Ляхам и бродягам, вызвал на феатр сонм мстителей, и самозванцев истреблением древнего племени Царского? Не он ли, наконец, более всех содействовал уничтожению престола, воссев на нем святоубийцею?

Глава III. Царствование Феодора Борисовича Годунова. Г. 1605

Присяга Феодору. Достоинства юного Царя. Избрание Басманова в Военачальники. Присяга войска. Измена Басманова. Самозванец усиливается. Измена Голицыных и Салтыкова. Измена войска. Поход к Москве. Оцепенение умов в столице. Измена Москвитян. Сведение Феодора с престола. Присяга Лжедимитрию. Заточение Патриарха и Годуновых. Царевубийство.

Еще Россияне погребли Бориса с честью во храме Св. Михаила, между памятниками своих Венценосцев Варяжского племени; еще Духовенство льстило ему и в могиле: Святители в окружных грамотах к монастырям писали о *беспорочной и праведной душе его, мирно отшедшей к Богу!* Еще все, от Патриарха и Синклита до мещан и земледельцев, с видом усердия присягнули «Царице Марии и детям ее, Царю Феодору и Ксении, обязываясь страшными клятвами не изменять им, не умышлять на их жизнь и не хотеть на Государство Московское ни бывшего Великого Князя Тверского, слепца Симеона, ни злодея, именующего себя Димитрием; не избегать Царской службы и не бояться в ней ни трудов, ни смерти». Достигнув венца злодейством, Годунов был однако ж Царем законным: сын естественно наследовал права его, утвержденные *двукратною* присягою, и как бы давал им новую силу прелестью своей невинной юности, красоты мужественной, души равно твердой и кроткой; он соединял в себе ум отца с добродетелию матери и шестнадцати лет удивлял вельмож даром слова и сведениями необыкновенными в тогдашнее время: первым счастливым плодом Европейского воспитания в России; рано узнал и науку правления, отроком заседал в Думе; узнал и сладость благодеяния, всегда употребляемый родителем в посредники между законом и милостию. Чего нельзя было ожидать Государству от такого Венценосца? Но тень Борисова с ужасными воспоминаниями омрачала престол Феодоров: ненависть к отцу препятствовала любви к сыну. Россияне ждали только бедствий от злого племени, в их глазах опального пред Богом, и страшась быть жертвою Небесной казни за Годунова, не утрастились подвергнуться сей казни за преступление собственное: за вероломство, осуждаемое уставом Божественным и человеческим.

Еще Феодор, столь юный, имел нужду в советниках: мать его блистала единственно скромными добродетелями своего пола. Немедленно велели трем знатнейшим Боярам, Князьям Мстиславскому, Василию и Дмитрию Шуйским, оставить войско и быть в Москву, чтобы Правительствовать в Синклите; возвратили свободу, честь и достояние славному Бельскому, чтобы также пользоваться его умом и сведениями в Думе. Но всего важнее было избрание главного Воеводы: искали уже не старейшего, а способнейшего, и выбрали – Басманова, ибо не могли сомневаться ни в его воинских дарованиях, ни в верности, доказанной делами

блестящими. Юный Феодор в присутствии матери сказал ему с умилением: «служи нам, как ты служил отцу моему» и сей честолюбец, пылая (так казалось) чувством усердия, клялся умереть за Царя и Царицу! Басманову дали в товарищи одного из знатнейших Бояр, Князя Михаила Катарева-Ростовского, доброго и слабодушного. Послали с ними и Митрополита Новгородского, Исидора, чтобы войско в его присутствии целовало крест на имя Феодора. Несколько дней прошло в тишине для столицы. Двор и народ торжественно молились о душе Царя усопшего; гораздо искренне молились истинные друзья отечества о спасении Государства, предвидя бурю. С нетерпением ждали вестей из Кромского стана и первые донесения новых Воевод казались еще благоприятными.

Невидимо держа в руке судьбу отечества, Басманов 17 Апреля прибыл в стан и не нашел там уже ни Мстиславского, ни Шуйских; созвал всех, чиновников и рядовых, под знамена; известил их о воцарении Феодора и прочитал им грамоты его, весьма милостивые: юный Монарх обещал верному, усердному войску беспримерные награды после сорочин Борисовых. Сильное внутреннее движение обнаружилось на лицах: некоторые плакали о Царе усопшем, боясь за Россию; другие не таили злой радости. Но войско, подобно Москве, присягнуло Феодору. С сим известием Митрополит Исидор возвратился в столицу: сам Басманов доносил о том... а чрез несколько дней узнали его измену!

Удивив современников, дело Басманова удивляет и потомство. Сей человек имел душу, как увидим в роковой час его жизни; не верил Самозванцу; столь ревностно обличал его и столь мужественно разил его под стенами Новгорода Северского; был осыпан милостями Бориса, удостоен всей доверенности Феодора, избран в спасители Царя и Царства, с правом на их благодарность беспредельную, с надеждою оставить блестящее имя в летописях – и пал к ногам расстриги в виде гнусного предателя? Изясним ли такое непонятное действие худым расположением войска? Скажем ли, что Басманов, предвидя неминуемое торжество Самозванца, хотел ускорением измены спасти себя от унижения: хотел лучше отдать и войско и Царство обманщику, нежели быть выданным ему мятежниками? Но полки еще клялись именем Божиим в верности к Феодору: какою новою ревностю мог бы одушевить их Воевода доблестей, силою своего духа и закона обуздав зломысленников? Нет, верим сказанию Летописца, что не общая измена увлекла Басманова, но Басманов произвел общую измену войска. Сей честолюбец без правил чести, жадный к наслаждениям временщика, думал, вероятно, что гордые, завистливые родственники Феодоровы никогда не уступят ему ближайшего места к престолу, и что Самозванец безродный, им (Басмановым) возведенный на Царство, естественно будет привязан благодарностию и собственною пользою к главному виновнику своего счастья: судьба их делалась нераздельною и кто мог затмить Басманова достоинствами личными? Он знал других Бояр и себя: не знал только, что сильные духом падают как младенцы на пути беззакония! Басманов, вероятно, не дерзнул бы изменить Борису, который действовал на воображение и долговременным повелительством и блеском великого ума государственного: Феодор, слабый юностию лет и новостью державства, вселял смелость в предателя, вооруженного суемудрием для успокоения сердца: он мог думать, что изменою спасает Россию от ненавистной олигархии Годуновых, вручая скипетр хотя и Самозванцу, хотя и человеку низкого происхождения, но смелому, умному, другу знаменитого Венценосца Польского, и как бы избранному Судьбою для совершения достойной мести над родом святоубийцы; мог думать, что направит Лжедмитрия на путь добра и милости: обманет Россию, но загладит сей обманнее счастьем! Может быть, Басманов выехал из столицы еще в нерешимости, готовый действовать по обстоятельствам, для выгод своего честолюбия; может быть, он решился на измену единственно тогда, как увидел преклонность и Воевод и войска к обманщику. Все целовали крест Феодору (ибо никто не дерзнул быть первым мятежником), но большею частию с нехотением или с унынием. И те, которые дотоле не верили мнимому Димитрию, стали верить ему, будучи поражены незапною смертию Годунова и находя в ней новое доказательство, что не Самозванец, а действительно наследник Иоаннов требует своего законного достояния: ибо Всевышний, как они думали, несомненно благоволит о нем и ведет его, чрез могилу хищника, на Царство. Заметили также, что в присяге Феодоровой Самозванец не был именован Отрепьевым: слагатели ее, вероятно, без умысла, написали единственно: *клянемся не приставать к тому, кто именует себя Димитрием*. «Следственно, говорили многие, сказка о беглом Дьяконе Чудовском уже торжественно объявляется вымыслом. Кто же сей Димитрий, если не истинный?» Самые верные имели печальную мысль, что Феодору не удержаться на престоле. Такое расположение умов и сердец

обещало легкий успех измене: Басманов наблюдал, решился и, готовя Россию в дар обманщику, без сомнения удостоверился, посредством тайных сношений, в его благодарности.

Оставленный на свободе в Путивле, Лжедмитрий в течение трех месяцев укреплял свои города и вооружал людей; писал к Мнишку, что надеется на счастье более, нежели когда-нибудь; посылал дары к Хану, желая заключить с ним союз; ждал новых сподвижников из Галиции и был усилен дружиною всадников, приведенных к нему Михайлом Ратомским, который уверял его, что вслед за ним будет и Воевода Сендомирский с Королевскими полками. Но только смерть Борисова, только измена Воевод Царских могла исполнить дерзкую надежду расстриги: о первой сведал он в конце Апреля от беглеца Дворянина Бахметева; о второй в начале мая, вероятно от самого Басманова с того времени знал все, что происходило в стане Кромском.

Отдав честь мужа думного и славу знаменитого витязя за прелесть исключительного вельможства под скиптром бродяги, Басманов, уверенный в сей награде, уверил в ней и других низких самолюбцев: Боярина Князя Василия Васильевича Голицына, брата его, Князя Ивана, и Михайла Глебовича Салтыкова, которые также не имели ни совести, ни стыда и также хотели быть временщиками нового Царствования в воздаяние за гнусное злодейство. Но и злодеи ищут благовидных предлогов в своих ковах: обманывая друг друга, лицемеры находили в Лжедмитрии все признаки истинного, добродетели Царские и свойства души высокой; дивились чудесной судьбе его, ознаменованной Перстом Божиим; злословили Царство Годуновых, снисканное лукавством и беззаконием; оплакивали бедствие войны междоусобной и кровопролитной, необходимой для удержания короны на слабой главе Феодоровой, и в торжестве расстриги видели пользу, тишину, счастье России. Они условились в предательстве и спешили действовать. Еще несколько дней коварствовали втайне, умножая число надежных единомышленников (между коими отличались ревностью Боярские Дети городов Рязани, Тулы, Коширы, Алексина); успокаивали совесть людей малоумных, недальновидных, твердя и повторяя, что для Россиян одна присяга законная: данная ими Иоанну и детям его; что новейшие, взятые с них на имя Бориса и Феодора, суть плод обмана и недействительны, когда сын Иоаннов не умирал и здравствует в Путивле. Наконец, 7 Мая, заговор открылся: ударили тревогу; Басманов сел на коня и громогласно объявил Димитрия Царем Московским. Тысячи воскликнули, и Рязанцы первые: «Да здравствует же отец наш, государь Димитрий Иоаннович!» Другие еще безмолвствовали в изумлении. Тогда единственно проснулись Воеводы верные, обманутые коварством Басманова: Князя Михайло Катырев-Ростовский, Андрей Телятевский, Иван Иванович Годунов; но поздно! Видя малое число усердных к Феодору, они бежали в Москву, вместе с некоторыми чиновниками и воинами, Россиянами и чужеземцами: их гнали, били; настигли Ивана Годунова и связанного привели в стан, где войско в несчастном заблуждении торжествовало измену как светлый праздник отечества. Никто не смел изъявить сомнения, когда знаменитейший противник Самозванца, Герой Новгорода-Северского, уже признал в нем сына Иоаннова и радость, видеть снова на троне древнее племя Царское, заглушала упреки совести для обольщенных вероломцев!.. В сей памятный беззаконием день первенствовал Басманов дерзким злодейством, а другой изменник подлым лукавством: Князь Василий Голицын велел связать себя, желая на всякий случай уверить Россию, что предается обманщику невольно!

Нарушив клятву, войско с знаками живейшего усердия обязалось другою: изменив Феодору, быть верным мнимому Димитрию, и дало знать Атаману Кореле, что они служат уже одному Государю. Война прекратилась: Кромские защитники выползли из своих нор и братски обнимались с бывшими неприятелями на валу крепости; а Князь Иван Голицын спешил в Путивль, уже не к *Царевичу*, а к *Царю*, с *повинною* от имени войска и с узником Иваном Годуновым в залог верности. Лжедмитрий имел нужду в необыкновенной душевной силе, чтобы скрыть свою чрезмерную радость: важно, величаво сидел на троне, когда Голицын, провождаемый множеством сановников и Дворян, смиренно бил ему челом, и с видом благоговения говорил так:

«Сын Иоаннов! Войско вручает тебе державу России и ждет твоего милосердия. Обольщенные Борисом, мы долго противились нашему Царю законному: ныне же, узнав истину, все единодушно тебе присягнули. Иди на престол родительский; Царствуй счастливо и многие лета! Враги твои, клеветы Борисовы, в узах. Если Москва дерзнет быть строптивою, то смирим ее. Иди с нами в столицу, венчаться на Царство!..» В сей самый час, по известию Летописца, некоторые Дворяне Московские, смотря на Лжедмитрия, узнали в нем Дякона Отрепьева: содрогнулись, но уже не смели говорить и плакали тайно. Хитро представляя лицо Монарха великодушного, тронутого раскаянием виновных подданных, счастливый обманщик не благода-

рил, а только простил войско; велел ему идти к Орлу и сам выступил туда 19 Мая из Путивля с 600 Ляхов, с Донцами и своими Россиянами, старейшими других в измене; хотел видеть развалины Кром, прославленные мужеством их защитников, и там, оглядев пепелище, вал, землянки Козаков и необозримый, укрепленный стан, где в течение шести недель более осьмидесяти тысяч добрых воинов за семидесятью огромными пушками укрывалось в бездействии, изъявил удивление и хвалился чудом Небесной к нему милости. Далее на пути встретили расстригу Воеводы Михайло Салтыков, Князь Василий Голицын, Шереметев и глава предательства Басманов... сей последний с искреннею клятвою умереть за того, кому он жертвовал совестью и бедным отечеством! Единодушно принятый войском как Царь благодатный, Лжедмитрий распустил часть его на месяц для отдохновения, другую послал к Москве, а сам с двумя или тремя тысячами надежнейших сподвижников шел тихо вслед за нею. Везде народ и люди воинские встречали его с дарами; крепости, города сдавались: из самой отдаленной Астрахани привезли к нему в цепях Воеводу Михаила Сабурова, ближнего родственника Феодорова. Только в Орле горсть великодушных не хотела изменить закону: сих достойных Россиян, к сожалению, не известных для истории, ввергнули в темницу. Все другие ревностно преклоняли колена, славили Бога и Димитрия, как некогда Героя Донского или завоевателя Казани! На улицах, на дорогах теснились к его коню, чтобы лобызать ноги Самозванца! Все было в волнении, не ужаса, но радости. Исчез оплот стыда и страха для измены: она бурною рекою стремилась к Москве, неся с собою гибель Царю и народной чести. Там первыми вестниками злополучия были беглецы добросовестные, Воеводы Катырев-Ростовский и Телятевский с их дружинами. Феодор, еще пользуясь Царскою властью, изъявил им благодарность отечества торжественными наградами как бы спокойно ждал своего жребия на бедственном троне, видя вокруг себя уже не многих друзей искренних, отчаяние, недоумение, притворство, а в народе еще тишину, но грозную: готовность к великой перемене, тайно желаемой сердцами. Может быть, зломыслие и лукавство некоторых думных советников, благоприятствуя Самозванцу, усыпляли жертву накануне ее заклания: обманывали Феодора, его мать и ближних, уменьшая опасность или предлагая меры недействительные для спасения. Власть верховная дремала в палатах Кремлевских, когда Отрепьев шел к столице, когда имя Димитрия уже гремело на берегах Оки, когда на самой Красной площади толпился народ, с жадностию слушая вести о его успехах. Еще были Воеводы и воины верные: юный Стратиг державный в виде Ангела красоты и невинности, еще мог бы смело идти с ними на сонмы ослепленных клятвопреступников и на подлого расстригу: в деле законном есть сила особенная, непонятная и страшная для беззакония. Но если не коварство, то чудное оцепенение умов предавало Москву в мирную добычу злодейству. Звук оружия и движения ратные могли бы дать бодрость унылым и страх изменникам; но спокойствие, ложное, смертоносное, господствовало в столице и служило для козней вожделенным досугом. Деятельность Правительства оказывалась единственно в том, что ловили гонцов с грамотами от войска и Самозванца к Московским жителям: грамоты жгли, гонцов сажали в темницу; наконец не устерегли, и в один час все совершилось!

Лжедмитрий, угадывая, что его письма не доходят до Москвы, избрал двух сановников смелых, расторопных, Плещеева и Пушкина: дал им грамоту и велел ехать в Красное село, чтобы возмутить тамошних жителей, а чрез них и столицу. Сделалось, как он думал. Купцы и ремесленники Красносельские, плененные доверенностию мнимого Димитрия, присягнули ему с ревностию и торжественно ввели гонцов его (1 Июня) в Москву, открытую, безоружную: ибо воины, высланные Царем для усмирения сих мятежников, бежали назад, не обнажив меча; а Красносельцы, славя Димитрия, нашли множество единомышленников в столице, мещан и людей служивых; других силою увлекли за собою: некоторые пристали к ним только из любопытства. Сей шумный сонм стремился к лобному месту, где, по данному знаку, все умолкло, чтобы слушать грамоту Лжедмитриеву к Синклиту, к большим Дворянам, сановникам, людям приказным, воинским, торговым, *средним* и черным. «Вы клялися отцу моему, – писал расстрига, – не изменять его детям и потомству во веки веков, но взяли Годунова в Цари. Не упрекаю вас: вы думали, что Борис умертвил меня в летах младенческих; не знали его лукавства и не смели противиться человеку, который уже самовластвовал и в Царствование Феодора Иоанновича, – жаловал и казнил, кого хотел. Им обольщенные, вы не верили, что я, спасенный Богом, иду к вам с любовью и кротостию. Драгоценная кровь лилася... Но жалею о том без гнева: неведение и страх извиняют вас. Уже судьба решилась: города и войско мои. Дерзните ли на брань междоусобную в угодность Марии Годуновой и сыну ее? Им не жаль России: они не своим, а чужим владеют; упитали кровию землю Северскую и хотят разорения Москвы. Вспомните, что

было от Годунова вам, Бояре, Воеводы и все люди знаменитые: сколько опал и бесчестия несносного? А вы, Дворяне и Дети Боярские, чего не претерпели в тягостных службах и в ссылках? А вы, купцы и гости, сколько утеснений имели в торговле и какими неумеренными пошлинами отягощались? Мы же хотим вас жаловать беспримерно: Бояр и всех мужей сановитых честию и новыми отчинами, Дворян и людей приказных милостию, гостей и купцев льготою в непрерывное течение дней мирных и тихих. Дерзните ли быть непреклонными? Но от нашей Царской руки не избудете: иду и сяду на престоле отца моего; иду с сильным войском, своим и Литовским: ибо не только Россияне, но и чужеземцы охотно жертвуют мне жизнь. Самые неверные Ногаи хотели следовать за мною: я велел им остаться в степях, щадя Россию. Страшитесь гибели, временной и вечной; страшитесь ответа в день суда Божия: смиритесь, и немедленно пришлите Митрополитов, Архиепископов, мужей Думных, Больших Дворян и Дьяков, людей воинских и торговых, бить нам челом, как вашему Царю законному». Народ Московский слушал с благоговением и рассуждал так: «Войско и Бояре поддались без сомнения не ложному Димитрию. Он приближается к Москве: с кем стоять нам против его силы? с горстию ли беглецов Кромских? с нашими ли старцами, женами и младенцами? и за кого? за ненавистных Годуновых, похитителей державной власти? Для их спасения предадим ли Москву пламени и разорению? Но не спасем ни их, ни себя сопротивлением бесполезным. Следственно не о чем думать: должно прибегнуть к милосердию Димитрия!»

И в то время, когда сие незаконное Вече располагало Царством, главные советники престола трепетали в Кремле от ужаса. Патриарх молил Бояр действовать, а сам, в смятении духа, не мыслил явиться на лобном месте в ризах Святительских, с крестом в деснице, с благословением для верных, с клятвою для изменников: он только плакал! Знатнейшие Бояре Мстиславский и Василий Шуйский, Бельский и другие думные советники вышли из Кремля к гражданам, сказали им несколько слов в увещание и хотели схватить гонцов Лжедимитриевых: народ не дал их и завопил: «Время Годуновых миновалось! Мы были с ним во тьме крошечной: солнце восходит для России! Да здравствует Царь Димитрий! Клятва Борисовой памяти! Гибель племени Годуновых!» С сим воплем толпы ринулись в Кремль. Стража и телохранители исчезли вместе с подданными для Феодора: действовали одни буйные мятежники; вломились во дворец и дерзостною рукою коснулись того, кому недавно присягали: стащили юного Царя с престола, где он искал безопасности! Мать злосчастная упала к ногам неистовых и слезно молила не о Царстве, а только о жизни милого сына! Но мятежники еще страшились быть извергами: безвредно вывели Феодора, его мать и сестру из дворца в Кремлевский собственный дом Борисов и там приставили к ним стражу; всех родственников Царских, Годуновых, Сабуровых, Вельяминовых, заключили, имение их расхитили, дома сломали; не оставили ничего целого и в жилище иноземных медиков, любимцев Борисовых; хотели грабить и погребать казенные, но удержались, когда Бельский напомнил им, что все казенное уже есть Димитриево. Сей пестун меньшого Иоаннова сына явился тогда вдруг главным советником народа, как злейший враг Годуновых, и вместе с другими Боярами, малодушными или коварными, старался утишить мятеж именем Царя нового. Все дали присягу Димитрию, и (3 Июня) Вельможи, Князя Иван Михайлович Воротынский, Андрей Телятевский, Петр Шереметев, думный Дьяк Власьев и другие знатнейшие чиновники, Дворяне, граждане выехали из столицы с повинною к Самозванцу в Тулу. Уже вестник Плещеева и Пушкина предупредил их; уже расстрига знал все, что сделалось в Москве, и еще не был спокоен: послал туда Князя Василия Голицина, Мосальского и Дьяка Сутупова с тайным наказом, а Петра Басманова с воинскою дружиною, чтобы мерзостным злодейством увенчать торжество беззакония.

Сии достойные слуги Лжедимитриевы, принятые в Москве как полновластные исполнители Царской воли, начали дело свое с Патриарха. Слабодушным участием в кознях Борисовых лишив себя доверенности народной, не имев мужества умереть за истину и за Феодора, онемев от страха и даже, как уверяют, вместе с другими Святителями *бив челом* Самозванцу, надеялся ли Иов снискать в нем срамную милость? Но Лжедимитрий не верил его бесстыдству; не верил, чтобы он мог с видом благоговения возложить Царский венец на своего беглого Дякона и для того Послы Самозванцевы объявили народу Московскому, что раб Годуновых не должен остаться Первосвятителем. Свергнув Царя, народ во дни беззакония не усомнился свергнуть и Патриарха. Иов совершал Литургию в храме Успения: вдруг мятежники неистовые, вооруженные копьями и дреколием, вбегают в церковь; не слушают божественного пения; стремятся в олтарь, хватают и влекут Патриарха; рвут с него одежду Святительскую... Тут несчастный Иов изъясил и смирение и твердость: сняв с себя панагию и положив ее к образу Владимирской Богоматери,

сказал громогласно: «Здесь, пред сею святою иконою, я был удостоен сана Архиерейского и 19 лет хранил целость Веры: ныне вижу бедствие Церкви, торжество обмана и ереси. Матерь Божия! спаси православие!» Его одели в черную ризу, *таскали, позорили* в храме, на площади, и вывели в телеге из города, чтобы заключить в монастыре Старицком. Удалив важнейшего свидетеля истины, противного Самозванцу, решили судьбу Годуновых, Сабуровых и Вельяминовых: отправили их скованных в темницы городов дальних, Низовых и Сибирских (ненавистного Семена Годунова задавили в Переславле). Немедленно решили и судьбу державного семейства.

Юный Феодор, Мария и Ксения, сидя под стражею в том доме, откуда властолюбие Борисово извлекло их на феатр гибельного величия, угадывали свой жребий. Народ еще уважал в них святость Царского сана, может быть, и святость непорочности; может быть, в самом неистовстве бунта желал, чтобы мнимый Димитрий оказал великодушие и, взяв себе корону, оставил жизнь несчастным хотя в уединении какого-нибудь монастыря пустынного. Но великодушие в сем случае казалось расстриге несогласным с Политикою: чем более достоинств личных имел сверженный, законный Царь, тем более он мог страшить лжецаря, возводимого на престол злодейством некоторых и заблуждением многих; успех измены всегда готовит другую – и никакая пустыня не скрыла бы державного юношу от умиления Россиян. Так, вероятно, думал и Басманов; однако ж не хотел явно участвовать в деле ужасном: зло и добро имеют степени! Другие были смелее: Князя Голицына и Мосальский, чиновники Молчанов и Шерефединов, взяв с собою трех зверовидных стрельцов, 10 Июня пришли в дом Борисов: увидели Феодора и Ксению сидящих спокойно подле матери в ожидании воли Божией; вырвали нежных детей из объятий Царицы, развели их по особым комнатам и велели стрельцам действовать: они в ту же минуту удавили Царицу Марию; но юный Феодор, наделенный от природы силою необыкновенною, долго боролся с четырьмя убийцами, которые едва могли одолеть и задушить его. Ксения была несчастнее матери и брата: осталась жива: гнусный сластолюбец расстрига слышал об ее прелестях и велел Князю Мосальскому взять ее к себе в дом. Москве объявили, что Феодор и Мария сами лишили себя жизни ядом; но трупы их, дерзостно выставленные на позор, имели несомнительные признаки удушения. Народ толпился у бедных гробов, где лежали две Венценосные жертвы, супруга и сын властолюбца, который обожали погубил их, дав им престол на ужас и смерть лютейшую! «Святая кровь Димитриева, – говорят Летописцы, – требовала крови чистой, и невинные пали за виновного, да страшатся преступники и за своих ближних!» Многие смотрели только с любопытством, но многие и с умилением: жалели о Марии, которая, быв дочерью гнуснейшего из палачей Иоанновых и женою святоубийцы, жила единственно благодеяниями, и коей Борис не смел никогда открывать своих злых намерений; еще более жалели о Феодоре, который цвел добродетелию и надеждою: столько имел и столько обещал прекрасного для счастья России, если бы оно угодно было Провидению! Нарушили и спокойствие могил: выкопали тело Борисово, вложили в раку деревянную, перенесли из церкви Св. Михаила в девичий монастырь Св. Варсонофия на Сретенке и погребли там уединенно, вместе с телами Феодора и Марии!

Так совершилась казнь Божия над убийцею Димитрия истинного, и началась новая над Россиею под скиптром ложного!

Глава IV. Царствование Лжедимитрия. Г. 1605–1606

Первое оскорбление Бояр. Указы Лжедимитриевы. Посол Английский. Шествие к Москве. Доверенность расстриги к Немцам. Вступление в столицу. Пир. Милости. Филарет и юный Михаил. Царь Симеон и Годуновы. Гробы Нагих и Романовых пренесены в Москву. Благодеяния. Преобразование Думы. Любовь Самозванца к Генрику IV. Милосердие. Похвальное слово расстриге. Избрание нового Патриарха. Безмолвное свидетельство Царицы-Инокини. Венчание. Безрассудность Лжедимитрия. Дела гнусные. Пострижение Ксении. Шепот о расстриге. Обличения. Шуйский. Немцы телохранители. Пышность и веселья. Посольство в Литву за невестою. Неудовольствия. Слух, что Борис Годунов жив. Титул Цесаря. Обручение. Слухи о Самозванце в Польше. Лжедимитрий платит долги Мнишковы. Происшествия в Москве. Возвращение Шуйских. Самозванец Петр. Начало заговора. Посольство к Шаху. Собрание войска в Ельце. Письмо к Шведскому Королю. Сношения с Ханом. Толки о замыслах

Лжедмитрия. Казнь стрельцов и Дьяка Остова. Опала Царя Симеона и Татищева. Путешествие Воеводы Сендомирского с Мариною. Речь Мнишкова. Условия. Опала двух Святителей. Въезд Марины в столицу. Негодование Москвитян. Соблазны. Ссора с Послами. Дары. Обручение и свадьба. Новые причины к негодованию. Пир. Новая ссора с Литовскими Послами. Переговоры Государственные. Замышляемые потехи. Наглость Ляхов. Ночной совет в доме у Шуйского. Дерзкие речи на площади. Волнение народа. Спокойствие Лжедмитрия. Измена войска. Последняя ночь для Самозванца. Восстание Москвы. Гибель Басманова. Свидетельство Царицы-Инокини. Суд, допрос и казнь Лжедмитрия. Щадят Марину. Убийства. Бояре утишают мятеж. Глубокая тишина ночи. Козни властолюбия. Речь Шуйского в Думе. Избрание нового Царя. Развешение Самозванцева праха. Доказательства, что Лжедмитрий был действительно обманщик.

Нелепою дерзостью и неслыханным счастьем достигнув цели – каким-то обаянием прельстив умы и сердца вопреки здравому смыслу – сделав, Нему нет примера в истории: из беглого Монаха, Козака-разбойника и слуги Пана Литовского в три года став Царем великой Державы, Самозванец казался хладнокровным, спокойным, не удивленным среди блеска и величия, которые окружали его в сие время заблуждения, срама и бесстыдства. Тула имела вид шумной столицы, исполненной торжества и ликования: там собралось более ста тысяч людей воинских и чиновных, множество купцев и народа из всех ближних городов и селений. Вслед за Князьями Воротынским и Телятевским, избранными бить челом расстриге от имени Москвы, спешили туда и знатнейшие Думные мужи: Мстиславский, Шуйские и другие, чтобы достойно вкушать плод своего малодушия: презрение от того, кому они всем жертвовали, кроме сана и богатства, бесчестного в таких обстоятельствах. Вместе с ними были в Тульском дворце у Лжедмитрия Козаки, новые Донские выходцы (Смага Чертенский с товарищами): он дал руку им первым, и с ласкою; а Боярам уже после, и с гневом за их долговременную строптивость. Пишут, что подлые Козаки в присутствии Самозванца нагло ругали сих Вельмож униженных, особенно Князя Андрея Телятевского, долее других верного закону. Вельможи представили Лжедмитрию Печать Государственную, ключи от Казны Кремлевской, одежды, доспехи Царские и сонм Царедворцев для услуг его. Уже началось державство расстриги, который, по внушению ли собственного ума или советников, Немедленно занялся правительством, действуя свободно, решительно, как бы человек рожденный на престоле, и с навыком власти: 11 Июня [1605 г.], еще не имев вести о Феодоровом убиении, писал во все города и в самую дальнюю Сибирь, что он, укрытый *невидимою* силою от злодея Бориса и дозрев до мужества, правом наследия сел на Государстве Московском; что Духовенство, Синклит, все чины и народ целовали ему крест с усердием; что Воеводы городские должны Немедленно взять со всех людей такую же присягу на имя Царицы-матери, Инокини Марфы Феодоровны, и его, Царя Дмитрия, с обязательством служить им верно и *не давать отравы*, не сноситься ни с женою, ни с сыном Борисовым, *Федькою*, ни с кем из Годуновых; не мстить никому, не убивать никого без указа Государева, жить в тишине и мире, а на службе *прямить* и мужествовать неизменно. Уже Самозванец занимался и делами внешними: велел догнать Посла Английского, Смита, еще не выехавшего из России; взять у него Борисовы письма к Королю и сказать ему, что новый Царь, в знак особенного дружества к Англии, даст ее купцам новые выгоды в торговле и Немедленно после своего венчания отправит из Москвы знатного сановника в Лондон, следуя Европейскому обычаю и движению истинной любви к Иакову.

Узнав, что воля его исполнилась: Патриарх свержен, Феодор и Мария в могиле, их ближние изгнаны, Москва спокойна и с нетерпением ждет воскресшего Дмитрия, – Самозванец выступил из Тулы и 16 Июня расположился станом на лугах Москвы-реки, у села Коломенского, где все чиновники и знатнейшие граждане поднесли ему хлеб-соль, золотые кубки и соболей, а Бояре великолепейшую утварь Царскую и говорили с видом единодушного усердия: «Иди и владей достоянием твоих предков. Снятые храмы, Москва и чертоги Иоанновы ожидают тебя. Уже нет злодеев: земля поглотила их. Настало время мира, любви и веселия». Лжедмитрий отвечал, что забывает вины детей, и будет не грозным владыкою а ласковым отцем России. Тут же явились и Немцы с челобитною: быв до конца верны Борису, оказав мужество в двух битвах, не хотев участвовать и в измене Воевод под Кромами, они молили Самозванца не вменять им дела добросовестного в преступлении и писали: «мы честно исполнили долг присяги, и как служили Борису, так готовы служить и тебе, уже Царю законному». Лжедмитрий принял их начальников весьма милостиво и сказал: «будьте для меня то же, что вы были для Годунова: я

верю вам более, нежели своим Русским!» Он хотел видеть Немецкого чиновника, державшего знамя в Добрынской битве, и, положив ему руку на грудь, славил его неустрашимость: чего не могли слушать Россияне с удовольствием; но они должны были изъявлять радость!

20 Июня, в прекрасный летний день, Самозванец вступил в Москву, торжественно и пышно. Впереди Поляки, литаврщики, трубачи, дружина всадников с копьями, пищальники, колесницы, заложенные шестернями и верховые лошади Царские, богато украшенные; далее барабанщики и полки Россиян, Духовенство с крестами и Лжедмитрий на белом коне, в одежде великолепной, в блестящем ожерелье, ценою в 150 000 червонных: вокруг его 60 Бояр и Князей; за ними дружина Литовская, Немцы, Козаки и стрельцы. Звонили во все колокола Московские. Улицы были наполнены бесчисленным множеством людей; кровли домов и церквей, башни и стены также усыпаны зрителями. Видя Лжедмитрия, народ падал ниц с восклицанием: «Здравствуй отец наш, Государь и Великий Князь Димитрий Иоаннович, спасенный Богом для нашего благоденствия! Сияй и красуйся, о солнце России!» Лжедмитрий всех громко приветствовал и называл своими добрыми подданными, веля им встать и молиться за него Богу. Невзирая на то, он еще не верил Москвитянам: ближние чиновники его скакали из улицы в улицу и непрестанно доносили ему о всех движениях народных: все было тихо и радостно. Но вдруг, когда Лжедмитрий чрез Живой мост и ворота Москворецкие выехал на площадь, сделался страшный вихрь: всадники едва могли усидеть на конях; пыль взвилась столбом и заслепила им глаза, так что Царское шествие остановилось. Сей случай естественный поразил воинов и граждан; они крестились в ужасе, говоря друг другу: «Спаси нас, Господи, от беды! Это худое предзнаменование для России и Димитрия!» Тут же люди благочестивые были встревожены соблазном: когда расстрига, встреченный Святителями и всем Клиром Московским на лобном месте, сошел с коня, чтобы приложиться к образам, Литовские музыканты играли на трубах и били в бубны, заглушая пение молебна. Увидели и другую непристойность: вступив за Духовенством в Кремль и в Соборную церковь Успения, Лжедмитрий ввел туда и многих иноверцев, Ляхов, Венгров: чего никогда не бывало и что казалось народу осквернением храма. Так расстрига на самом первом шагу изумил столицу легкомысленным неуважением к святыне!.. Оттуда спешил он в церковь Архистратига Михаила, где с видом благоговения преклонился на гроб Иоаннов, лил слезы и сказал: «О родитель любезный! Ты оставил меня в сиротстве и гонении; но святыми твоими молитвами я цел и державствую!» Сие искусное лицедейство было не бесполезно: народ плакал и говорил: «то истинный Димитрий!» Наконец расстрига в чертогах Иоанновых сел на престол Государей Московских.

В сей час многие Вельможи вышли из дворца на Красную площадь к народу и с ними Богдан Бельский, который стал на лобное место, снял с груди свой образ Св. Николая, поцеловал его и клялся Московским гражданам, что новый Государь есть действительно сын Иоаннов, сохраненный и данный им Николаем Чудотворцем; убеждал Россиян любить того, кто возлюблен Богом, и служить ему верно. Народ отвечал единогласно: «Многие лета Государю нашему Димитрию! Да погибнут враги его!» Торжество казалось искренним, общим. Самозванец с Вельможами и Духовенством пировал во дворце, граждане на площадях и дома; пили и веселились до глубокой ночи. «Но плачь был недалеко от радости, – говорит Летописец, – и вино лилось в Москве пред кровию».

Объявили милости: Лжедмитрий возвратил свободу, чины и достояние не только Нагим, мнимым своим родственникам, но и всем опальным Борисова времени: страдальца Михайла Нагого пожаловал в сан *Великого* Конюшего, брата его и трех племянников, Ивана Никитича Романова, двух Шереметевых, двух Князей Голицыных, Долгорукого, Татеева, Куракина и Кашина в Бояре; многих в Окольничие, и между ими знаменитого Василья Щелкалова, удаленного от дел Борисом; Князя Василья Голицына назвал *Великим* Дворецким, Бельского *Великим* Оружничим, Князя Михайла Скопина-Шуйского *Великим* Мечником, Князя Лыкова-Оболенского *Великим* Крайчим, Пушкина *Великим* Сокольничим, Дьяка Сутупова *Великим Секретарем* и Печатником, а Власьева также *Секретарем Великим и Надворным Подскарбием*, или казначеем, – то есть, кроме новых чинов, первый ввел в России наименования иноязычные, заимствованные от Ляхов. Лжедмитрий вызвал и невольного, опального Инока Филарета из Сийской пустыни, чтобы дать ему сан Митрополита Ростовского: сей добродетельный муж, некогда главный из Вельмож и ближних Царских, имел наконец сладостное утешение видеть тех, о коих и в жизни отшельника тосковало его сердце: бывшую супругу свою и сына. С того времени Инокinya Марфа и юный Михаил, отданный ей на воспитание, жили в Епархии Филаретовой близ Костромы в монастыре Св. Ипатия, где все напоминало непрочную

знаменитость и разительное падение их личных злодеев: ибо сей монастырь в XIV веке был основан предком Годуновых Мурзою Четом и богато украшен ими. – Странное пугалище воображения Борисова, мнимый Царь и Великий Князь Иоаннова времени Симеон Бекбулатович, ослепленный, как уверяют, и сосланный Годуновым, также удостоился Лжедмитриева благоволения в память Иоанну: ему велели быть ко двору, оказали великую честь и дозволили снова именоваться Царем. Сняли опалу с родственников Борисовых и дали им места Воевод в Сибири и в других областях дальних. Не забыли и мертвых: тела Нагих и Романовых, усопших в бедствии, вынули из могил пустынных, перевезли в Москву и схоронили с честью там, где лежали их предки и ближние.

Угодив всей России милостями к невинным жертвам Борисова тиранства, Лжедмитрий старался угодить ей и благодеяниями общими: удвоил жалованье сановникам и войску; велел заплатить все долги казенные Иоаннова Царствования, отменил многие торговые и судные пошлины; строго запретил всякое мздоимство и наказал многих судей бессовестных; обнародовал, что в каждую Среду и Субботу будет сам принимать челобитные от жалобщиков на Красном крыльце. Он издал также достопамятный закон о крестьянах и холопах: указал всех беглых возвратить их отчинникам и помещикам, кроме тех, которые ушли во время голода, бывшего в Борисово Царствование, не имев нужного пропитания; объявил свободными слуг, лишенных воли насилием, без крепостей внесенных в Государственные книги. Чтобы оказать доверенность к подданным, Лжедмитрий отпустил своих иноземных телохранителей и всех Ляхов, дав каждому из них в награду за верную службу по сороку злотых, деньгами и мехами, но тем не удовлетворив их корыстолюбие: они хотели более, не выезжали из Москвы, жаловались и пировали!

Плененный обычаями той земли, где началась его жизнь пышная и где все казалось ему блестящим, превосходным в сравнении с Россиею, Лжедмитрий не удовольствовался введением новых чинов и наименований: он спешил, в духе сего подражания, изменить состав нашей древней Государственной Думы: указал заседать в ней, сверх Патриарха (что в важных случаях и дотоле бывало), четверем Митрополитам, семи Архиепископам и трем Епископам, надеясь, может быть, обольстить тем мирское честолюбие Духовенства, а более всего желая следовать уставу Королевства Польского; назвал всех мужей Думных *Сенаторами*, умножил число их до семидесяти, сам ежедневно там присутствовал, слушал и решал дела, как уверяют, с необыкновенною легкостью. Пишут, что он, имея дар красноречия, блистал им в совете, говорил много и складно, любил уподобления, часто ссылаясь на Историю, рассказывал, что сам видел в иных землях, то есть в Литве и в Польше; изъявлял особенное уважение к Королю Французскому, Генрику IV; хвалился, подобно Борису, милосердием, кротостию, великодушием и твердил людям ближним: «Я могу двумя способами удержаться на престоле: тиранством и милостию; хочу испытать милость и верно исполнить обет, данный мною Богу: не проливать крови». Так говорил убийца непорочного Феодора и благодетельной Марии!.. Расстригу славили: Московский Благовещенский протоиерей Терентий, сочинил ему похвальное слово, как Венценосцу доблестному, *носящему на языке милость*, а Патриарх Иерусалимский униженною грамотою известил его, что вся Палестина ликует о спасении Иоаннова сына, предвидя в Нем будущего своего избавителя, и что три лампы денно и нощно пылают над гробом Христовым во имя Царя Дмитрия.

Ближние люди Самозванца советовали ему, для утверждения своей власти, немедленно венчаться на Царство: ибо многие думали, что и злосчастный Феодор не столь легко сделался бы жертвою измены, если бы успел освятить себя в глазах народа саном помазанника. Сей обряд торжественный надлежало совершить Патриарху: не доверяя Российскому Духовенству, Лжедмитрий на место сверженного Иова выбрал чужеземца, Грека Игнатия, Архиепископа Кипрского, который, быв изгнан из отечества Турками, жил несколько времени в Риме, приехал к нам в царствование Феодора Иоанновича, угодил Борису, и с 1603 года правил Епархию Рязанскою. Он снискал милость Самозванца, встретив его еще в Туле; не имел ни чистой Веры, ни любви к России, ни стыда нравственного и казался ему надежнейшим орудием для всех замышляемых им соблазнов. Наспех поставили Игнатия в Патриархи и наспех готовились к Царскому венчанию; а Лжедмитрий готовил между тем иное торжественное явление, необходимое для полного удостоверения и Москвы и России, что венец Мономахов возлагается на главу Иоаннова сына.

Войско, Синклит, все чины Государственные признали обманщика Дмитрием, все, кроме матери, которой свидетельство было столь важно и естественно, что народ без сомнения ожидал

его с нетерпением. Уже Самозванец около месяца властвовал в Москве, а народ еще не видал Царицы-Инокини, хотя она жила только в пятистах верстах оттуда: ибо Лжедмитрий не мог быть уверен в ее согласии на обман, столь противный святому званию Инокини и материнскому сердцу. Тайные сношения требовали времени: с одной стороны, представили ей жизнь Царскую, а с другой, муки и смерть; в случае упрямства, страшного для обманщика, могли задушить несчастную – сказать, что она умерла от болезни или радости, и великолепными похоронами мнимой Государевой матери успокоить народ легковверный. Вдовствующая супруга Иоаннова, еще не старая летами, помнила удовольствия света, двора и пышности; 13 лет плакала в унижении, страдала за себя, за своих ближних – и не усомнилась в выборе. Тогда Лжедмитрий уже гласно послал к ней в Выксинскую Пустыню Великого Мечника Князя Михайла Васильевича Скопина-Шуйского и других людей знатных с убедительным челобитием нежного сына благословить его на Царство – и сам, 18 Июля, выехал встретить ее в селе Тайнинском. – Двор и народ были свидетелями любопытного зрелища, в коем лицемерное искусство имело вид искренности и природы. Близ дороги расставили богатый шатер, куда ввели Царицу и где Лжедмитрий говорил с нею наедине – не знали, о чем; но увидели следствие: мнимые сын и мать вышли из шатра, изъявляя радость и любовь; нежно обнимали друг друга и произвели в сердцах многих зрителей восторг умиления. Добродушный народ обливался слезами, видя их в глазах Царицы, которая могла плакать и нелицемерно, вспоминая об истинном Димитрии и чувствуя свой грех пред ним, пред совестью и Россиею! Лжедмитрий посадил Марфу в великолепную колесницу; а сам с открытою головою шел несколько верст пешком, окруженный всеми Боярами; наконец сел на коня, ускакал вперед и принял Царицу в Иоанновых палатах, где она жила до того времени, как изготовили ей прекрасные комнаты в Вознесенском девичьем монастыре с особенною Царскою услугою.

Там Самозванец, в лице почтительного и нежного сына, ежедневно виделся с нею; был доволен искусным ее притворством, но удалял от нее всех людей сомнительных, чтобы она не имела случая изменить ему в важной тайне, от нескромности или раскаяния.

21 Июля совершилось венчание с известными обрядами; но Россияне изумились, когда, после сего священного действия, выступил Иезуит Николай Черниковский, чтобы приветствовать нововенчанного Монарха непонятною для них речью на языке Латинском. Как обыкновенно, все знатнейшее Духовенство, Вельможи и чиновники пировали в сей день у Царя, сиюсь наперерыв оказывать ему усердие и радость – но уже многие лицемерно, ибо общее заблуждение не продолжилось!

Первым врагом Лжедмитрия был сам он, легкомысленный и вспыльчивый от природы, грубый от худого воспитания, – надменный, безрассудный и неосторожный от счастья. Удивляя Бояр острою и живостию ума в делах Государственных, державный прошлец часто забывался: оскорблял их своими насмешками, упрекал невежеством, дразнил хвалою иноземцев и твердил, что Россияне должны быть их учениками, ездить в чужие земли, видеть, наблюдать, образоваться и заслужить имя людей. Польша не сходила у него с языка. Он распустил своих иностранных телохранителей, но исключительно ласкал Поляков, только им давал всегда свободный к себе доступ, с ними обходился дружески и советовался как с ближними; взял даже в Тайные Царские Секретари двух Ляхов Бучинских. Российские Вельможи, изменив закону и чести, лишились права на уважение, но хотели его от того, кому они пожертвовали законом и честью: самолюбие не безмолвствует и в стыде и в молчании совести. Только один Россиянин от начала до конца пользовался доверенностью и дружбою Самозванца: всех виновнейший Басманов; но и сей несчастный ошибся: видел себя единственно любимцем, а не руководителем Лжедмитрия, который не для того искал престола, чтобы сидеть на Нем всегдашним учеником Басманова: иногда спрашивался, иногда слушал его, но чаще действовал вопреки наставнику, по собственному уму или безумию. Грубостию огорчая Бояр, Самозванец допускал их однако ж в разговорах с ним до вольности необыкновенной и несогласной с мыслями Россиян о высоте Царского сана, так что Бояре, им не уважаемые, и сами уважали его менее прежних Государей.

Самозванец скоро охладил к себе и любовь народную своим явным неблагоразумием. Снискав некоторые познания в школе и в обхождении с знатными Ляхами, он считал себя мудрецом, смеялся над мнимым суеверием набожных Россиян и, к великому их соблазну, не хотел креститься пред иконами; не велел также благословлять и кропить Святою водою Царской трапезы, садясь за обед не с молитвою, а с музыкою. Не менее соблазнялись Россияне и благоволением его к Иезуитам, коим он в священной ограде Кремлевской дал лучший дом и позволил служить Латинскую Обедню. Страстный к обычаям иноземным, ветреный Лжедмитрий

рий не думал следовать Русским: желал во всем уподобляться Ляху, в одежде и в причёске, в походке и в телодвижениях; ел телятину, которая считалась у нас заповедным, грешным яством; не мог терпеть бани и никогда не ложился спать после обеда (как издревле делали все Россияне от Венценосца до мещанина), но любил в сие время гулять: украдкою выходил из дворца, один или сам-друг; бегал из места в место, к художникам, золотарям, аптекарям; а Царедворцы, не зная, где Царь, везде искали его с беспокойством и спрашивали о нем на улицах: чему дивились Москвитяне, дотоле видав Государей только в пышности, окруженных на каждом шагу толпою знатных сановников. Все забавы и склонности Лжедмитриевы казались странными: он любил ездить верхом на диких бешеных жеребцах и собственною рукою, в присутствии двора и народа, бить медведей; сам испытывал новые пушки и стрелял из них в цель с редкою меткостью; сам учил воинов, строил, брал приступом земляные крепости, кидался в свалку и терпел, что иногда толкали его небережно, сшибали с ног, давили – то есть, хвалились искусством всадника, зверолова, пушкаря, бойца, забывая достоинство Монарха. Он не помнил сего достоинства и в действиях своего нрава вспыльчивого: за малейшую вину, ошибку, неловкость, выходил из себя и бивал, палкою, знатнейших воинских чиновников – а низость в Государе противнее самой жестокости для народа. Осуждали еще в Самозванце непомерную расточительность: он сыпал деньгами и награждал без ума; давал иноземным музыкантам жалованье, какого не имели и первые Государственные люди; любя роскошь и великолепие, непрестанно покупал, заказывал всякие драгоценные вещи и месяца в три издержал более семи миллионов рублей – а народ не любил расточительности в Государях, ибо страшится налогов. Описывая тогдашний блеск Московского двора, иноземцы с удивлением говорят о Лжедмитриевом престоле, вылитом из чистого золота, обвешенном кистями алмазными и жемчужными, утвержденном внизу на двух серебряных львах и покрытом крестообразно четырьмя богатыми щитами, над коими сиял золотой шар и прекрасный орел из того же металла. Хотя расстрига ездил всегда верхом, даже в церковь, но имел множество колесниц и саней, окованных серебром, обитых бархатом и соболями; на гордых азиатских его конях седла, узды, стремяна блистали золотом, изумрудами и яхонтами; возницы, конюхи Царские одевались как Вельможи. Не любя голых стен в палатах Кремлевских, находя их печальными и сломав деревянный дворец Борисов как памятник ненавистный, Самозванец построил для себя, ближе к Москве-реке, новый дворец, также деревянный, украсил стены шелковыми персидскими тканями, цветные изразцовые печи серебряными решетками, замки у дверей яркою позолотою, и в удивление Москвитянам пред сим любимым своим жилищем поставил изваянный образ адского стража, медного огромного Цербера, коего три челюсти от легкого прикосновения разверзались и бряцали: «чем Лжедмитрий, – как сказано в летописи, – предвещил себе жилище в вечности: ад и тьму кромешную!»

Действуя вопреки нашим обычаям и благоразумию, Лжедмитрий презирал и святейшие законы нравственности: не хотел обуздывать вожделений грубых и, пылая сластолюбием, явно нарушал уставы целомудрия и пристойности, как бы с намерением уподобиться тем мнимому своему родителю; бесчестил жен и девиц, двор, семейства и святые обители дерзостью разврата и не устыдился дела гнуснейшего из всех его преступлений: убив мать и брата Ксении, взял ее себе в наложницы. Красота сей несчастной Царевны могла увянуть от горести; но самое отчаяние жертвы, самое злодейство неистовое казалось прелестию для изверга, который сим одним мерзостным бесстыдством заслужил свою казнь, почти сопредельную с торжеством его... Чрез несколько месяцев Ксению постригли, назвали Ольгою и заключили в пустыне на Белеозере, близ монастыря Кириллова.

Но Самозванец под личиною Дмитрия, вероятно, мог бы еще долго безумствовать и злодействовать в венце Монохамовом, если бы сия, как бы волшебная личина не спала с него в глазах народа: столь велико было усердие Россиян к древнему племени державному! Заблуждение возвысило бродягу: истина долженствовала низвергнуть обманщика. Не один удаленный Иов знал беглеца Чудовского в Москве: надеялся ли расстрига казаться другим человеком, стараясь казаться полу-Ляхом и черную ризу Инока пременив на Царскую? или, ослепленный счастьем, уже не видал для себя опасности, имея в руках своих власть с грозою и считая Россиян стадом овец бессловесных? или дерзостью мыслил уменьшить сию опасность, поколебать удостоверение, сомкнуть уста робкой истине? Он не думал скрываться и смело смотрел в глаза всякому любопытному на улицах; исходил только в Святую Обитель Чудовскую, место неприятных для него знакомств и воспоминаний. Итак, не удивительно, что в самом начале нового Царствования, когда Москва еще гремела хвалою Дмитрия, уже многие люди шептали между собою о действительном сходстве его с Дяконом Григорием; хвала умолкала от безрассудности и худых

дел Царя, а шепот становился внятнее – и скоро взволновал столицу. Первым уличителем и первою жертвою был Инок, который сказал всенародно, что мнимый Димитрий известен ему с детских лет под именем Отрепьева, учился у него грамоте и жил с ним в одном монастыре: Инока тайно умертвили в темнице. Нашелся и другой, опаснейший свидетель истины – тот, кому судьба вручала месть праведную, но коего час еще не наступил: Князь Василий Шуйский. В смятении ужаса признав бродягу Царем, вместе с иными Боярами, он менее всех мог извиняться заблуждением, ибо собственными глазами видел Иоаннова сына во гробе. Терзаясь ли горестию и стыдом или имея уже дальновидные тайные замыслы властолюбия, Шуйский недолго безмолвствовал в столице: сказал ближним, друзьям, приятелям, что Россия у ног обманщика; внушал и народу, чрез своих поверенных, купца Федора Конева и других, что Годунов и Святитель Иов объявляли совершенную правду о Самозванце, еретике, орудии Ляхов и Папистов. Еще Лжедимитрий имел многих ревностных слуг: Басманов узнал и донес ему о сем кове, опасном знатностию виновника. Взяли Шуйского с братьями под стражу и велели судить, как дотоле еще никого не судили в России: Собором, избранным людям всех чинов и званий. Летописец уверяет, что Князь Василий в сем единственном случае жизни своей явил себя Героем: не отрицался: смело, великодушно говорил истину, к искреннему и лицемерному ужасу судей, которые хотели заглушить ее воплем, проклиная такие хулы на Венценосца. Шуйского пытали: он молчал; не назвал никого из соумышленников, и был один приговорен смертной казни: братьев его лишали только свободы. В глубокой тишине народ теснился вокруг лобного места, где стоял осужденный Боярин (как бывало в Иоанново время!) подле секиры и плахи, между дружинами воинов, стрельцов и Козаков; на стенах и башнях Кремлевских также блистало оружие для устрашения Москвитян, и Петр Басманов держа бумагу, читал народу от имени Царского: «Великий Боярин, Князь Василий Иванович Шуйский, изменил мне, законному Государю вашему, Димитрию Иоанновичу всея России; коварствовал, злословил, ссорил меня с вами, добрыми подданными: называл лжецарем; хотел свергнуть с престола. Для того осужден на казнь: да умрет за измену и вероломство!» Народ безмолвствовал в горести, издавна любя Шуйских, и пролил слезы, когда несчастный Князь Василий, уже обнажаемый палачом, громко воскликнул к зрителям: «Братья! Умираю за истину, за Веру Христианскую и за вас!» Уже голова осужденного лежала на плахе... Вдруг слышат крик: *стой!* и видят Царского чиновника, скачущего из Кремля к лобному месту, с указом в руке: объявляют помилование Шуйскому! Тут вся площадь закипела в неопisanном движении радости: славили Царя, как в первый день его торжественного вступления в Москву; радовались и верные приверженники Самозванца, думая, что такое милосердие дает ему новое право на любовь общую; негодовали только дальновиднейшие из них, и не ошиблись: мог ли забыть Шуйский пытки и плаху? Узнали, что не ветреный Лжедимитрий вздумал тронуть сердца сим неожиданным действием великодушия, но что Царица-Инокня слезным молением убедила мнимого сына не казнить врага, который искал головы его!.. Совесть, вероятно, терзала сию несчастную пособницу обмана: спасая мученика истины, Марфа надеялась уменьшить грех свой пред людьми и Богом. Вместе с нею ходатайствовали за осужденного и некоторые Ляхи, видя, сколь живое участие принимали Москвитяне в судьбе его и желая снискать тем их благодарность. Всех трех Шуйских, Князя Василия, Дмитрия, Ивана, сослали в пригороды Галицкие; имение их описали, дома опустошили.

Тогда же разгласилось в Москве и свидетельство многих Галичан, единоземцев и самых ближних Григория Отрепьева; дяди, брата и даже матери, добросовестной вдовы Варвары: они видели его, узнали и не хотели молчать. Их заключили; а дядю, Смирного-Отрепьева (в 1604 году ездившего к Сигизмунду для уличения племянника), сослали в Сибирь. Схватили еще Дворянина Петра Тургенева и мещанина Федора, которые явно возмущали народ против лжецаря. Самозванец велел казнить обоих торжественно и с удовольствием видел, что народ, благодарный ему за помилование Шуйского, не изъявил чувствительности к великодушию сих двух страдальцев; оба шли на смерть без ужаса и раскаяния, громогласно именуя Лжедимитрия Антихристом и любимцем Сатаны, жалея о России и предсказывая ей бедствие; чернь ругалась над ними, восклицая: «умираете за дело!» – С сего времени не умолкали доносы, справедливые и ложные, как в Борисово царствование: ибо Самозванец, дотоле желав хвалиться милосердием, уже следовал иным правилам: хотел грозою унять дерзость и для того благоприятствовал изветам. Пытали, казнили, душили в темницах, лишали имения, ссылали за слово о расстриге. По таким ли доносам, или единственно опасаясь нескромности своих старых приятелей, Лжедимитрий велел удалить многих Чудовских Иноков в другие, пустынные Обители, хотя (что

достойно замечания) оставил в покое Крутицкого Митрополита Пафнутия, который с первого взгляда узнал в нем Диакона Григория, быв в его время Архимандритом сего монастыря, но, как вероятно, лицемерным или бессовестным изъяснением усердия к Самозванцу спас себя от гонения. Молчали и другие в боязни, так что столица казалась тихою. Но расстрига сделался осторожнее и, явно не доверяя Москвитянам, снова окружил себя иноплемениками: выбрал 300 Немцев в свои телохранители, разделил их на три особенные дружины под начальством *Капитанов*: Француза Маржерета, Ливонца Кнутсена и Шотландца Вандемана; одел весьма богато в камку и бархат; вооружил алебардами и протазанами, секирами и бердышами с золотыми орлами на древках, с кистями золотыми и серебряными; дал каждому воину, сверх поместья, от 40 до 70 рублей денежного жалованья – и с того времени уже никуда не ездил и не ходил один, всюду провождаемый сими грозными телохранителями, за коими только вдали следовали Бояре и Царедворцы. Мера достойная бродяги, игрою Судьбы вознесенного на степень державства: триста иноземных секир и копий должны были спасти его от предполагаемой измены целого народа и полумиллиона воинов, бесполезно раздражаемых знаками недоверия обидного! Между тем Лжедмитрий хотел веселья: музыка, пляска и зернь были ежедневною забавою Двора. Угождая вкусу Царя к пышности, все знатные и незнатные старались блистать одеждою богатою. Всякий день казался праздником. «Многие плакали в домах, а на улицах казались веселыми и нарядными женихами», говорит Летописец. Смиранный вид и смиренная одежда для людей небогих считались знаком худого усердия к Царю веселому и роскошному, который сим призраком благосостояния желал уверить Россию в ее златом веке под державою обманщика.

Утишив, как он думал, Москву, Лжедмитрий спешил исполнить обет, данный его благодарностию, сердцем или политикою: предложить руку и венец Марине, которая любовью и доверенностию к бродяге заслуживала честь сидеть с ним на троне. Сношения между Воеводою Сендомирским и нареченным его зятем не прерывались: Самозванец уведомлял Мнишка о всех своих успехах, называл всегда отцом и другом; писал к Нему из Путивля, Тулы, Москвы; а Воевода писал не только к Самозванцу, но и к Боярам Московским, требуя их признательности такими словами: «Способствовав счастью Дмитрия, я готов стараться, чтобы оно было и счастьем России, побуждаемый к сему моею всегдашнею к ней любовью и надеждою на вашу благодарность, когда вы увидите мое ревностное о вас ходатайство пред троном, и будете иметь новые выгоды, новые важные права, неизвестные донныне в Московском Государстве». Наконец (в Сентябре месяце) Лжедмитрий Послал великого секретаря и казначея Афанасия Власьева в Краков для торжественного сватовства, дав ему грамоту к Сигизмунду и другую от Царицы-Инокини Марфы к отцу невестину. Могли ли Россияне одобрить сей брак с иноверкою, хотя и знатного, но не державного племени, – с удовольствием видеть спесивого Пана тестем Царским, ждаты к себе толпу его ближних, не менее спесивых, и раболепно чтить в них свойство с Венценосцем, который избранием чужеземной невесты оказывал презрение ко всем благородным Россиянкам? Самозванец, вопреки обычаю, даже и не известил Бояр о сем важном деле: говорил, советовался единственно с Ляхами. Но, легкомысленно досаждая Россиянам, он в то же время не вполне удовлетворял и желаниям своих друзей иноземных.

Никто ревностнее Нунция Папского, Рангони, не служил обманщику: пышною грамотою приветствуя Лжедмитрия на троне, Рангони славил Бога и восклицал: *мы победили* льстил ему хвалами неумеренными и надеялся, что соединение церковей будет первым из его дел бессмертных; писал: «Изображение лица твоего уже в руках Св. Отца, исполненного к тебе любви и дружества. Не медли изъяснить свою благодарность Главе верных... и прими от меня дары духовные: образ сильного Воеводы, коего содействием ты победил и царствуешь; четки молитвенные и Библию Латинскую, да услаждаешься ее чтением, и да будешь вторым Давидом». Скоро прибыл в Москву и чиновник Римский, Граф Александр Рангони (племянник Нунция) с *Апостольским благословением* и с поздравительною грамотою от преемника Климентова, нетерпеливого в желании видеть себя главою нашей церкви; но Савозванец в учтивом ответе, хваляся чудесною к Нему благостию Божиею, истребившею злодея, *отцеубийцу* его, не сказал ни слова о соединении Церквей: говорил только о великодушном своем намерении жить не в праздности, но вместе с Императором идти на Султана, чтобы стереть Державу неверных с лица земли, убеждая Павла V не допускать Рудольфа до мира с Турками: для чего хотел отправить в Австрию и собственного Посла. Лжедмитрий писал и вторично к Папе, обещая доставить безопасность его Миссионариям на пути их чрез Россию в Персию и *быть верным в исполнении данного ему слова*, посылал и сам Иезуита Андрея Лавицкого в Рим, но, кажется, более для

государственного, нежели церковного дела: для переговоров о войне Турецкой, которую он действительно замыслил, пленяясь в воображении ее славою и пользою. Надменный счастьем, рожденный смелым и с любовью к опасностям, Самозванец в кружении легкой головы своей уже не был доволен Государством Московским: хотел завоеваний и Держав новых! Сия ревность еще сильнее воспыкала в Нем от донесения Воевод Терских, что их стрельцы и Козаки одержали верх в сшибке с Турками и что некоторые данники Султанские в Дагестане присягнули России. Издавна проповедуя в Европе необходимость всеобщего восстания Держав Христианских на Оттоманскую, мог ли Рим не одобрить намерения Лжедмитриевого? Папа славил Царя-Героя, советуя ему только начать с ближайшего: с Тавриды, чтобы истреблением гнезда злодейского, столь бедоносного для России и Польши, *отрезать крылья и правую руку* у Султана в войне с Императором; однако ж имел причину не доверять ревности Самозванца к Латинской Церкви, видя, как он в письмах своих избегает всякого *ясного* слова о Законе. Кажется, что Самозванец охладел в усердии сделать Россиян Папистами: ибо, невзирая на свойственную ему безрассудность, усмотрел опасность сего нелепого замысла и едва ли бы решился приступить к исполнению оного, если бы и долее царствовал.

Скоро увидел и главный благодетель Лжедмитриев, Сигизмунд лукавый, что счастье и престол изменили того, кто еще недавно в восторге лобызал его руку, безмолвствовал и вздыхал пред ним, как раб униженный. Быв непосредственным виновником успехов Самозванца – оказав бродяге честь сына Царского, дав ему деньги, воинов, и тем склонив народ северский верить обману – Сигизмунд весьма естественно ждал благодарности и, чрез секретаря своего, Госевского, приветствуя нового Царя, нескромно требовал, чтобы Лжедмитрий выдал ему Шведских Послов, если они будут в Москву от *мятежника* Карла. Госевский, беседуя с Царем наедине, объявил за тайну, что Король встревожен молвою удивительною. «Недавно (говорил сей чиновник) выехал к нам из России один приказный, который уверяет, что Борис жив: устрешенный твоими победами и, следуя наставлению волхвов, он уступил Державу сыну, юному Феодору, притворился мертвым и велел торжественно, вместо себя, схоронить другого человека, опоенного ядом; а сам, взяв множество золота, с ведома одной Царицы и Семена Годунова бежал в Англию, называясь купцом. Поручив надежным людям разведать в Лондоне, действительно ли укрывается там опасный злодей твой, Сигизмунд, как истинный друг, счел за нужное предостеречь тебя и, думая, что верность Россиян еще сомнительна, дал указ нашим Литовским Воеводам быть в готовности для твоей защиты». Сия сказка не испугала Лжедмитрия: он благодарил Короля, но отвечал, что «в смерти Борисовой не сомневается; что готов быть недругом мятежнику Шведскому, но прежде хочет удостовериться в искренней дружбе Сигизмунда, который, вопреки ласковым словам, уменьшает данное ему Богом достоинство» – ибо Сигизмунд в письме своем назвал его господарем и великим Князем, а не *Царем*: Самозванец же хотел не только сего титула, но и нового, пышнейшего: вздумал именовать себя Цесарем и даже *непобедимым*, мечтая о своих будущих победах! Узнав о таком гордом требовании, Сигизмунд изъявил досаду, и Вельможные Паны упрекали недавнего бродягу смешным высокоумием, злою неблагодарностию; а Лжедмитрий писал в Варшаву, что он не забыл добрых услуг Сигизмундовых, чтит его как брата, как отца; желает утвердить с ним союз, но не престанет требовать Цесарского титула, хотя и не мыслит грозить ему за то войною. Люди благоразумные, особенно Мнишек и Нунций Папский, тщетно доказывали Самозванцу, что Король называет его так, как Государи Польские всегда называли Государей Московских, и что Сигизмунду нельзя переменить сего обыкновения без согласия чинов Республики. Другие же, не менее благоразумные люди думали, что Республика не должна ссориться за пустое имя с хвастливым другом, который может быть ей орудием для усмирения Шведов; но Паны не хотели слышать о новом титуле, и Воевода Познанский сказал в гнев одному чиновнику Российскому: «Бог не любит гордых, и *непобедимому* Царю вашему не усидеть на троне». – Сей жаркий спор не мешал однако ж успеху в деле сватовства.

1 Ноября Великий Посол Царский, Афанасий Власьев, со многочисленною благородною дружиною приехал в Краков и был представлен Сигизмунду: говорил сперва о счастливом воцарении Иоаннова сына, о славе низвергнуть Державу Оттоманскую, завоевать Грецию, Иерусалим, Вифлеем и Вифанию, а после о намерении Дмитрия разделить престол с Мариною, из благодарности за важные услуги, оказанные ему, во дни его несгоды и печали, знаменитым ее родителем. 12 Ноября, в присутствии Сигизмунда, сына его Владислава и сестры, Шведской Королевны Анны, совершилось торжественное обручение (воспетое в стихах пиндарических Иезуитом Гроховским). Марина, с короною на голове, в белой одежде, униженной камнями

драгоценными, блистала равно и красотою и пышностию. Именем Мнишка сказав Власьеву (который заступал место жениха), что отец благословляет дочь на брак и Царство, Литовский Канцлер Сапега говорил длинную речь, также и Пан Ленчицкий и Кардинал, Епископ Краковский, славя «достоинства, воспитание и знатный род Марины, *вольной Дворянки Государства вольного*, – *честность* Дмитрия в исполнении данного им обета, счастье России иметь законного, отечественного Венценосца, вместо иноземного или похитителя, и видеть искреннюю дружбу между Сигизмундом и Царем, который без сомнения не будет примером неблагодарности, зная, чем обязан Королю и Королевству Польскому». Кардинал и знатнейшие Духовные сановники пели молитву: *Veni, Creator*: все преклонили колена; но Власьев стоял и едва не произвел смеха, на вопрос Епископа: «не обручен ли Дмитрий с другою невестою?» отвечая: *а мне как знать? того у меня нет в наказе*. Меняясь перстнями, он вынул Царский из ящика, с одним большим алмазом, и вручил Кардиналу; а сам не хотел голою рукою взять невестина перстня. По совершении священных обрядов был великолепный стол у Воеводы Сендомирского, и Марина сидела подле Короля, принимая от Российских чиновников дары своего жениха: богатый образ Св. Троицы, благословение Царицы-Инокини Марфы; перо из рубинов; чашу гиацинтовую; золотой корабль, осыпанный многими драгоценными камнями; золотого быка, пеликана и павлина; *какие-то удивительные* часы с флейтами и трубами; с лишком три пуда жемчугу, 640 редких соболей, кипы бархатов, парчей, штофов, атласов, и проч. и проч. Между тем Власьев, желая быть почтительным, не хотел садиться за стол с Мариною, ни пить, ни есть и, худо разумея, что он представляет лицо Дмитрия, бил челом в землю, когда Сигизмунд и семейство его пили за здоровье Царя и *Царицы*: уже так именовали невесту обрученную. После обеда Король, Владислав и Шведская Принцесса Анна танцевали с Мариною; а Власьев уклонился от сей чести, говоря: «дерзну ли коснуться Ее Величества!» Наконец, прощаясь с Сигизмундом, Марина упала к ногам его и плакала от умиления, к неудовольствию Посла, который видел в том унижение для будущей супруги Московского Венценосца; но ему ответствовали, что Сигизмунд Государь ее, ибо она еще в Кракове. Подняв Марину с ласкою, Король сказал ей: «Чудесно возвышенная Богом, не забудь, чем ты обязана стране своего рождения и воспитания, – стране, где оставляешь ближних и где нашло тебя счастье необыкновенное. Питай в супруге дружество к нам и благодарность за сделанное для него мною и твоим отцем. Имей страх Божий в сердце, чтить родителей *и не изменяй обычаям Польским*». Сняв с себя шапку, он перекрестил Марину, собственными руками отдал послу и дозволил Воеводе Сендомирскому ехать с нею в Россию; а Власьев, Немедленно отправив к Самозванцу перстень невесты и живописное изображение лица ее, жил еще несколько дней в Кракове, чтобы праздновать Сигизмундово бракосочетание с Австрийскою Эрцгерцогинею, и (8 Декабря) выехал в Слоним, ожидать там Мнишка и Марины на пути их в Россию; но ждал долго.

Пожертвовав Самозванцу знатною частию своего богатства, Воевода Сендомирский не был доволен одними дарами: требовал от него денег, чтобы расплатиться с заимодавцами, и не хотел без того выехать из Кракова; скучал, досадовал и тревожился худою молвою о будущем зяте. В Кракове знали, что делалось в Москве; знали о негодовании Россиян, и многие не верили ни Царскому происхождению Лжедмитрия, ни долговременности его счастья; говорили о том всенародно, предостерегали Короля и Мнишка. Сама Царица-Инокиня Марфа, как уверяют, тайно велела чрез одного Шведа объявить Сигизмунду, что мнимый Дмитрий не есть сын ее. Даже и чиновники Российские, присылаемые гонцами в Польшу, шептали на ухо любопытным о Царе беззаконном, и предсказывали Неминуемый скорый ему конец. Но Сигизмунд и Мнишек не верили таким речам или показывали, что не верят, желая приписывать их единственно внушениям тайных злодеев Царя, друзей Годунова и Шуйского. Во всяком случае уже не время было думать о разрыве с тем, кто звал на престол Марину и честно вознаграждал отца ее за все его убытки: ибо, наконец (в Генваре 1606), Секретарь Ян Бучинский привез из Москвы 200 тысяч злотых Мнишку, сверх ста тысяч, отданных Лжедмитрием Сигизмунду в уплату суммы, которую занял у него Воевода Сендомирский на ополчение 1604 года. Расстрига изъяснял нетерпение видеть невесту; но отец ее, занимаясь пышными сборами, еще долго жил в Галиции, и выехал, с толпою своих ближних, уже в распутицу, так что некоторые из них от худой дороги возвратились, – к их счастью: ибо в Москве уже все изготовилось к страшному действию народной мести.

[1606 г.] Оградив себя иноземными телохранителями и, видя тишину в столице, уклончивость, низость при Дворе, Лжедмитрий совершенно успокоился; верил какому-то предсказанию, что ему властвовать 34 года, и пировал с Боярами на их свадьбах, дозволив им

свободно выбирать себе невест и жениться: чего не было в Царствование Годунова, и чем воспользовался, хотя уже и не в молодых годах, знатнейший Вельможа Князь Мстиславский, за коего Самозванец выдал двоюродную сестру Царицы-Инокини Марфы. Казалось, что и Москва искренно веселилась с Царем: никогда не бывало в ней столько пиров и шума; никогда не видали столько денег в обращении: ибо Немцы, Ляхи, Козаки, сподвижники Лжедмитрия, от щедрот его сыпали золотом, к Немалой выгоде Московского купечества, и хвастаясь богатством, по словам Летописца, не только ели, пили, но и в банях мылись из серебряных сосудов. В сии веселые дни Самозванец, расположенный к действиям милости, простил Шуйских, чрез шесть месяцев ссылки: возвратил им богатство и знатность, в удовольствие их многочисленных друзей, которые умели хитро ослепить его прелестию такого великодушия, и, вероятно, уже не без намерения, гибельного для лжецаря. Всеми уважаемый как первостепенный муж государственный и потомок Рюриков, Василий Шуйский был тогда идолом народа, прославив себя неустрашимою твердостью в обличении Самозванца: пытки и плаха дали ему, в глазах Россиян, блистательный венец Героя-мученика, и никто из Бояр не мог, в случае народного движения, иметь столько власти над умами, как сей Князь, равно честлюбивый, лукавый и смелый. Дав на себя письменное обязательство в верности Лжедмитрию, он возвратился в столицу, по видимому, иным человеком: казался усерднейшим его слугою и снискал в Нем особенную доверенность, вопреки мнению некоторых ближних людей Самозванца, которые говорили, что можно из милосердия, иногда одобряемого политикою, не казнить изменника и клятвопреступника, но безрассудно верить его новой клятве; что Шуйский, не видав от Дмитрия ничего, кроме благоволения, замышлял его гибель, а претерпев от него бесчестие, муки, ужас смерти, конечно не исполнился любви к своему карателю, хотя и правосудному: исполнился, вероятнее, злобы и мести, скрываемых под личиною раскаяния. Они говорили истину: Шуйский возвратился с тем, чтобы погибнуть или погубить Лжедмитрия. Но легкоумный, гордый Самозванец, хвалясь еще не столько благостию, сколько бесстрашием, отвечал, что находя искреннее удовольствие в милости, любит прощать совершенно, не вполнину, и без греха не может чего-нибудь страшиться, быв от самой колыбели чудесно и явно храним Богом. Он хотел, чтобы Князь Василий, подобно Мстиславскому, избрал себе знатную невесту: Шуйский выбрал Княжну Буйносову-Ростовскую, свойственницу Нагих, и должен был жениться чрез несколько дней после Царской свадьбы – одним словом, быв угодником Иоанновым и Борисовым, обворожил расстригу нехитрого, сделался его советником, и не для того, чтобы советовать ему доброе!

Лжедмитрий действовал, как и прежде: ветрено и безрассудно; то желал снискать любовь Россиян, то умышленно оскорблял их. Современники рассказывают следующее происшествие: «Он велел сделать зимою ледяную крепость, близ Вяземы, верстах в тридцати от Москвы, и поехал туда с своими телохранителями, с конною дружиною Ляхов, с Боярами и лучшим воинским Дворянством. Россиянам надлежало защищать городок, а Немцам взять его приступом: тем и другим, вместо оружия, дали снежные комы. Начался бой, и Самозванец, предводительствуя Немцами, первый ворвался в крепость; торжествовал победу; говорил: *так возьму Азов* – и хотел нового приступа. Но многие из Россиян обливались кровию: ибо Немцы во время схватки, бросая в них снегом, бросали и камнями. Сия худая шутка, оставленная Царем без наказания и даже без выговора, столь озлобила Россиян, что Лжедмитрий, опасаясь действительной сечи между ими, телохранителями и Ляхами, спешил развести их и возвратиться в Москву». Ненависть к иноземцам, падая и на пристрастного к ним Царя, ежедневно усиливалась в народе от их дерзости: например, с дозволения Лжедмитриева имея свободный вход в наши церкви, они бесчинно гремели там оружием, как бы готовясь к битве; опирались, ложились на гробы Святых. Не менее жаловались Москвитяне и на Козаков, сподвижников расстригиных: величаясь своею службою, сии люди грубые оказывали к ним презрение и называли их в ругательство Жидами; суда не было. – Но самым злейшим врагом Лжедмитрия сделалось Духовенство. Как бы желая унижить сан монашества, он срамил Иноков в случае их гражданских преступлений, бесчестною торговою казнию, занимал деньги в богатых обителях и не думал платить сих долгов значительных; наконец велел представить себе опись имению и всем доходам монастырей, изъявив мысль оставить им только необходимое для умеренного содержания старцев, а все прочее взять на жалованье войску: то есть смелый бродяга, бурей кинутый на престол шаткий и новою бурей угрожаемый, хотел прямо, необиновенно совершить дело, на которое не отважились Государи законные, Иоанны III и IV, в тишине бесспорного властвования и повиновения неограниченного! Дело менее важное, но не менее безрассудное также возбудило негодование Белого Московского Духовенства: Лжедмитрий выгнал всех Арбатских и Чертоль-

ских Священников из их домов, чтобы поместить там своих иноземных телохранителей, которые жили большею частию в слободе Немецкой, слишком далеко от Кремля. Пастыри душ, в храмах торжественно молясь за мнимого Димитрия, тайно кляли в Нем врага своего и шептали прихожанам о Самозванце, гонителе церкви и благодетеле всех ересей: ибо он, дозволив Иезуитам служить Латинскую Обедню в Кремле, дозволил и Лютеранским Пасторам говорить там проповеди, чтобы его телохранители не имели труда ездить для моления в отдаленную Немецкую слободу.

В сие время явление нового Самозванца также повредило расстриге в общем мнении. Завидуя успеху и чести Донцов, их братья, Козаки Волжские и Терские, назвали одного из своих товарищей, молодого Козака Илейку, сыном Государя Феодора Иоанновича, Петром, и выдумали сказку, что Ирина в 1592 году разрешилась от бремени сим Царевичем, коего властолюбивый Борис умел скрыть и подменил девочкою (Феодосию). Их собралось 4000, к ужасу путешественников, особенно людей торговых: ибо сии мятежники, сказывая, что идут в Москву с Царем, грабили всех купцов на Волге, между Астраханью и Казанью, так что добычу их ценили в 300 тысяч рублей; а Лжедимитрий не мешал им злодействовать и писал к мнимому Петру – вероятно, желая заманить его в сети – что если он истинный сын Феодоров, то спешил бы в столицу, где будет принят с честью. Никто не верил новому обманщику; но многие еще более уверились в самозванстве расстриги, изъясняя одну басню другою; многие даже думали, что оба Самозванца в тайном согласии; что Лжепетр есть орудие Лжедимитрия; что последний велит Козакам грабить купцов для обогащения казны своей и ждет их в Москву, как новых ревностных союзников для безопаснейшего тиранства над Россиянами, ему ненавистными. Илейка действительно, как пишут, хотел воспользоваться ласковым приглашением расстриги и шел к Москве, но узнал в Свияжске, что мнимого дяди его уже не стало.

По всем известиям, возвращение Князя Василия Шуйского было началом великого заговора и решило судьбу Лжедимитрия, который изготавил легкий успех одного, досаждая Боярам, Духовенству и народу, презирая Веру и добродетель. Может быть, следуя иным, лучшим правилам, он удержался бы на троне и вопреки явным уликам в самозванстве; может быть, осторожнейшие из Бояр не захотели бы свергнуть властителя хотя и незаконного, но благоразумного, чтобы не предать отечества в жертву безначалию. Так, вероятно, думали многие в первые дни расстригина Царствования: ведая, кто он, надеялись по крайней мере, что сей человек удивительный, одаренный некоторыми блестящими свойствами, заслужит счастье делами достохвальными; увидели безумие – и восстали на обманщика: ибо Москва, как пишут, уже не сомневалась тогда в единстве Отрепьева и Лжедимитрия. Любопытно знать, что самые ближние люди расстригины не скрывали истины друг от друга; сам несчастный Басманов в беседе искренней с двумя Немцами, преданными Лжедимитрию, сказал им: «Вы имеете в Нем отца и благоденствуете в России: молитесь о здравии его вместе со мною. Хотя он и *не сын Иоаннов*, но Государь наш: ибо мы *присягали* ему, и лучшего найти не можем». Так Басманов оправдывал свое усердие к Самозванцу. Другие же судили, что *присяга*, данная в заблуждении или в страхе, не есть истинная: сию мысль еще недавно внушали народу друзья Лжедимитриеви, склоняя его изменить юному Феодору; сею же мыслию успокоивал и Шуйский Россиян добросовестных, чтобы низвергнуть бродягу. Надлежало открыться множеству людей разного звания, иметь сообщников в Синклите, Духовенстве, войске, гражданстве. Шуйский уже испытал опасность ковов, лежав на плахе от нескромности своих клеветов; но с того времени общая ненависть ко Лжедимитрию созрела и ручалась за вернейшее хранение тайны. Но крайней мере не нашлось предателей-изветников – и Шуйский умел, в глазах Самозванца, ежедневно с ним веселясь и пируя, составить заговор, коего нить шла от Царской Думы чрез все степени Государственные до народа Московского, так что и многие из ближних людей Отрепьева, выведенные из терпения его упрямством в неблагоразумии, пристали к сему кову. Распускали слухи зловредные для Самозванца, истинные и ложные: говорили, что он, пылая жаждою кровопролития безумного, в одно время грозит войною Европе и Азии. Лжедимитрий несомненно думал воевать с Султаном, назначил для того Посольство к Шаху Аббасу, чтобы приобрести в Нем важного сподвижника, и велел дружинам Детей Боярских идти в Елец, отправив туда множество пушек; грозил и Швеции; написал к Карлу: «Всех соседственных Государей уведомив о своем воцарении, уведомляю тебя единственно о моем дружестве с законным Королем Шведским Сигизмундом, требуя, чтобы ты возвратил ему державную власть, похищенную тобою вероломно, вопреки уставу Божественному, естественному и народному праву – или вооружишь на себя могущественную Россию. Усовестись и размысли о печальном

жребии Бориса Годунова: так Всевышний казнит похитителей – казнит и тебя». Уверяли еще, что Лжедмитрий вызывает Хана опустошать южные владения России и, желая привести его в бешенство, Послал к Нему в дар шубу из свиных кож: басня опровергаемая современными Государственными бумагами, в коих упоминается о мирных, дружественных сношениях Лжедмитрия с Казы-Гиреем и дарах обыкновенных. Говорили справедливее о намерении или обещании самозванца предать нашу Церковь Папе и знатную часть России Литве: о чем сказывал Боярам Дворянин Золотой-Квашнин, беглец Иоаннова времени, который долго жил в Польше. Говорили, что расстриг ждет только Воеводы Сендомирского с новыми шайками Ляхов для исполнения своих умыслов, гибельных для отечества. Уже начальники заговора хотели было приступить к делу; но отложили удар до свадьбы Лжедмитриевой для того ли, как пишут, чтобы с невестою и с ее ближними возвратились в Москву древние Царские сокровища, раздаренные им щедростию Самозванца, или для того, чтобы он имел время и способ еще более озлобить Россиян новыми беззакониями, предвиденными Шуйским и друзьями его?

Между тем два или три случая, не будучи в связи с заговором, могли потревожить Самозванца. Ему донесли, что некоторые стрельцы всенародно злословят его, как врага Веры: он призвал всех Московских стрельцов с головою Григорием Микулиным, объявил им дерзость их товарищей и требовал, чтобы верные воины судили изменников: Микулин обнажил меч, и хулители лжецаря, не изъявляя ни раскаяния, ни страха, были иссечены в куски своими братьями: за что Самозванец пожаловал Микулина, как усердного слугу, в Дворяне Думные, а народ возненавидел, как убийцу великодушных страдальцев. Таким же мучеником хотел быть и Дьяк Тимофей Осипов: пылая ревностию изобличить расстригу, он несколько дней говел дома, приобщился Святых Таин и торжественно, в палатах Царских, пред всеми Боярами, назвал его *Гришкою Отрепьевым, рабом греха, еретиком*. Все изумились, и сам Лжедмитрий безмолвствовал в смятении: опомнился и велел умертвить сего в истории незабвенного мужа, который своею кровию, вместе с Немногими другими, искупал Россиян от стыда повиноваться бродяге. Пишут, что и стрельцы и Дьяк Осипов, прежде их убийства, были допрашиваемы Басмановым, но никого не оговорили в единомыслии с ними. Не менее бесстрашным оказал себя и знаменитый слепец, так называемый Царь Симеон: будучи ревностным Христианином и слыша, что Лжедмитрий склоняется к Латинской Вере, он презрел его милость и ласки, всенародно изъявлял негодование, убеждал истинных сынов Церкви умереть за ее святые уставы: Симеона, обвиняемого в неблагодарности, удалили в монастырь Соловецкий и постригли. Тогда же чиновник известный способностями ума и гибкости нрава, был в равной доверенности у Бориса и Самозванца, Думный Дворянин Михайло Татищев, вдруг заслужил опалу смелостию, в Нем совсем необыкновенною. Однажды, за столом Царским, Князь Василий Шуйский, видя блюдо телятины, в первый раз сказал Лжедмитрию, что не должно подчивать Россиян яствами, для них гнусными; а Татищев, пристав к Шуйскому, начал говорить столь невежливо и дерзко, что его вывели из дворца и хотели сослать на Вятку; но Басманов чрез две недели исходатайствовал ему прощение (себе на гибель, как увидим). Сей случай возбудил подозрение в некоторых ближних людях Отрепьева и в нем самом: думали, что Шуйский завел сей разговор с умыслом и что Татищев не даром изменил своему навыку; что они, зная вспыльчивость Лжедмитрия, хотели вырвать из него какое-нибудь слово нескромное и во вред ему разгласить о том в городе; что у них должно быть намерение дальновидное и злое. К счастью, Лжедмитрий, по нраву и правилам неопасливый, скоро оставил сию беспокойную мысль, видя вокруг себя лица веселые, все знаки усердия и преданности, особенно в Шуйском, и всего более думая тогда о великолепном приеме Марины.

Но Воевода Сендомирский как долго не трогался с места, так медленно и путешествовал; везде останавливался, пировал, к досаде своего провожатого, Афанасия Власьева, и еще из Минска писал в Москву, что ему нельзя выехать из Литовских владений, пока Царь не заплатит Королю *всего долга*, что грубость излишно ревностного слуги Власьева, нудящего их *не ехать, а лететь* в Россию, несносна для него, ветхого старца, и для нежной Марины. Самозванец не жалел денег: обязался удовлетворить всем требованиям Сигизмундовым, прислал 5000 червонцев в дар невесте, и сверх того 5000 рублей и 13 000 талеров на ее путешествие до пределов России; но изъявил неудовольствие. «Вижу, – писал он к Мнишку, – что вы едва ли и весною достигнете нашей столицы, где можете не найти меня: ибо я намерен встретить лето в стане моего войска и буду в поле до зимы. Бояре, посланные ждать вас на рубеж, истратили в сей голодной стране все свои запасы и должны будут возвратиться, к стыду и поношению Царского имени». Мнишек в

досаде хотел ехать назад; однако ж, извинив колкие выражения будущего зятя нетерпением его страстной любви, 8 Апреля въехал в Россию.

Пишут, что Марина, оставляя навеки отечество, неутешно плакала в горестных предчувствиях и что Власьев не мог успокоить ее велеречивым изображением ее славы. Воевода Сендомирский желал блеснуть пышностью: с ним было родственников, приятелей и слуг не менее двух тысяч, и столько же лошадей. Марина ехала между рядами конницы и пехоты. Мнишек, брат и сын его, Князь Вишневецкий и каждый из знатных Панов имел свою дружину воинскую. На границе приветствовали невесту Царедворцы Московские, а за местечком Красным Бояре, Михайло Нагой (мнимый дядя Лжедмитриев) и Князь Василий Мосальский, который сказал отцу ее, что знаменитейшие Государи Европейские хотели бы выдать дочерей своих за Дмитрия, но что Дмитрий предпочитает им его дочь, умея любить и быть благодарным. Оттуда повезли Марину на двенадцати белых конях, в санях великолепных, украшенных серебряным орлом; возницы были в парчовой одежде, в черных лисьих шапках; впереди ехало двенадцать знатных всадников, которые служили путеводителями и кричали возницам, где видели камень или яму. Несмотря на весеннюю распутицу, везде исправили дорогу, везде построили новые мосты и дома для ночлегов. В каждом селении жители встречали невесту с хлебом и солью, Священники с иконами. Граждане в Смоленске, Дорогобуже, Вязме подносили ей многоценные дары от себя, а сановники вручали письма от жениха с дарами еще богатейшими. Все старались угождать не только будущей Царице, но и спутникам ее, надменным Ляхам, которые вели себя нескромно, грубили Россиянам, притворно смиренным, и, достигнув берегов Угры, вспомнили, что тут была древняя граница Литвы – надеялись, что и будет снова: ибо Мнишек вез с собою владенную грамоту, данную ему Самозванцем, на княжение Смоленское!.. Оставив Марину в Вязме, Сендомирский Воевода с сыном и Князем Вишневецким спешили в Москву для некоторых предварительных условий с Царем относительно к браку.

25 Апреля, имев пышный въезд в столицу, Мнишек с восторгом увидел будущего зятя на великолепном троне, окруженном Боярами и Духовенством: Патриарх и Епископы сидели на правой стороне, Вельможи на левой. Мнишек целовал руку Лжедмитриеву; говорил речь и не находил слов для выражения своего счастья. «Не знаю (сказал он), какое чувство господствует теперь в душе моей: удивление ли чрезмерное или радость неописанная? Мы проливали некогда слезы умиления, слушая повесть о жалостной, мнимой кончине Дмитрия, и видим его воскресшего! Давно ли с горестию иного рода, с участием искренним и нежным, я жал руку изгнанника, моего гостя печального, и сию руку, ныне державную, лобызаю с благоговением!.. О счастье! как ты играешь смертными! Но что говорю? не слепому счастью, а Провидению дивимся в судьбе твоей: Оно спасло тебя и возвысило, к утешению России и всего Христианства. Уже известны мне твои блестящие свойства: я видел тебя в пылу битвы неустрашимого, в трудах воинских неутомимого, к хладу зимнему нечувствительного... ты бодрствовал в поле, когда и звери севера в своих норах таились. История и Стихотворство прославят тебя за мужество и за многие иные добродетели, которые спеши открыть в себе миру; но я особенно должен славить твою высокую ко мне милость, щедрую награду за мое к тебе раннее дружество, которое предупредило честь и славу твою в свете: ты делишь свое величие с моей дочерью, умея ценить ее нравственное воспитание и выгоды, данные ей рождением в Государстве свободном, где Дворянство столь важно и сильно, – а всего более зная, что одна добродетель есть истинное украшение человека». Лжедмитрий слушал с видом чувствительности, непрестанно утирая себе глаза платком, но не сказал ни слова: вместо Царя отвечивал Афанасий Власьев. Началось роскошное угощение. Мнишек обедал у Лжедмитрия в новом дворце, где Поляки хвалили и богатство и вкус украшений. Честя гостя, Самозванец не хотел однако ж сидеть с ним рядом: сидел один за *серебряною трапезою* и в знак уважения велел только подавать ему, сыну его и Князю Вишневецкому золотые тарелки. Во время обеда привели двадцать лопарей, бывших тогда в Москве с данию, и рассказывали любопытным иноземцам, что сии странные дикири живут на краю света, близ *Индии* и Ледовитого моря, не зная ни домов, ни теплой пищи, ни законов, ни Веры: Лжедмитрий хвалился неизмеримостию России и чудным разнообразием ее народов. Вечеру играли во дворце Польские музыканты; сын Воеводы Сендомирского и Князь Вишневецкий танцевали; а Лжедмитрий забавлялся переодеванием, ежечасно являясь то Русским щеголем, то Венгерским Гусаром! Пять или шесть дней угощали Мнишка изобильными, бесконечными обедами, ужинами, звериною ловлею, в коей Лжедмитрий, как обыкновенно, блистал искусством и смелостию: бил медведей рогатиною, отсекал им голову саблею и веселился громкими восклицаниями Бояр: «слава Царю!» – В сие время занимались и делом.

Лжедмитрий писал еще в Краков к Воеводе Сендомирскому, что Марина, как Царица Российская, должна по крайней мере наружно чтить Веру Греческую и следовать обрядам; должна также наблюдать обычаи Московские и *не убирать волос*. но Легат Папский Рангони с досадою отвечал на первое требование, что Государь Самодержавный не обязан угождать бессмысленному народному суеверию; что Закон не воспрещает брака между Христианами Греческой и Римской Церкви и не велит супругам жертвовать друг другу совестью; что самые предки Димитриевы, когда хотели жениться на Княжнах Польских, всегда оставляли им свободу в Вере. Сие затруднение было, кажется, решено в беседах Лжедмитрия с Воеводою Сендомирским и с нашим Духовенством: условились, чтобы Марина ходила в Греческие Церкви, приобщалась Святых Таин от Патриарха и постилась еженедельно не в Субботу, а в Среду, имея однако ж свою Латинскую Церковь и наблюдая все иные уставы Римской Веры. Патриарх Игнатий был доволен; другие Святители молчали, все, кроме Митрополита Казанского Ермогена и Коломенского Епископа Иосифа, сосланных расстригою за их смелость: ибо они утверждали, что невесту должно *крестить*, или женитьба Царя будет незаконною. Гордясь хитрою политикою – удовольствовав, как он думал, и Рим и Москву – устроив все для торжественного бракосочетания и принятия невесты, Лжедмитрий дал ей знать, что ждет ее с нежным чувством любовника и с великолепием Царским.

Марина дня четыре жила в Вяземе, бывшем селе Годунова, где находился его дворец, окруженный валом, и где в каменном храме, донныне целом, видны еще многие Польские надписи Мнишковых спутников. 1 Мая, верст за 15 от Москвы, встретили будущую Царицу купцы и мещане с дарами – 2 мая, близ городской заставы, Дворянство и войско: Дети Боярские, стрельцы, Козаки (все в красных суконных кафтанах, с белою перевязью на груди), Немцы, Поляки, числом до ста тысяч. Сам Лжедмитрий был тайно в простой одежде между ими, вместе с Басмановым расставил их по обеим сторонам дороги и возвратился в Кремль. Не въезжая в город, на берегу Москвы-реки, Марина вышла из кареты и вступила в великолепный шатер, где находились Бояре: Князь Мстиславский говорил ей приветственную речь; все другие кланялись до земли. У шатра стояли 12 прекрасных верховых коней в дар невесте, и богатая колесница, украшенная серебряными орлами Царского герба и запряженная десятью пегими лошадьми: в сей колеснице Марина въехала в Москву, будучи сопровождаема своими ближними, Боярами, чиновниками и тремя дружинами Царских телохранителей; впереди шло 300 гайдуков с музыкантами, а позади ехало 13 карет и множество всадников. Звонили в колокола, стреляли из пушек, били в барабаны, играли на трубах – а народ безмолвствовал; смотрел с любопытством, но изъявлял более печали, нежели радости, и заметил *вторично* бедственное предзнаменование: уверяют, что в сей день свирепствовала буря, так же, как и во время расстригина вступления в Москву. Пред воротами Кремлевскими, на возвышенном месте площади (где встретило бы невесту Царскую Духовенство с крестами, если бы сия невеста была Православная), встретили Марину новые толпы литаврщиков, производя несносный для слуха шум и гром. При въезде ее в Спасские ворота музыканты Польские играли свою народную песню: *навек в счастье и несчастье*, колесница остановилась в Кремле у Девичьего монастыря: там невеста была принята Царицею-Иокинею; там увидела и жениха – и жила до свадьбы, отложенной на шесть дней еще для некоторых приготовлений.

Между тем Москва волновалась. Поместив Воеводу Сендомирского в Кремлевском доме Борисовом (вертепе Цареубийства!), взяли для его спутников все лучшие дворы в Китае, в Белом городе и выгнали хозяев, не только купцов, Дворян, Дьяков, людей духовного сана, но и первых Вельмож, даже мнимых родственников Царских, Нагих: сделался крик и вопль. – С другой стороны, видя тысячи гостей незваных, с ног до головы вооруженных, – видя, как они еще из телег своих вынимали запасные сабли, копья, пистолеты, Москвитяне спрашивали у Немцев, ездят ли в их землях на свадьбу, как на битву? и говорили друг другу, что Поляки хотят овладеть столицею. В один день с Мариною въехали в Москву великие Послы Сигизмундовы, Паны Олесницкий и Госевский, также с воинскою многочисленною дружиною и также к беспокойству народа, который думал, что они приехали за венцом Марины и что Царь уступает Литве все земли от границы до Можайска – мнение несправедливое, как доказывают бумаги сего Посольства: Олесницкий и Госевский должны были только вместо Короля присутствовать на свадьбе Лжедмитрия, утвердить Сигизмундову с ним дружбу и союз с Россиею, не требуя ничего более. Самозванец, по сказанию летописца, зная молву народную о грамоте, данной им Мнишку на Смоленск и Северскую область, говорил Боярам, что не уступит ни пяди Российской Ляхам – и, может быть, говорил искренно: может быть, обманывая папу, обманул бы и тестя и жену свою;

но Бояре, по крайней мере Шуйский с друзьями, не старались переменить худых мыслей народа о Лжедмитрии, который новыми соблазнами еще усилил общее негодование.

Доброжелатели сего безрассудного хотели уверить благочестивых Россиян, что Марина в уединенных, недоступных келиях учится нашему Закону и постится, готовясь к крещению: в первый день она действительно казалась постницею, ибо ничего не ела, гнушаясь Русскими яствами; но жених, узнав о том, прислал к ней в монастырь поваров отца ее, коим отдали ключи от Царских запасов и которые начали готовить там обеды, ужины, совсем не монастырские. Марина имела при себе одну служанку, никуда не выходила из келий, не ездила даже и к отцу; но ежедневно видела страстного Лжедмитрия, сидела с ним наедине или была увеселяема музыкою, пляскою и песнями не Духовными. Расстрига вводил скоморохов в обитель тишины и набожности, как бы ругаясь над святым местом и саном Инокинь непорочных. Москва свела о том с омерзением.

Соблазн иного рода, плод ветрености Лжедмитриевой, изумил Царедворцев. 3 Мая расстрига торжественно принимал в золотой палате знатных Ляхов, родственников Мнишковых и Послов Королевских. Гофмейстер Марины, Стадницкий, именем всех ее ближних говоря речь, сказал ему: «Если кто-нибудь удивится твоему союзу с Домом Мнишка, первого из Вельмож Королевских, то пусть заглянет в историю Государства Московского: *прадед* твой, думаю, был женат на дочери Витовта, а дед на Глинской – и Россия жаловалась ли на соединение Царской крови с Литовскою? ни мало. Сим браком утверждаешь ты связь между двумя народами, которые сходят в языке и в обычаях, равны в силе и доблести, но доныне не знали мира искреннего и своею закоснелою враждою тешили неверных; ныне же готовы, как истинные братья, действовать единодушно, чтобы низвергнуть Луну ненавистную... и слава твоя, как солнце, воссияет в странах Севера». За родственниками Воеводы Сендомирского, важно и величаво, шли Послы. Лжедмитрий сидел на престоле: сказав Царю приветствие, Олесницкий вручил Сигизмундову грамоту Афанасию Власьеву, который тихо прочитал Самозванцу ее надпись, и возвратил бумагу Послам, говоря, что она писана к какому-то *Князю* Дмитрию, а Монарх Российский есть *Цесарь*, что Послы должны ехать с нею обратно к своему Государю. Изумленный Пан Олесницкий, взяв грамоту, сказал Лжедмитрию: «Принимаю с благоговением; но что делается? оскорбление беспримерное для Короля, – для всех знаменитых Ляхов, стоящих здесь пред тобою, – для всего нашего отечества, где мы еще недавно видели тебя, осыпаемого ласками и благодеяниями! Ты с презрением отвергаешь письмо его величества на сем троне, на коем сидишь по милости Божией, Государя моего и народа Польского!»... Такое нескромное слово оскорбляло всех Россиян не менее Царя; но Лжедмитрий не мыслил выгнать дерзкого Пана и как бы обрадовался случаю блистать своим красноречием; велел снять с себя корону и сам отвечал следующее: «Необыкновенное, неслыханное дело, чтобы Венценосцы, сидя на престоле, спорили с иноземными Послами; но Король упрямством выводит меня из терпения. Ему изъяснено и доказано, что я не только Князь, не только Господарь и Царь, но и Великий Император в своих неизмеримых владениях. Сей титул дан мне Богом, и не есть одно пустое слово, как титулы иных Королей; ни Ассирийские, ни Мидийские, ниже Римские Цесари не имели действительнейшего права так именоваться. Могу ли быть доволен названием Князя и Господаря, когда мне служат не только Господари и Князья, но и Цари? Не вижу себе равного в странах полуношных; надо мною один Бог. И не все ли Монархи Европейские называют меня Императором? Для чего же Сигизмунд того не хочет? Пан Олесницкий! спрашиваю: мог ли бы ты принять на свое имя письмо, если бы в его надписи не было означено твое шляхетское достоинство?... Сигизмунд имел во мне друга и брата, какого еще не имела Республика Польская; а теперь вижу в Нем своего зложелателя». Извиняясь в худом витийстве неспособностью говорить без приготовления, а в смелости навыком человека свободного, Олесницкий с жаром и грубостию упрекал Лжедмитрия неблагодарностию, забвением милостей Королевских, безрассудностию в требовании титула нового, без всякого права; указывая на Бояр, ставил их в свидетели, что Венценосцы Российские никогда не думали именоваться *Цесарями*, предавал Самозванца суду Божию за кровопролитие, вероятное следствие такого неумеренного честолюбия. Самозванец возражал; наконец смягчился и звал Олесницкого к руке не в виде Посла, а в виде своего доброго знакомого: но разгоряченный Пан сказал: «или я Посол или не могу целовать руки твоей» – и сею твердостью принудил расстригу уступить: «для того (сказал Власьев), что Царь, готовясь к брачному веселию, расположен к снисходительности и к мирным чувствам». Грамоту Сигизмундову взяли, Послам указали места, и Лжедмитрий спросил о здоровье Короля, но сидя: Олесницкий хотел, чтоб он для сего вопроса, в знак уважения к

Королю, привстал, и расстрига исполнил его желание – одним словом, унизил, остыдил себя в глазах Двора явлением непристойным, досадив вместе и Ляхам и Россиянам. С честью отпустив Послов в их дом, Лжедмитрий велел Дьяку Грамотину сказать им, что они могут жить, как им угодно, без всякого надзора и принуждения: видеться и говорить, с кем хотят; что обычаи переменились в России, и спокойная любовь к свободе заступила место недоверчивого тиранства; что гостеприимная Москва ликует, в первый раз видя такое множество Ляхов, а Царь готов удивить Европу и Азию дружбою своею к Королю, если он признает его Императором из благодарности за титул *Шведского*, отнятый Борисом у Сигизмунда, но возвращаемый ему Димитрием. – Делом Государственного союза хотели заняться после свадьбы Царской: ибо Лжедмитрий не имел времени мыслить о делах, занимаясь единственно невестою и гостями.

В монастыре веселились, во дворце пировали. Жених ежедневно дарил невесту и родных ее, покупая лучшие товары у купцев иноземных, коих множественно наехало в Москву из Литвы, Италии и Германии. За два дня до свадьбы принесли Марине шкатулку с узорочьями, ценою в 50 тысяч рублей, а Мнишку выдали еще 100 тысяч злотых для уплаты остальных долгов его, так что казна издержала в сие время на одни дары 800 000 (нынешних серебряных 4 000 000) рублей, кроме миллионов, издержанных на путешествие или угощение Марины с ее ближними. Лжедмитрий хотел Царскою роскошью затмить Польскую: ибо Воевода Сендомирский и другие знатные Ляхи также не жалели ничего для внешнего блеска, имели богатые кареты и прекрасных коней, рядили слуг в бархат и готовились жить пышно в Москве (куда Мнишек привез 30 бочек одного вина Венгерского). Но самая роскошь гостей озлобляла народ: видя их великолепие, Москвитяне думали, что оно есть плод расхищения казны Царской; что достояние отечества, собранное умом и трудами наших Государей, идет в руки вечных неприятелей России.

7 Мая, ночью, невеста вышла из монастыря и при свете двухсот факелов, в колеснице окруженной телохранителями и Детьми Боярскими, переехала во дворец, где, в следующее утро, совершилось обручение по уставу нашей Церкви и древнему обычаю; но, вопреки сему уставу и сему обычаю, в тот же день, накануне Пятницы и Святого Праздника, совершился и брак: ибо Самозванец не хотел ни одним днем своего счастья жертвовать, как он думал, народному предрассудку. Невесту для обручения ввели в столовую палату Княгиня Мстиславская и Воевода Сендомирский. Тут присутствовали только ближайшие родственники Мнишковы и чиновники свадебные: Тысяцкий Князь Василий Шуйский, дружки (брат его и Григорий Нагой), свахи и весьма Немногие из Бояр. Марина, усыпанная алмазами, яхонтами, жемчугом, была в Русском, красном бархатном платье с широкими рукавами и в сафьянных сапогах; на голове ее сиял венец. В таком же платье был и самозванец, также с головы до ног блистая алмазами и всякими камнями драгоценными. Духовник Царский, Благовещенский Протоиерей, читал молитвы; дружки резали караваи с сырами и разносили ширинки. Оттуда пошли в Грановитую палату, где находились все Бояре и сановники Двора, знатные Ляхи и Послы Сигизмундовы. Там увидели Россияне важную новость: два престола, один для Самозванца, другой для Марины – и Князь Василий Шуйский сказал ей: «Наияснейшая Великая Государыня, *Цесарева* Мария Юриевна! Волею Божиею и непобедимого Самодержца, Цесаря и Великого Князя всея России, ты избрана быть его супругою: вступи же на свой Цесарский *маестат* и властвуй вместе с Государем над нами!» Она села. Вельможа Михайло Нагой держал пред нею корону Мономахову и диадему. Велели Марине поцеловать их и Духовнику Царскому нести в храм Успения, где уже все изготовили к торжественному обряду, и куда, по разостланным сукнам и бархатам, вел жениха Воевода Сендомирский, а невесту княгиня Мстиславская; впереди шли, сквозь ряды телохранителей и стрельцов, Стольники, Стряпчие, все знатные Ляхи, чиновники свадебные, Князь Василий Голицын с жезлом или скиптром, Басманов с державою; позади Бояре, люди Думные, Дворяне и Дьяки. Народа было множество. В церкви Марина приложилась к образам – и началось священнодействие, дотоле беспримерное в России: Царское венчание невесты, коим Лжедмитрий хотел удовлетворить ее честолюбию, возвысить ее в глазах Россиян и, может быть, дать ей, в случае своей смерти и неимения детей, право на державство. Среди храма, на возвышенном, так называемом *чертожном* месте сидели жених, невеста и Патриарх: первый на золотом троне Персидском вторая на серебряном. Лжедмитрий говорил речь: Патриарх ему отвечал и с молитвою возложил Животворящий Крест на Марину, бармы, диадему и корону (для чего свахи сняли головной убор или венец невесты). Лики пели многолетие Государю и *благочестивой Цесареве Марии*, которую Патриарх на Литургии украсил цепию Мономаховою, помазал и причастил. Таким образом, дочь Мнишкова, еще не будучи супругою Царя, уже была венчанною Царицею (не имела только Державы и скиптра). Духовенство и Бояре целовали ее

руку с обетом верности. Наконец выслали всех людей, кроме знатнейших, из церкви, и Протопоп Благовещенский обвенчал расстригу с Мариною. Держа друг друга за руку, оба в коронах, и Царь и Царица (последняя опираясь на Князя Василия Шуйского) вышли из храма уже в час вечера и были громко приветствуемы звуком труб и литавр, выстрелами пушечными и колокольным звоном, но тихо и невнятно народными восклицаниями. Князь Мстиславский, в дверях осыпав новобрачных золотыми деньгами из богатой мисы, кинул толпам граждан все остальные в ней червонцы и медали (с изображением орла двуглавого). Воевода Сендомирский и Немногие Бояре обедали с Лжедмитрием в столовой палате; но сидели недолго: встали и проводили его до спальни, а Мнишек и Князь Василий Шуйский до постели. Все утихло во дворце. Москва казалась спокойною: праздновали и шумели одни Ляхи, в ожидании брачных пиров Царских, новых даров и почестей. Не праздновали и не дремали клеветы Шуйского: время действовать наступало.

Сей день, радостный для самозванца и столь блестящий для Марины, еще усилил народное негодование. Невзирая на все безрассудные дела расстриги, Москвитяне думали, что он не дерзнет дать сана Российской Царицы иноверке и что Марина примет Закон наш; ждали того до последнего дня и часа: увидели ее в короне, в венце брачном и не слышали отречения от Латинства. Хотя Марина целовала наши святые иконы, вкусила тело и кровь Христову из рук Патриарха, была помазана елеем и торжественно возглашена *благочестивою Царицею*: но сие явное действие лжи казалось народу новою дерзостью беззакония, равно как и Царское венчание Польской Шляхетки, удостоенной величия не слыханного и не доступного для самых Цариц, истинно благочестивых и добродетельных: для Анастасии, Ирины и Марии Годуновой. Корона Мономахова на главе иноземки, племени ненавистного для тогдашних Россиян, вопияла к их сердцам о мести за осквернение святыни. Так мыслил народ, или такие мысли внушали ему еще невидимые вожди его в сие грозное будущим время. – Ничто не укрывалось от наблюдателей строгих. Только Немногим из Ляхов расстрига дозволил быть в церкви свидетелями его бракосочетания, но и сии Немногие своим бесчинством возбудили общее внимание: шутили, смеялись или дремали в час Литургии, прислонясь спиною к иконам. Послы Сигизмундовы непременно хотели сидеть, требовали кресел и едва успокоились, когда Лжедмитрий велел сказать им, что и сам он сидит в церкви, на троне, единственно по случаю коронования Марины. Замечая, как Бояре служили Царю – как Шуйские и другие ставили ему и Царице скамьи под ноги – кичливые Паны дивились вслух такой низости и благодарили Бога, что живут в Республике, где Король не смеет требовать столь презрительных услуг от последнего из людей вольных... Россияне видели, слышали и не прощали.

В следующее утро, на рассвете, барабаны и трубы возвестили начало свадебного праздника: сия шумная музыка не умолкала до самого полудня. Во дворце готовился пир для Россиян и Ляхов; но Лжедмитрий, желая веселиться, имел досаду: новую ссору с Королевскими Послами. Он звал их обедать, учтиво и ласково; Послы также учтиво благодарили, хотели однако ж непременно сидеть с Царем за одним столом, как Власьев на свадьбе у Короля сидел за столом Королевским. Лжедмитрий для объяснения прислал к ним Власьева; сей важный чиновник сказал Олесницкому: «Вы требуете неслыханного: у нас никому нет места за особливою Царскою трапезою; Король же угостил меня наравне с Послами Императорским и Римским: следственно не сделал ничего чрезвычайного, ибо Государь наш не менее ни Императора, ни Римского владыки – нет, великий Цесарь Дмитрий более их: что у вас Папа, то у него Попы». Так изъяснялся первый делец Государственный и верный слуга расстригин, в душе своей не благоприятствуя Ляхам и желая, может быть, сею непристойною насмешкою доказать, что Лжедмитрий не есть Папист. Олесницкий снес грубость, но решился не ехать во дворец. Все иные знатные Ляхи обедали с Самозванцем в Грановитой палате, кроме Воеводы Сендомирского: он находил требование Послов справедливым, тщетно умолял зятя исполнить оное, проводил его и Марину до столовой комнаты и в неудовольствии уехал домой.

Сия размолвка не мешала блеску пиршества. Новобрачные обедали на троне; за ними стояли телохранители с секирами; Бояре им служили. Играла музыка – и Ляхи удивлялись несметному богатству, видя пред собою горы золота и серебра. Россияне же с негодованием видели Царя в гусарском платье, а Царицу в Польском: ибо оно более нравилось мужу ее, который и накануне едва согласился, чтобы Марина, хотя для венчания, оделась Россиянкою. Вечеру ближние Мнишковы веселились во внутренних Царских комнатах; а в следующий день (10 Мая) Лжедмитрий принимал дары от Патриарха, Духовенства, Вельмож, всех знатных людей, всех купцов чужестранных и снова пировал с ними в Грановитой палате, сидя лицом к

иноземцам, спиною к Русским. В золотой палате обедало 150 Ляхов, простых воинов, но избранных, угощаемых Думными Дворянами: налив чашу вина, Лжедмитрий громогласно желал славных успехов оружию Польскому и выпил ее до самого дна. Наконец 11 Маия обедали во дворце и Послы Сигизмундовы с ревностным миротворцем Воеводою Сендомирским, который, убедив зятя дать Олесницкому первое место *возле* стола Царского, уговорил и сего пана не требовать ничего более и не жертвовать спору о суетной чести выгодами союза с Россиею. Хотя Лжедмитрий едва было не возобновил прения, сказав Олесницкому: «я не звал Короля к себе на свадьбу: следственно ты здесь не в лице его, а только в качестве Посла»; но Мнишек благоразумными представлениями утишил зятя, и все кончилось дружелюбно. Сей третий пир казался еще пышнее. Царь и Царица были в коронах и в Польском великолепном наряде. Тут обедали и женщины: Княгиня Мстиславская, Шуйская и родственницы Воеводы Сендомирского, который, забыв свою дряхлость, не хотел сидеть: держа шапку в руках, стоял пред Царицею и служил ей не как отец, а как подданный, к удивлению всех. Лжедмитрий пил здоровье Короля; вообще пили много, особенно иноземные гости, хваля Царские вина, но жалуясь на яства Русские, для них невкусные. После стола откланялись Царю сановники, коим надлежало ехать к Шаху Персидскому с письмами: они целовали руку у Лжедмитрия и Марины. – 12 Маия Царица в своих комнатах угощала одних Ляхов, пригласив только двух Россиян: Власьева и Князя Василия Мосальского. Услуга и кушанья были Польские, так что Паны, изъявляя живейшее удовольствие, говорили: «Мы пируем не в Москве и не у Царя, а в Варшаве или в Кракове у Короля нашего». Пили и плясали до ночи. Лжедмитрий в гусарской одежде танцевал с женою и с тестем. – Но Царица оказала милость и Россиянам: 14 Маия обедали у нее Бояре и люди чиновные. В сей день она казалась Русскою, верно соблюдая наши обычаи; старалась быть и любезною, всех приветствуя и лаская... Но приветствия уже не трогали сердец ожесточенных! Между тем не умолкала в столице музыка: барабаны, литавры, трубы с утра до вечера оглушали жителей. Ежедневно гремели и пушки в знак веселия Царского; не щадили порошу и в пять или в шесть дней истратили его более, нежели в войну Годунова с Самозванцем. Ляхи также в забаву стреляли из ружей в своих домах и на улицах, днем и ночью, трезвые и пьяные.

Утомленный празднествами, Лжедмитрий хотел заняться делами, и 15 Маия, в час утра, Послы Сигизмундовы нашли его в новом дворце сидящего на креслах, в прекрасной голубой одежде, без короны, в высокой шапке, с жезлом в руке, среди множества Царедворцев: он велел Послам идти к Боярам в другую комнату, чтобы объяснить им предложения Сигизмундовы. Князь Дмитрий Шуйский, Татищев, Власьев и Дьяк Грамотин беседовали с ними. Олесницкий, в речи плодovitой, Ветхим и Новым Заветом доказывал обязанность Христианских Монархов жить в союзе и противиться неверным; оплакивал падение Константинополя и несчастье Иерусалима; хвалил великодушное намерение Царя освободить их от бедственного ига и заключил тем, что Сигизмунд, пылая усердием разделить с братом своим, Димитрием, славу такого предприятия, желает знать, когда и с какими силами он думает идти на Султана? Татищев отвечал: «Король хочет знать: верим; но хочет ли действительно помогать непобедимому Цесарю в войне с Турками? сомневаемся. Желание все выведать, с намерением ничего не делать, кажется нам только обманом и лукавством». Удивляясь дерзости Татищева (который говорил невежливо, ибо уже знал о скорой перемене обстоятельств), Послы свидетельствовали Власьевым, что не Сигизмунд Димитрию, а Димитрий Сигизмунду предложил воевать Оттоманскую Державу: следственно и должен объявить ему свои мысли о способах успеха. Тут Российские чиновники оставили Послов, ходили к Лжедмитрию, возвратились и, сказав: «сам Цесарь будет говорить с вами в присутствии Бояр», отпустили их домой; но мнимый Цесарь уже не мог сдержать слова!

Еще Лжедмитрий готовил потехи новые; велел строить деревянную крепость с земляною осыпью вне города, за Сретенскими воротами, и вывести туда множество пушек из Кремля, чтобы 18 Маия представить Ляхам и Россиянам любопытное зрелище приступа, если не кровопролитного, то громозвучного, коему надлежало заключиться пиршеством общенародным. Марина также замышляла особенное увеселение для Царя и людей ближних во внутренних комнатах дворца: думала с своими Польшками плясать в личинах. Но Россияне уже не хотели ждать ни той, ни другой потехи.

Если Шуйский отложил удар до свадьбы Отрепьева с намерением дать ему время еще более возмутить сердца своим легкомыслием, то сие предвидение исполнилось: новые соблазны для церкви, двора и народа умножили ненависть и презрение к Самозванцу, а наглость Ляхов все довершила, так что им обязанный счастьем, он их же содействием и погибнул! Сии гости и

друзья его услуживали хитрому Шуйскому, истощая терпение Россиян, столь мало ими уважаемых (как мы видели), что Мнишек нескромно обещал Боярам свою *милость*, и Посол Королевский дерзнул торжественно назвать Лжедмитрия творением Сигизмундовым. На самых пирах свадебных, во дворце, разгоряченные вином Ляхи укоряли Воевод наших трусостью и малодушием, хваляся: «мы дали вам Царя!» Но Россияне, сколь ни униженные, сколь ни виновные пред отечеством и добродетелию, еще имели гордость народную; кипели злобою, но удерживались и шептали друг другу: «час мести недалеко!» Сего мало: воины Польские и даже чиновнейшие Ляхи, нетрезвые возвращаясь из дворца с обнаженными саблями, на улицах рубили Москвитян, бесчестили жен и девиц, самых благородных, силою извлекая их из колесниц или вламываясь в дома; мужья, матери вопили, требовали суда. Одного Ляха-преступника хотели казнить, но товарищи освободили его, умертвив палача и не страшась закона.

Так было – и на беззаконие восстало беззаконие. Мы удивлялись легкому торжеству Самозванца: теперь удивимся его легкому падению. В то время, как он беспечно тешился и плясал с своими Ляхами – когда головы кружились от веселия и мысли затмевались парами вина – Шуйский, неусыпно наблюдая, решился уже не медлить, и в тишине ночи призвал к себе не только сообщников (из коих главными именуются Князь Василий Голицын и Боярин Иван Куракин) – не только друзей, клеветов, но и многих людей сторонних: Дворян Царских, чиновников военных и градских, Сотников, Пятидесятников, которые еще не были в заговоре, благоприятствуя оному единственно в тайне мыслей. Шуйский смело открыл им свою душу; сказал, что отечество и Вера гибнут от Лжедмитрия; извинял заблуждение Россиян; извинял и тех, которые знали истину, но приняли обманщика, желая низвергнуть ненавистных Годуновых, и в надежде, что сей юный витязь, хотя и расстрига, будет добрым властителем. «Заблуждение скоро исчезло, – продолжал он, – и вы знаете, кто первый дерзнул обличать Самозванца; но голова моя лежала на плахе, а злодей спокойно величался на престоле: Москва не тронулась!» Шуйский извинял и сие бездействие: ибо многие еще не имели тогда полного удостоверения в обмане и в злодействе мнимого Дмитрия. Представив все улики и доказательства его самозванства, все его дела неистовые, измену Вере, Государству и нашим обычаям, нравственность гнусную, осквернение храмов и святых обителей, расхищение древней казны Царской, беззаконное супружество и возложение венца Мономахова на Польшку *некрещеную* – изобразив сетование Москвы, как бы плененной сонмами Ляхов, – их дерзость и насилия – Шуйский спрашивал, хотят ли Россияне, сложив руки, ждать гибели неминуемой: видеть костелы Римские на месте церквей Православных, границу Литовскую под стенами Москвы, и в самых стенах ее злое господство иноземцев? или хотят дружным восстанием спасти Россию и церковь, для коих он снова готов идти на смерть без ужаса? Не было ни разгласия, ни безмолвия сомнительного: кто не принадлежал, тот пристал к заговору в сем сборище многочисленном, но единодушном силою ненависти к Самозванцу. Положили *избыть* расстригу и Ляхов, не боясь ни клятвопреступления, ни безначалия: ибо Шуйский и друзья его, овладев умами, смело брали на свою душу, именем отечества, Веры, Духовенства, все затруднения людей совестных и смело обещали России Царя лучшего. Условились в главных мерах. Градские Сотники и Пятидесятники ответствовали за народ, воинские чиновники за воинов, господа за слуг усердных. Богатые Шуйские имели в своем распоряжении несколько тысяч надежных людей, призванных ими в Москву из их собственных владений, будто бы для того, чтобы они видели пышность Царской свадьбы. Назначили день и час; ждали, готовились – и хотя не было *прямых* доносов (ибо доносчики страшились, кажется, быть жертвою народной злобы): но какая скромность могла утаить движения заговора, столь многочисленного?

12 Мая говорили торжественно, на площадях, что мнимый Дмитрий есть Царь *поганный*, не чтит святых икон, не любит набожности, питается гнусными яствами, ходит в церковь нечистый, прямо с ложа скверного, и еще ни однажды не мылся в бане с своею *поганою* Царицею; что он без сомнения еретик, и не крови Царской. Лжедмитриевы телохранители схватили одного из таких поносителей и привели во дворец: расстрига велел Боярам допросить его; но Бояре сказали, что сей человек пьян и бредит; что Царю не должно уважать речей безумных и слушать Немцев-наушников. Самозванец успокоился. В следующие три дня приметно было сильно движение в народе: разглашали, что Лжедмитрий для своей безопасности мыслит изгубить Бояр, знатнейших чиновников и граждан; что 18 Мая, в час мнимой воинской потехи вне Москвы, на лугу Сретенском, их всех перестреляют из пушек; что столица Российская будет добычею Ляхов, коим Самозванец отдаст не только все дома Боярские, Дворянские и купеческие, но и Святые Обители, выгнав оттуда Иноков и женив их на Инокинях.

Москвитяне верили; толпились на улицах днем и ночью; советовались друг с другом и не давали подслушивать себя иноземцам, отгоняя их как лазутчиков, грозя им словами и взорами. Были и драки: уже не спуская гостям буйным, народ прибил людей Князя Вишневецкого и едва не вломился в его дом, изъявляя особенную ненависть к сему Пану, старшему из друзей расстригиных. Немцы остерегали Лжедимитрия и Ляхов; остерегал первого и Басманов, один из Россиян! Но Самозванец, желая более всего казаться неустрашимым и твердым на троне в глазах Поляков, шутил, смеялся, искренно или притворно, и сказал испуганному Воеводе Сендомирскому: «как вы, Ляхи, малодушны!», а Послам Сигизмундовым: «я держу в руке Москву и Государство; ничто не смеет двинуться без моей воли». В полночь, с 15 на 16 Мая, схватили в Кремле шесть человек подозрительных; пытали их как лазутчиков, ничего не свести, и Лжедимитрий не считал за нужное усилить стражу во дворце, где находилось обыкновенно 50 телохранителей: он велел другим быть дома в готовности на всякий случай; велел еще расставить стрельцов по улицам для охранения Ляхов, чтобы успокоить тестя, докучавшего ему и Марине своею боязнию. — 16 мая иноземцы уже не могли купить в гостинном дворе ни фунта порошу и никакого оружия: все лавки были для них заперты. Ночью, накануне решительного дня, вкралось в Москву с разных сторон до 18 тысяч воинов, которые стояли в поле, верстах в шести от города, и должны были идти в Елец, но присоединились к заговорщикам. Уже дружины Шуйского в сию ночь овладели двенадцатью воротами Московскими, никого не пуская в столицу, ни из столицы; а Лжедимитрий еще ничего не знал, увеселяясь в своих комнатах музыкою. Самые Поляки, хотя и не чуждые опасения, мирно спали в домах, уже *ознаменованных* для кровавой мести: Россияне скрытно поставили знаки на оных, в цель удара. Некоторые из панов имели собственную стражу, другие надеялись на Царскую: но стрельцы, их хранители, или сами были в заговоре или не думали кровию Русскою спасать иноплеменников противных. Ночь миновалась без сна для большей части Москвитян: ибо градские чиновники ходили по дворам с тайным приказом, чтобы все жители были готовы стать грудью за церковь и Царство, ополчились и ждали набата. Многие знали, многие и не знали, чему быть надлежало, но угадывали и с ревностью вооружались, чем могли, для великого и святого подвига, как им сказали. Сильнее, может быть, всего действовала в народе ненависть к Ляхам; действовал и стыд иметь Царем бродягу, и страх быть жертвою его безумия, и, наконец, самая прелесть бурного мятежа для страстей необузданных.

17 Мая, в четвертом часу дня, прекраснейшего из весенних, восходящее солнце осветило ужасную тревогу столицы: ударили в колокол сперва у Св. Илии, близ двора гостиного, и в одно время загредел набат в целой Москве, и жители устремились из домов на Красную площадь с копьями, мечами, самопалами, Дворяне, Дети Боярские, стрельцы, люди приказные и торговые, граждане и чернь. Там, близ лобного места, сидели Бояре на конях, в шлемах и латах, в полных доспехах, и представляя в лице своем отечество, ждали народа. Стеклося бесчисленное множество людей, и ворота Спасские растворились: Князь Василий Шуйский, держа в одной руке меч, в другой Распятие въехал в Кремль, сошел с коня, в храме Успения приложился к святой иконе Владимирской и, воскликнув к тысячам: «во имя Божие идите на злого еретика!» указал им дворец, куда с грозным шумом и криком уже неслись толпы, но где еще Царствовала глубокая тишина! Пробужденный звуком набата, Лжедимитрий в удивлении встает с ложа, спешит одеться, спрашивает о причине тревоги: ему отвечают, что, вероятно, горит Москва; по он слышит свирепый вопль народа, видит в окно лес копий и блистание мечей; зовет Басманова, ночевавшего во дворце, и велит ему узнать предлог мятежа. Сей Боярин, духа твердого, мог быть предателем, но только однажды: изменив Государю законному, уже стыдился изменить Самозванцу и, тщетно желав образумить, спасли легкомысленного, желал по крайней мере не разлучаться с ним в опасности. Басманов встретил толпу уже в сенях: на вопрос его, куда она стремится? в несколько голосов кричат: «веди нас к Самозванцу! выдай нам своего бродягу!» Басманов кинулся назад, захлопнул двери, велел телохранителям не пускать мятежников и, в отчаянии прибежав к расстриге, сказал ему: «Все кончилось! Москва бунтует; хотят головы твоей: спасайся! Ты мне не верил!» Вслед за ним ворвался в Царские покои один Дворянин безоружный, с голыми руками, требуя, чтобы мнимый сын Иоаннов шел к народу, дать отчет в своих беззакониях: Басманов рассек ему голову мечом. Сам Лжедимитрий, изъявляя смелость, выхватил бердыш у телохранителя Шварцгофа, растворил дверь в сени и, грозя народу, кричал: «Я вам не Годунов!» Ответом были выстрелы, и Немцы снова заперли дверь; но их было только 50 человек, и еще, во внутренних комнатах дворца, 20 или 30 Поляков, слуг и музыкантов: иных защитников, в сей грозный час, не имел тот, кому накануне повиновались миллионы! Но Лжедимитрий имел еще друга: не находя возможности противиться силе силою, в ту минуту,

когда народ отбивал двери, Басманов вторично вышел к нему – увидел Бояр в толпе, и между ими самых ближних людей расстригиных: Князей Голицыных, Михайла Салтыкова, старых и новых изменников; хотел их усостить; говорил об ужасе бунта, вероломства, безначалия; убеждал их одуматься; ручался за милость Царя. Но ему не дали говорить много: Михайло Татищев, им спасенный от ссылки, завопил: «злодей! иди в ад вместе с твоим Царем!» и ножом ударил его в сердце. Басманов испустил дух, и мертвый был сброшен с крыльца... судьба достойная изменника и ревностного слуги злодейства, но жалостная для человека, который мог и не захотел быть честию России!

Уже народ вломился во дворец, обезоружил телохранителей, искал расстриги и не находил: дотолпе смелый и неустрашимый, Самозванец, в смятении ужаса кинув свой меч, бегал из комнаты в комнату, рвал на себе волосы и, не видя иного спасения, выскочил из палат в окно на Житный двор – вывихнул себе ногу, разбил грудь, голову, и лежал в крови. Тут узнали его стрельцы, которые в сем месте были на страже и не участвовали в заговоре: они взяли расстригу, посадили на фундамент сломанного дворца Годуновского, отливали водою, изъясляли жалость. Самозванец, омывая теплою кровию развалины Борисовых чертогов (где жило некогда счастье, и также изменило своему любимцу), пришел в себя: молил стрельцов быть ему верными, обещал им богатство и чины. Уже стеклося вокруг их множество людей: хотели взять расстригу; но стрельцы не выдавали его и требовали свидетельства Царицы-Инокини, говоря: «если он сын ее, то мы умрем за него, а если Царица скажет, что он Лжедимитрий, то волен в Нем Бог». Сие условие было принято. Мнимая мать Самозванцева, вызванная Боярами, из келии, торжественно объявила народу, что истинный Димитрий скончался на руках ее в Угличе; что она, как жена слабая, действием угроз и лести была вовлечена в грех бессовестной лжи: неизвестного ей человека назвала сыном, раскаялась и молчала от страха, но тайно открывала истину многим людям. Призвали и родственников ее, Нагих: они сказали то же, вместе с нею виняся пред Богом и Россиею. Чтобы еще более удостоверить народ, Марфа показала ему изображение младенческого лица Димитриева, которое у нее хранилось и нимало не сходствовало с чертами лица расстригина.

Тогда стрельцы выдали обманщика, и Бояре велели нести его во дворец, где он увидел своих телохранителей под стражею: заплакал и протянул к ним руку, как бы благодаря их за верность. Один из сих Немцев, Ливонский Дворянин Фирстенберг, теснился сквозь толпу к Самозванцу и был жертвою озлобления Россиян: его умертвили; хотели умертвить и других телохранителей: но Бояре не велели трогать сих честных слуг – и в комнате, наполненной людьми вооруженными, стали допрашивать Лжедимитрия, покрытого бедным рубищем: ибо народ уже сорвал с него одежду Царскую. Шум и крик заглушали речи; слышали только, как уверяют, что расстрига на вопрос: «кто ты, злодей?» отвечал: «вы знаете: я – Димитрий» – и ссылался на Царицу-Инокиню; слышали, что Князь Иван Голицын возразил ему: «ее свидетельство уже нам известно: она предаст тебя казни». Слышали еще, что Самозванец говорил: «несите меня на лобное место: там объявлю истину всем людям». Нетерпеливый народ ломился в дверь, спрашивая, винится ли злодей? Ему сказали, что винится – и два выстрела прекратили допрос вместе с жизнью Отрепьева (его убили Дворяне Иван Воейков и Григорий Волуев). Толпа бросилась терзать мертвого; секли мечами, кололи труп бездушный и кинули с крыльца на тело Басманова, восклицая: «будьте неразлучны и в аде! вы здесь любили друг друга!» Яростная чернь схватила, извлекла сии нагие трупы из Кремля и положила близ лобного места: расстригу на столе, с маскою, дудкою и волынкою, в знак любви его к скоморошеству и музыке; а Басманова на скамье, у ног расстригиных.

Совершив главное дело, истребив Лжедимитрия, Бояре спасли Марину. Изумленная тревогою и шумом – не имев времени одеться – спрашивая, что делается и где Царь? слыша наконец о смерти мужа, она в беспамятстве выбежала в сени: народ встретил ее, не узнал и столкнул с лестницы. Марина возвратилась в свои комнаты, где была ее Польская Гофмейстерина с Шляхетками и где усердный слуга (именем Осмульский) стоял в дверях с обнаженною саблею: воины и граждане вломилась, умертвили его, и Марина лишилась бы жизни или чести, если бы не приспели Бояре, которые выгнали неистовых, и взяв, опечатав все достояние бывшей Царицы, дали ей стражу для безопасности; не могли однако ж или не хотели унять кровопролития: убийства только начинались!

Еще при первом звуке набата воины окружили дома Ляхов, заградили улицы рогатками, завалили ворота: а Паны беспечно и крепко спали, так что слуги едва могли разбудить их – и самого Воеводу Сендомирского, который лучше многих видел опасность и предостерегал зятя.

Мнишек, сын его, Князь Вишневецкий, Послы Сигизмундовы, угадывая вину и цель мятежа, спешили вооружить людей своих; иные прятались или в оцепенении ждали, что будет с ними, и скоро слышали вопль: «смерть Ляхам!» Пылая злобою, умертвив в Кремле музыкантов расстригиных, опустошив дом Иезуитов, истерзав Духовника Маринина, служившего Обедню, народ устремился в Китай и Белый город, где жили Поляки, и несколько часов плавал в крови их, алчно наслаждаясь ужасною местию, противною великодушию, если и заслуженною. Сила карала слабость, без жалости и без мужества: сто нападало на одного! Ни оборона, ни бегство, ни моления трогательные не спасали: Поляки не могли соединиться, будучи истребляемы в запертых домах или на улицах, прегражденных рогатками и копьями. Сии несчастные, накануне гордые, лобызали ноги Россиян, требовали милосердия именем Божиим, именем своих невинных жен и детей; отдавали все, что имели – клялися прислать и более из отечества: их не слушали и рубили. Иссеченные, обезображенные, полумертвые еще молили о бедных остатках жизни: напрасно! В числе самых жестоких карателей находились Священники и Монахи переодетые; они вопили: «губите ненавистников нашей Веры!» Лилася и кровь Россиян: отчаяние вооружало убиваемых, и губители падали вместе с жертвами. Не тронув жилища Послов Сигизмундовых, народ приступал к домам Мнишковых и Князя Вишневецкого, коих люди защищались и стреляли в толпы из окон: уже Москвитяне везли пушки, чтобы разбить сии дома в щепы и не оставить в них ни одного человека живого; но тут явились Бояре и велели прекратить убийства. Мстиславский, Шуйские скакали из улицы в улицу, обуздывая, усмиряя народ и всюду рассылая стрельцов для спасения Ляхов, обезоруженных честным словом Боярским, что жизнь их уже в безопасности. Сам Князь Василий Шуйский успокоил и спас Вишневецкого, другие Мнишка. Именем Государственной Думы сказали Послам Сигизмундовым, что Лжедимитрий, обманув Литву и Россию, но скоро изобличив себя делами неистовыми, казнен Богом и народом, который в самом беспорядке и смятении уважил священный сан мужей, представляющих лицо своего Монарха, и мстил единственно их наглым единоплеменникам, приехавшим злодействовать в Россию. Сказали Воеводе Сендомирскому: «Судьба Царств зависит от Всевышнего, и ничто не бывает без его определения: так и в сей день совершилась воля Божия: кончилось Царство бродяги, и добыча исторгнута из рук хищника! Ты, его опекун и наставник – ты, который привел обманщика к нам, чтобы возмутить Россию мирную – не достоин ли такой же казни? Но хвалился счастьем: ты жив, и будешь цел; дочь твоя спасена – благодари Небо!» Ему позволили видиться с Мариною во дворце, и без свидетелей: не нужно было знать, что они могли сказать друг другу в своем злополучии! Воевода Сендомирский шел к ней и назад сквозь ряды мечей и копий, обагренных кровию его соотечественников; но Москвитяне смотрели на него уже более с любопытством, нежели с яростию: победа укротила злобу.

Еще смятение продолжалось несколько времени; еще из слобод городских и ближних деревень стремилось множество людей с дрекольем в Москву на звук колоколов; еще грабили имение Литовское, но уже без кровопролития. Бояре не сходили с коней и повелевали с твердостью; дружины воинские разгоняли чернь, везде охраняя Ляхов как пленников. Наконец, в 11 часов утра, все затихло. Велели народу смириться, и народ, утомленный мятежом, спешил домой отдыхать и говорить в семействах о чрезвычайных происшествиях сего дня, незабвенного для тех, которые были свидетелями его ужасов: «в течение семи часов, пишут они, мы не слышали ничего, кроме набата, стрельбы, стука мечей и крика: *секи, руби злодеев!* не видали ничего, кроме волнения, бегания, скакания, смертоубийства и мятежа». Число жертв простиралось за тысячу, кроме избитых и раненых; но знатнейшие Ляхи остались живы, многие в рубашках и на соломе. Чернь ошибкою умертвила и некоторых Россиян, носивших одежду Польскую в угодность Самозванцу. Немцев щадили; ограбили только купцов Аугсбургских, вместе с Миланскими и другими, которые жили в одной улице с Ляхами. Сей для человечества горестный день был бы еще несравненно ужаснее, по сказанию очевидцев, если бы Ляхи остереглись, успели соединиться для отчаянной битвы и зажгли город, к несчастию Москвы и собственному: ибо никто из них не избавился бы тогда от мести Россиян; следственно беспечность Ляхов уменьшила бедствие.

До самого вечера Москвитяне ликовали в домах или мирно сходились на улицах поздравлять друг друга с избавлением России от Самозванца и Поляков, хвалились своею доблестью и «не думали» (говорит Летописец) «благодарить Всевышнего: храмы были затворены!» Радуюсь настоящему, не тревожились о будущем – и после такого бурного дня настала ночь совершенно тихая: казалось, что Москва вдруг опустела; нигде не слышно было голоса человеческого: одни любопытные иноземцы выходили из домов, чтобы удивляться сей

мертвой тишине города многолюдного, где за несколько часов пред тем все кипело яростным бунтом. Еще улицы дымились кровию, и тела лежали грудями; а народ покоился как бы среди глубокого мира и непрерывного благоденствия – не имея Царя, не зная наследника – опять нав себя двукратною изменою и будущему Венценосцу угрожая третьею!

Но в сем безмолвии бодрствовало властолюбие с своими обольщениями и кознями, устремляя алчный взор на добычу мятежа и смертоубийства: на венец и скипетр, обагренные кровию двух последних Царей. Легко было предвидеть, кто возьмет сию добычу, силою и правом. Смелейший обличитель Самозванца, чудесно спасенный от казни и еще бесстрашный в новом усилии низвергнуть его: виновник, Герой, глава народного восстания, Князь от племени Рюрика, Св. Владимира, Мономаха, Александра Невского; второй Боярин местом в Думе, первый любовью Москвитян и достоинствами личными, Василий Шуйский мог ли еще остаться простым Царедворцем и после *такой* отваги, с *такою* знаменитостию, начать новую службу лести пред каким-нибудь новым Годуновым? Но Годунова не было между тогдашними Вельможами. Старейший из них, Князь Федор Мстиславский, отличаясь добродушием, честностию, мужеством, еще более отличался смирением или благоразумием; не хотел слышать о державном сане и говорил друзьям: «если меня изберут в Цари, то немедленно пойду в Монахи». Сказание некоторых чужеземных Историков, что Боярин Князь Иван Голицын, имея многих знатных родственников и величась своим происхождением от Гедимина Литовского, вместе с Шуйским искал короны, едва ли достойно вероятия, будучи несогласно с известиями очевидцев. Сообщник Басманова, коего обнаженное тело в спи часы лежало на площади, загладил ли измену изменою, предав юного Феодора, предав и Лжедмитрия? Не равняясь ни сановитостию, ни заслугами, мог ли равняться и числом усердных клеветов с тем, кто без имени Царя уже начальствовал в день решительный для отечества, вел Москву и победил с нею? Имея силу, имея право, Шуйский употребил и всевозможные хитрости: дал наставления друзьям и приверженникам, что говорить в Синклите и на лобном месте, как действовать и править умами; сам изготовился, и в следующее утро, собрав Думу, произнес, как уверяют, речь весьма умную и лукавую: славил милость Божию к России, возвеличенной самодержцами варяжского племени; славил особенно разум и завоевания Иоанна IV, хотя и жестокого; хвалился своею блестящею службою и важною Государственною опытностию, приобретенною им в сие деятельное Царствование; изобразил слабость Иоаннова наследника, злое властолюбие Годунова, все бедствия его времени и ненависть народную к святоубийце, которая была виною успехов Лжедмитрия и принудила Бояр следовать общему движению. «Но мы, – говорил Шуйский, – загладили сию слабость, когда настал час умереть или спасти Россию. Жалею, что я, предупредив других в смелости, обязан жизнью Самозванцу: он не имел права, но мог умертвить меня, и помиловал, как разбойник милует иногда странника. Признаюсь, что я колебался, боясь упрека в неблагодарности; но глас совести, Веры, отечества, вооружил мою руку, когда я увидел в вас ревность к великому подвигу. Дело наше есть правое, необходимое, святое; оно, к несчастью, требовало крови: но Бог благословил нас успехом – следственно оно ему угодно!.. Теперь, избыв злодея, еретика, чернокнижника, должны мы думать об избрании достойного властителя. Уже нет племени Царского, но есть Россия: в ней можем снова найти угасшее на престоле. Мы должны искать мужа знаменитого родом, усердного к Вере и к нашим древним обычаям, добродетельного, опытного, следственно уже не юного – человека, который, прияв венец и скипетр, любил бы не роскошь и пышность, но умеренность и правду, ограждал бы себя не копьями и крепостями, но любовью подданных; не умножал бы золота в казне своей, но избыток и довольствие народа считал бы собственным богатством. Вы скажете, что такого человека найти трудно: знаю; но добрый гражданин обязан желать совершенства, по крайней мере возможного, в Государе!»

Все знали, видели, чего хотел Шуйский: никто не дерзал явно противиться его желанию; однако ж многие мыслили и говорили, что без Великой Земской думы нельзя приступить к делу столь важному; что должно собрать в Москве чины Государственные из всех областей Российских, как было при избрании Годунова, и с ними решить, кому отдать Царство. Сие мнение было основательно и справедливо: вероятно, что и вся Россия избрала бы Шуйского; но он не имел терпения и друзья его возражали, что время дорого; что Правительство без Царя как без души, а столица в смятении; что надобно предупредить и всеобщее смятение России Немедленным вручением скиптра достойнейшему из Вельмож; что где Москва, там и Государство: что нет нужды в Совете, когда все глаза обращены на одного, когда у всех на языке одно имя... Сим именем огласилась вдруг и Дума и Красная площадь. Не все избирали, но никто не отвергал избираемого – и 19 Мая, во втором часу дня, звук литавр, труб и колоколов

возвестил нового Монарха столице. Бояре и знатнейшее Дворянство вывели Князя Василия Шуйского из Кремля на лобное место, где люди воинские и граждане, гости и купцы, особенно к нему усердные, приветствовали его уже как отца России... там, где еще недавно лежала голова Шуйского на плахе и где в сей час лежало окровавленное тело расстригино! Подобно Годунову изъясняя скромность, он хотел, чтобы Синклит и Духовенство прежде всего избрали Архипастыря для Церкви, на место лжесвятителя Игнатия. Толпы восклицали: «Государь нужнее Патриарха для отечества!» и проводили Шуйского в храм Успения, в коем Митрополиты и Епископы ожидали и благословили его на Царство. Все сделалось так скоро и спешно, что не только Россияне иных областей, но и многие именитые Москвитяне не участвовали в сем избрании – обстоятельство несчастное: ибо оно служило предлогом для измен и смячений, которые ожидали Шуйского на престоле, к новому стыду и бедствию отечества!

В день Государственного торжества едва успели очистить столицу от крови и трупов: вывезли, схоронили их за городом. Труп Басманова отдали родственникам для погребения у церкви Николы Мокрого, где лежал его сын, умерший в юности. Тело Самозванца, быв три дня предметом любопытства и ругательств на площади, было также вывезено и схоронено в убогом доме, за Серпуховскими воротами, близ большой дороги. Но Судьба не дала ему мирного убежища и в недрах земли. С 18 по 25 Мая были тогда жестокие морозы, вредные для садов и полей: суеверие приписывало такую чрезвычайность волшебству расстриги и видело какие-то ужасные явления над его могилою: чтобы пресечь сию молву, тело мнимого чародея вынули из земли, сожгли на Котлах и, смешав пепел с порохом, выстрелили им из пушки в ту сторону, откуда Самозванец пришел в Москву с великолепием! Ветер развеял бранные остатки злодея; но пример остался: увидим следствия!

Описав историю сего первого Лжедмитрия, должны ли мы еще уверять *внимательных* читателей в его обмане? Не явна ли для них истина сама собою в изображении случаев и деяний? Только пристрастные иноземцы, ревностно служив обманщику, ненавидя его истребителей и желая очернить их, писали, что в Москве убит действительный сын Иоаннов, не бродяга, а Царь законный, – хотя Россияне, казнив и бродягу, не могли хвалиться своим делом, соединенным с нарушением присяги: ибо святость ее нужна для целостности гражданских обществ, и вероломство есть всегда преступление. Недовольные укоризною справедливою, зложелатели России выдумали басню, украсили ее любопытными обстоятельствами, подкрепили доводами благовидными, в пищу умам наклонным к *историческому вольнодумству*, к сомнению в несомнительном, так что и в наше время есть люди, для коих важный вопрос о Самозванце остается еще нерешенным. Может быть, представив все главные черты истины в связи, мы дадим им более силы, если не для совершенного убеждения *всех* читателей, то по крайней мере для нашего собственного оправдания, чтобы они не укоряли нас слепою верою к принятому в России мнению, основанному будто бы на доказательствах слабых.

Выслушаем защитников Лжедмитриевой памяти. Они рассказывают следующее: «Годунов, предприняв умертвить Дмитрия, за тайну объявил свое намерение Царевичу медику, старому Немцу, именем Симону, который, притворно дав слово участвовать в сем злодействе, спросил у девятилетнего Дмитрия, имеет ли он столько душевной силы, чтобы снести изгнание, бедствие и нищету, если Богу угодно будет искусить оными твердость его? Царевич отвечив: *имею*, а медик сказал: *В сию ночь хотят тебя умертвить. Ложась спать, обменяйся бельем с юным слугою, твоим ровесником; положи его к себе на ложе и скройся за печь: что бы ни случилось в комнате, сиди безмолвно и жди меня*. Дмитрий исполнил предписание. В полночь отворилась дверь: вошли два человека, зарезали слугу вместо Царевича и бежали. На рассвете увидели кровь и мертвого: думали, что убит Царевич, и сказали о том матери. Сделалась тревога. Царица кинулась на труп и в отчаянии не узнала, что сей мертвый отрок не сын ее. Дворец наполнился людьми: искали убийц; резали виновных и невинных; отнесли тело в церковь, и все разошлись. Дворец опустел, и медик в сумерки вывел оттуда Дмитрия, чтобы спастись бегством в Украину, к Князю Ивану Мстиславскому, который жил там в ссылке еще со времен Иоанновых. Чрез несколько лет доктор и Мстиславский умерли, дав совет Дмитрию искать безопасности в Литве. Сей юноша пристал к странствующим Инокам; был с ними в Москве, в земле Волошской, и наконец явился в доме Князя Вишневецкого». Известно, что и сам расстрига приписывал свое чудесное спасение доктору; но сочинители сей басни не знали, что Князь Иван Мстиславский умер Иноком Кирилловской обители еще в 1586 году, и что Иоанн никогда не ссылал его в Украину. Другие изобретатели называют медика-спасителя Августинном, прибавляя, что он был из числа многих людей ученых, которые жили

тогда в Угличе, и бежал с Царевичем к Ледовитому морю, в пустынную обитель. Еще другие пишут, что сама Царица, угадывая злое намерение Борисово, с помощью своего иноземного Дворецкого (родом из Кельна), тайно удалила Дмитрия и в его место взяла иерейского сына. Все такие сказки основаны на предположении, что убийство совершилось ночью, когда злодеи могли не распознать жертвы: и в сем случае вероятно ли, чтобы слуги Царицыны (не говорим об ней самой) и жители Углича, нередко выдав Дмитрия в церкви, обманулись в убитом, коего тело пять дней лежало пред их глазами? Но Царевич убит в полдень: кем? злодеями, которые жили во дворце и не спускали глаз с несчастного младенца... и кто предал его на убиение? мамка: от колыбели до могилы Дмитрий был в руках у Годунова: сии обстоятельства ясно, несомненно утверждены свидетельством летописцев и допросами целого Углича, сохранными в нашем Государственном Архиве.

Если расстрига не был самозванец, то для чего же он, сев на престоле, не удовлетворил народному любопытству знать все подробности его судьбы чрезвычайной? для чего не объявил России о местах своего убежища, о своих воспитателях и хранителях в течение двенадцати или тринадцати лет, чтобы разрешить всякое сомнение? Никакою беспечною невозможно изъяснить столь важного упущения. Манифесты, или грамоты, Лжедмитриевы внесены в летописи, и даже подлинники их целы в Архивах: следственно нельзя с вероятностию предположить, чтобы именно любопытнейшую из сих бумаг истребило время. Бродяга молчал, ибо не имел свидетельств *истинных*, и думал что, признанный Царем, безопасно может не трудить себя вымыслом *ложных*. В Литве говорил он, что в спасении его участвовали некоторые Вельможи и Дьяки Щелкаловы: сии Вельможи остались без известной награды и неизвестными для России; а Василий Щелкалов, вместе с другими опальными Борисова Царствования, хотя и снова явился у двора, однако ж не в числе ближних и первых людей. Расстригу окружали не старые, верные слуги его юности, а только новые изменники: от чего и пал он с такою легкостью!

«Но Царица-Инокиня Марфа признала сына в том, кто назывался Дмитрием?» Она же признала его и самозванцем: первым свидетельством, безмолвным, неоткровенным, выраженным для народа только слезами умиления и ласками к расстриге, невольная Монахиня возвращала себе достоинство Царицы; вторым, торжественным, клятвенным, в случае лжи мать предавала сына злой смерти: которое же из двух достовернее? и что понятнее, обыкновенная ли слабость человеческая или действие ужасное, столь неестественное для горячности родительской? Геройство знаменитой жены Лигурийской, которая, скрыв сына от ярости неприятелей, на вопрос, где он? сказала: *здесь, в моей утробе*, и погибла в муках, не объявив его убежища – сие геройство, прославленное Римским Историком, трогает, но не изумляет нас: видим мать! Не удивились бы мы также, если бы и Царица-Инокиня, спасая истинного Дмитрия, кинулась на копья Москвитян с восклицанием: *он сын мой!* И ей не грозили бы смертью за правду: грозили единственно судом Божиим за ложь. – Слово Царицы решило жребий того, кто чтит ее как истинную мать и делился с нею величием. Осуждая Лжедмитрия на смерть, Марфа осуждала и себя на стыд вечный, как участницу обмана – и не усомнилась: ибо имела еще совесть и терзалась раскаянием. Сколько людей слабых не впало бы в искушение зла, если бы они могли предвидеть, чего стоит всякое беззаконие для сердца! – Заметим еще обстоятельство достойное внимания: Шуйский искал гибели Лжедмитрия и был спасен от казни неотступным молением Царицы-Инокини, с явною опасностью для ее мнимого сына, изобличаемого им в самозванстве: клеветник, изменник мог ли бы иметь право на такое ревностное заступление? Но спасение Героя истины умирало совесть виновной Марфы. К сему прибавим вероятное сказание одного писателя иноземного (находившегося тогда в Москве), что расстрига велел было извергнуть тело Дмитриево из Углицкого Соборного храма и погребсти в другом месте, как тело мнимого Иерейского сына, но что Царица-Инокиня не дозволила ему сделать того, ужасаясь мысли отнять у мертвого, истинного ее сына Царскую могилу.

Возражают еще: «Король Сигизмунд не взял бы столь живого участия в судьбе обманщика, и Вельможа Мнишек не выдал бы дочери за бродягу»; но Король и Мнишек могли быть левоверны в случае обольстительном для их страстей: Сигизмунд надеялся дать Россиянам Царя-Католика, взысканного его милостию, а Воевода Сендомирский видеть дочь на престоле Московском. И кто знает, что они действительно не сомневались в высоком роде беглеца? Удача была для них важнее правды. Король не дерзнул *торжественно* признать Лжедмитрия истинным до его решительного успеха, и Воевода Сендомирский, сделав только опыт, пожертвовав частию своего богатства надежде величия, оставил будущего зятя, когда увидел

сопротивление Россиян. Сигизмунд и Мнишек обманулись, может быть, не во мнении о правах, но единственно во мнении о счастии или благоразумии Самозванца, думав, что он удержит на голове венец, данный ему изменою и заблуждением: для того Король спешил громогласно объявить себя виновником расстригина державства, и Пан Вельможный быть тестем Царя, хотя бы и племени Отрепьевых. Похитителями в их силе и благоденствии гнушаются не страсти мирские, но только чистая совесть и добродетель уединенная.

Убедительнее ли и суждение тех друзей Лжедмитрия, которые говорят: «войско, Бояре, Москва, не приняли бы его в Цари без сильных доказательств, что он сын Иоаннов?» Но войско, Бояре, Москва и свергнули его как уличенного самозванца: для чего верить им в первом случае и не верить в последнем? В обоих конечно действовало удостоверение, основанное на доказательствах; но люди и народы всегда могли ошибаться, как свидетельствует история... и самого Лжедмитрия!

Напомним читателям, что знаменитейший из клеветов и единственный верный друг расстриги в беседах искренних не скрывал его самозванства: такое важное признание слышал и сообщил потомству Немецкий Пастор Бер, который любил, усердно славил Лжедмитрия и клял Россиян за убийство Царя, хотя и не сына Иоаннова. Сей же очевидец тогдашних деяний предал нам следующие, не менее достопамятные свидетельства истины:

«1) Голландский аптекарь Аренд Клаузенд, быв 40 лет в России, служив Иоанну, Феодору, Годунову, Самозванцу и лично знав, ежедневно выдав Дмитрия во младенчестве, сказывал мне утвердительно, что мнимый Царь Дмитрий есть совсем другой человек и не походит на истинного, имевшего смуглое лицо и все черты матери, с которою Самозванец нимало не сходил. – 2) В том же уверяла меня Ливонская пленница, Дворянка Тизенгаузен, освобожденная в 1611 году, быв повивальною бабкою Царицы Марии, служив ей днем и ночью, не только в Москве, но и в Угличе – непрестанно выдав Дмитрия живого, видел и мертвого. – 3) Скоро по убийстве Лжедмитрия выехал я из Москвы в Углич и, разговаривая там с одним маститым старцем, бывшим слугою при дворе Марии, заклинал его объявить мне истину о Царе убитом. Он встал, перекрестился и так ответствовал: *Москвитяне клялися ему в верности и нарушили клятву: не хвалю их. Убит человек разумный и храбрый, но не сын Иоаннов, действительно зарезанный в Угличе: я видел его мертвого, лежащего на том месте, где он всегда игрывал. Бог судия Князьям и Боярам нашим: время покажет, будем ли счастливые*».

В заключение упомянем о свидетельстве известного Шведа Петрея, который был Посланником в Москве от Карла IX и Густава Адольфа, лично знал Самозванца и пишет, что он казался человеком лет за тридцать; а Дмитрий родился в 1582 году и следственно имел бы тогда не более двадцати четырех лет от рождения.

Одним словом, несомнительные, исторические и нравственные доказательства убеждают нас в истине, что мнимый Дмитрий был самозванец. Но представляется другой вопрос: кто же именно? Действительно ли расстрига Отрепьев? Многие иноземцы-современники не хотели верить, чтобы беглый Инок Чудовской обители мог сделаться вдруг мужественным витязем, неустрашимым бойцом, искусным всадником, и многие считали его Поляком или Трансильванцем, незаконным сыном Героя Батория, воспитанником Иезуитов, утверждаясь на мнении некоторых знатных Ляхов, и прибавляя, что он нечисто говорил языком Русским: мнение явно несправедливое, когда современные донесения Иезуитов к их начальству свидетельствуют, что они узнали его в Литве уже под именем Дмитрия, и не Католиком, а сыном Греческой Церкви. Никто из Россиян не упрекал Самозванца худым знанием языка нашего, коим он владел совершенно, говорил правильно, писал с легкостью, и не уступал никакому Дьяку тогдашнего времени в красивом изображении букв. Имея несколько подписей Самозванцевых, видим в Латинских слабую, неверную руку ученика, а в Русских твердую, мастерскую, кудрявый почерк грамотея приказного, каков был Отрепьев, Книжник Патриарший. Возражение, что келии не производят витязей, уничтожается историею его юности: одеваясь Иноком, не вел ли он жизни смелого дикаря, скитаясь из пустыни в пустыню, учась бесстрашию, не боясь в дремучих лесах ни зверей, ни разбойников, и наконец быв сам разбойником под хоругвию Козаков Днепровских? Если некоторые из людей, ослепленных личным к Нему пристрастием, находили в Лжедмитрии какое-то *величие*, необыкновенное для человека, рожденного в низком состоянии, то другие хладнокровнейшие наблюдатели видели в Нем все признаки закоснелой подлости, не изглаженные ни обхождением с знатными Ляхами, ни счастьем нравиться Мнишковой дочери. С умом естественным, легким, живым и быстрым, даром слова, знаниями школьника и грамотея соединяя редкую дерзость, силу души и воли, Самозванец был однако ж худым лицедеем на

престоле, не только без основательных сведений в государственной Науке, но и без всякой сановитости благородной: сквозь великолепие державства проглядывал в Царе бродяга. Так судили о нем и Поляки беспристрастные. – Доселе мы могли затрудняться одним важным свидетельством: известный в Европе Капитан Маржерет, усердно служив Борису и Самозванцу, видел людей и происшествия собственными глазами, уверял Генрика IV, знаменитого Историка де-Ту и читателей своей книги о Московской Державе, что Григорий Отрепьев был не Лжедмитрий, а совсем другой человек, который с ним (Самозванцем) ушел в Литву и с ним же возвратился в Россию, вел себя непристойно, пьянствовал, употреблял во зло благосклонность его, и сосланный им за то в Ярославль, дожил там до воцарения Шуйского. Ныне, отыскав новые современные предания исторические, изъясняем Маржеретово сказание обманом Монаха Леонида, который назвался именем Отрепьева для уверения Россиян, что Самозванец не Отрепьев. Царь Годунов имел способы открыть истину: тысячи лазутчиков ревностно служили ему не только в России, но и в Литве, когда он разведывал о происхождении обманщика. Вероятно ли, чтобы в случае столь важном Борис легкомысленно, без удостоверения, объявил Лжедмитрия беглецом Чудовским, коего многие люди знали в столице и в других местах, следственно узнали бы и неправду при первом взоре на Самозванца? Наконец Москвитяне видели Лжедмитрия, живого, мертвого, и все еще утвердительно признавали Диакonom Григорием; ни один голос сомнения не раздался в потомстве до нашего времени.

Сего довольно. Приступаем к описанию дальнейших бедствий России, не менее чрезвычайных, не менее оскорбительных для ее чести, но уже подобных мрачному сновидению, – уже только любовных для народа, коему Небо судило временным уничижением достигнуть величия и который достиг оно, загладив память слабости великодушным напряжением сил и память стыда необыкновенною славою.

Том XII

Глава I. Царствование Василия Иоанновича Шуйского. Г. 1606–1610

Род Василиев. Свойства нового Царя. Клятва Василиева. Обнародованные грамоты. Венчание. Опапы. Неудовольствия. Пренесение Димитриева тела. Новый Патриарх. Гордость Марины. Речь Послов Литовских. Посольство к Сигизмунду. Сношение с Европою и с Азиею. Мятежи в Москве. Бунт Шаховского. Второй Лжедмитрий. Болотников. Успехи мятежников. Прокопий Ляпунов. Пренесение тела Борисова. Мятежники под Москвою. Победа Скопина-Шуйского. Лжепетр. Осада Калуги. Годуновы в Сибири. Распоряжения Василиевы. Призвание Иова. Храбрость Болотникова. Победа Романова. Мужество Скопина. Бодрость Василия в несчастиях. Доблесть Воевод Царских. Осада Тулы. Явление нового Лжедмитрия. Взятие Тулы. Брак Василиев. Законы. Устав воинский.

Василий Иоаннович Шуйский, происходя в осьмом колене от Димитрия Суздальского, спорившего с Донским о Великом Княжестве, был внуком ненавистного Олигарха Андрея Шуйского, казненного во время Иоанновой юности, и сыном Боярина-воеводы, убитого Шведами в 1573 году под стенами Лоды.

Если всякого Венценосца *избранного* судят с большею строгостию, нежели Венценосца наследственного; если от первого требуют обыкновенно качеств редких, чтобы повиноваться ему охотно, с усердием и без зависти, то какие достоинства, для царствования мирного и непрекословного, надлежало иметь новому Самодержцу России, возведенному на трон более сонмом клеветников, нежели отечеством единомушным, вследствие измен, злодейств, буйности и разврата? Василий, льстивый Царедворец Иоаннов, сперва явный неприятель, а после бессовестный угодник и все еще тайный зложелатель Борисов, достигнув венца успехом кова, мог быть только вторым Годуновым: лицемером, а не Героем Добродетели, которая бывает главною силою и властителей и народов в опасностях чрезвычайных. Борис, воцаряясь, имел выгоду: Россия уже давно и счастливо ему повиновалась, еще не зная примеров в крамольстве; Но Василий имел другую выгоду: не был святоубийцею; обгаренный единственно кровию ненавистною и заслужив удивление Россиян делом белестящим, оказав в низложении Самозванца и хитрость и неустрашимость, всегда пленительную для народа. Чья судьба в Истории равняется с судьбою Шуйского? Кто с места казни восходил на трон и знаки жестокой пытки прикрывал на себе хламидою Царскою? Сие воспоминание не вредило, но способствовало общему благорасположению к Василию: он страдал за отечество и Веру! Без сомнения уступая Борису в великих дарованиях государственных, Шуйский славился однако ж разумом мужа думного и сведениями книжными, столь удивительными для тогдашних суеверов, что его считали волхвом; с наружностью невыгодною (будучи роста малого, толст, несановит и лицом смугл; имея взор суровый, глаза красноватые и подслепые, рот широкий), даже с качествами вообще нелюбезными, с холодным сердцем и чрезмерною скупостию, умел, как Вельможа, снискать любовь граждан честною жизнью, ревностным наблюдением старых обычаев, доступностию, ласковым обхождением. Престол явил для современников слабость в Шуйском: зависимость от внушений, склонность и к легковерию, коего желает зломыслие, и к недоверчивости, которая охлаждает усердие. Но престол же явил для потомства и чрезвычайную твердость души Василиевой в борении с неодолимым Роком: вкусив всю горесть державства несчастного, уловленного властолюбием, и сведав, что венец бывает иногда не наградою, а казнию, Шуйский пал с величием в развалинах Государства!

Он хотел добра отечеству, и без сомнения искренно: еще более хотел угождать Россиянам. Видев столько злоупотреблений неограниченной Державной власти, Шуйский думал устранить их и пленить Россию новостью важною. В час своего воцарения, когда Вельможи, сановники и граждане клялись ему в верности, сам нареченный Венценосец, к общему изумлению, дал

присягу, дотоле не слыханную: 1) не казнить смертью никого без суда Боярского, истинного, законного; 2) преступников не лишать имения, но оставлять его в наследие женам и детям невинным; 3) в изветах требовать прямых явных улик с очей на очи и наказывать клеветников тем же, чему они подвергали винимых ими несправедливо. «Мы желаем (говорил Василий), чтобы Православное Христианство наслаждалось миром и тишиною под нашею Царскою хранительною властью» – и, велел читать грамоту, которая содержала в себе означенный устав, целовал крест в удостоверение, что исполнит его добросовестно. Сим священным обетом мыслил новый Царь избавить Россиян от двух ужасных зол своего века: от ложных доносов и беззаконных опал, соединенных с разорением целых семейств в пользу алчной казны; мыслил, в годину смутений и бедствий, дать гражданам то благо, коего не знали ни деды, ни отцы наши до человеколюбивого Царствования Екатерины Второй. Но вместо признательности многие люди, знатные и незнатные, изъявили негодование и напомнили Василию правило, уставленное Иоанном III, что не Государь народу, а только народ Государю дает клятву. Сии Россияне были искренние друзья отечества, не рабы и не льстецы низкие: имея в свежей памяти грозы тиранства, еще помнили и бурные дни Иоаннова младенчества, когда власть царская в пеленах дремала: боялись ее стеснения, вредного для Государства, как они думали, и предпочитали свободную милость закону. Царь не внял их убеждениям, действуя или по собственному изволению или в угодность некоторым Боярам, склонным к Аристократии и, чтобы блеснуть великодушием, торжественно обещал забыть всякую личную вражду, все досады, претерпенные им в Борисово время: ему верили, но недолго.

Отменив новости, введенные Лжедмитрием, и восстановив древнюю Государственную Думу, как она была до его времени, Василий спешил известить всю Россию о своем воцарении и не оставить в умах ни малейшего сомнения о Самозванце: послали всюду чиновников знатных приводить народ к крестному целованию с обетом, не делать, не говорить и не мыслить ничего злого против Царя, *будущей* супруги и детей его; велели, как обыкновенно, три дни звонить в колокола, от Москвы до Астрахани и Чернигова, до Тары и Колы, – молиться о здравии Государя и мире отечества. Читали в церквах грамоты от Бояр, Царицы-Инокини Марфы и Василия (именованного в сих бумагах *потомком Кесаря Римского*). Описав дерзость, злодейства, собственное в том признание и гибель Самозванца, Бояре величали род и заслугу Шуйского, спасителя Церкви и Государства. Марфа свидетельствовалась Богом, что ее сердце успокоено казнию обманщика: а Василий уверял Россиян в своей любви и милости беспримерной. Обнародовали найденную во внутренних комнатах дворца переписку Лжедмитрия с Римским Двором и Духовенством о введении у нас Латинской Веры, запись данную Воеводе Сендомирскому на Смоленск и Северскую землю, также допросы Мнишка и Бучинских, Яна и Станислава: Мнишек винился в заблуждении, сказывая, что он и сам же не мог считать мнимого Дмитрия истинным, приметив в нем ненависть к России, и для того часто впадал в болезнь от горести. Бучинские объявляли, что расстрига действительно хотел с помощью Ляхов умертвить 18 Мая, на лугу Сретенском, двадцать главных Бояр и всех лучших Москвитян; что Пану Ратомскому надлежало убить Князя Мстиславского, Тарлу и Стадницким Шуйских; что Ляхи должны были занять все места в Думе, править войском и Государством: свидетельство едва ли достойное уважения, и если не вымышленное, то вынужденное страхом из двух малодушных слуг, которые, желая спасти себя от мести Россиян, не боялись клеветать на пепел своего милостивца, развеянный ветром! Современники верили; но трудно убедить потомство, чтобы Лжедмитрий, хотя и нерассудительный, мог дерзнуть на дело ужасное и безумное: ибо легко было предвидеть, что Бояре и Москвитяне не дали бы резать себя как агнцев, и что кровопролитие заключилось бы гибелию Ляхов вместе с их Главою.

Июня 1 совершилось Царское венчание в храме Успения, с наблюдением всех торжественных обрядов, но без всякой расточительной пышности: корону Мономахову возложил на Василия Митрополит Новгородский. Синклит и народ славили Венценосца с усердием; гости и купцы отличались щедростию в дарах, ему поднесенных. Являлось однако ж какое-то уныние в столице. Не было ни милостей, ни пиров; были опалы. Сменили Дворецкого, Князя Рубца-Мосальского, одного из первых клятвопреступников Борисова времени, и велели ему ехать Воеводою в Корелу или Кексгольм; Михайлу Нагому запретили именоваться Конюшим, желая ли навеки уничтожить сей знаменитый сан, чрезмерно возвышенный Годуновым, или единственно в знак неблаговоления к злопамятному страдальцу Василиеву криводушия в деле о Дмитриевом убиении, *Великого Секретаря* и *Подскарбия*, Афанасия Власьева, сослали на Воеводство во Уфу как ненавистного приверженника расстригина; двух важных Бояр, Михайла

Салтыкова и Бельского, удалили, дав первому начальство в Иванегороде, второму в Казани; многих иных сановников и Дворян, не угодных Царю, тоже выслали на службу в дальние города; у многих взяли поместья. Василий, говорит Летописец, нарушил обет свой не мстить никому лично, без вины и суда. Оказалось неудовольствие; слышали ропот. Василий, как опытный наблюдатель тридцатилетнего гнусного тиранства, не хотел ужасом произвести безмолвия, которое бывает знаком тайной, всегда опасной ненависти к жестоким Властителям; хотел равняться в государственной мудрости с Борисом и превзойти Лжедмитрия в свободолюбии, отличать слово от умысла, искать в нескромной искренности только указаний для Правительства и грозить мечем закона единственно крамольникам. Следствием была удивительная вольность в суждениях о Царе, особенная величавость в Боярах, особенная смелость во всех людях чиновных; казалось, что они имели уже не Государя самовластного, а полу-Царя. Никто не дерзнул спорить о короне с Шуйским, но многие дерзали ему завидовать и порочить его избрание как незаконное. Самые усердные клеветы Василия изъясляли негодование: ибо он, доказывая свою умеренность, беспристрастие и желание царствовать не для клеветов, а для блага России, не дал им никаких наград блестящих в удовлетворение их суетности и корыстолюбия. Заметили еще необыкновенное своеволие в народе и шатость в умах: ибо частые перемены государственной власти рожают недоверие к ее твердости и любовь к переменам: Россия же в течение года имела четвертого Самодержца, праздновала два цареубийства и не видала нужного общего согласия на последнее избрание. Старость Василия, уже почти шестидесятилетнего, его одиночество, неизвестность наследия, также производили уныние и беспокойство. Одним словом, самые первые дни нового Царствования, всегда благоприятнейшие для ревности народной, более омрачили, нежели утешили сердца истинных друзей отечества.

Между тем, как бы еще не полагаясь на удостоверение Россиян в самозванстве расстриги, Василий дерзнул явлением торжественным напомнить им о своих лжесвидетельствах, коими он, в угодность Борису, затмил обстоятельства Дмитриевой гибели: Царь велел Святителям, Филарету Ростовскому и Феодосию Астраханскому, с Боярами Князем Воротынским, Петром Шереметевым, Андреем и Григорием Нагими, перевезти в Москву тело Дмитрия из Углича, где оно, в господствование Самозванца, лежало уединенно в опальной могиле, никем не посещаемой: Иереи не смели служить панихид над нею; граждане боялись приблизиться к сему месту, которое безмолвно уличало мнимого Дмитрия в обмане. Но падение обманщика возвратило честь гробу Царевича: жители устремились к нему толпами; *пели молебны, лили слезы умиления и покаяния, лучше других Россиян зная истину и молчав против совести*. Когда Святители и Бояре Московские, прибыв в Углич, объявили волю Государеву, народ долго не соглашался выдать им драгоценные остатки юного мученика, взывая: «Мы его любили и за него страдали! Лишенные живого, лишимся ли и мертвого?» Когда же, вынув из земли гроб и сняв его крышку, увидели тело, в пятнадцать лет едва поврежденное сыростию земли: плоть на лице и волосы на голове целые, равно как и жемчужное ожерелье, шитый платок в левой руке, одежду также шитую серебром и золотом, сапожки, горсть орехов, найденных у закланного младенца в правой руке и с ним положенных в могилу: тогда, в единодушном восторге, жители и пришельцы начали славить сие знамение святости — и за чудом следовали новые чудеса, по свидетельству современников: недужные, с верою и любовию касаясь мощей, исцелялись. Из Углича несли раку [3 Июня], переменяясь, люди знатнейшие, воины, граждане и земледельцы: Василий, Царица-Инокиня Марфа, Духовенство, Синклит, народ встретили ее за городом; открыли мощи, явили их нетление, чтобы *утешить верующих и сомкнуть уста неверным*. Василий взял святое бремя на рамена свои и нес до церкви Михаила Архангела, как бы желая сим усердием и смирением очистить себя перед тем, кого он столь бесстыдно оклеветал в самоубийстве! Там, среди храма, Инокиня Марфа, обливаясь слезами, молила Царя, Духовенство, всех Россиян, простить ей грех согласия с Лжедмитрием для их обмана — и Святители, исполняя волю Царя, разрешили ее торжественно, *из уважения к ее супругу и сыну*. Народ исполнился умиления, и еще более, когда церковь огласилась радостными кликами многих людей, вдруг излеченных от болезней действием Веры к мощам Дмитриевым, как пишут очевидцы. Хотели предать земле сии святые остатки и раскопали засыпанную могилу Годунова, чтобы поставить в ней гроб его жертвы, в пределе, где лежат Царь Иоанн и два сына его; но благодарность исцеленных и надежда болящих убедили Василия не скрывать *источника благодати*: вложили тело в деревянную раку, обитую золотым атласом, оставили ее на помосте и велели петь молебны новому Угоднику Божию, вечно праздновать его память и вечно клясть Лжедмитриею.

Еще Церковь не имела Патриарха: в самый первый день Василиева Царствования свели Игнатия с престола, без суда духовного, единственно по указу Государеву, – одели в черную рясу и заперли в кельях Чудова монастыря; Иов же, в печали, в слезах лишаась зрения, не хотел возвратиться в Москву, где находились тогда все Святители Российские, кроме Митрополита Ермогена, удаленного Лжедмитрием, и тем возвышенного во мнении народа. Среди жалостных примеров слабости, оказанное несчастным Иовом и всем Духовенством, Ермоген, не обольщенный милостию Самозванца, не уstraшенный опалою за ревность к Православию, казался Героем Церкви, и был единодушно, единогласно наречен Патриархом, – нетерпеливо ожидаем и немедленно посвящен, как скоро прибыл из Казани в столицу, собором наших Епископов. Царь, с любовью вручая Ермогену жезл Св. Петра Митрополита, и Ермоген, с любовью благословляя Царя, заключили искренний, верный союз Церкви с Государством, но не для их мира и счастья!

Утвердив себя на престоле великодушным обетом блюсти закон, всенародным оправданием казни расстригиной, своим Царским венчанием, торжеством Димитриевой святости, избранием Патриарха ревностного и мужественного духом, – поставив войско на берегах Оки и в Украине, велел надежным чиновникам осмотреть его и Воеводам ждать царского указа, чтобы идти для усмирения врагов, где они явятся, – Василий немедленно занялся делами внешними. Важнейшим делом было решить мир или войну с Литвою, не уронить достоинства России, но без крайности не начинать кровопролития в смутных обстоятельствах Государства, коего внутреннее устройство, после измен и бунтов, требовало времени и тишины. Еще тело Самозванца лежало на лобном месте, когда Духовенство наше отправило гонца в Киев, к тамошнему Воеводе, Князю Острожскому, с известительною грамотою о всем, что случилось в Москве, и с уверением в миролюбии Российского Правительства, не взирая на все козни Литовского. В сем смысле действовал и новый Венценосец: хранил Поляков от злобы народа, велел давать им все нужное в изобилии, и с честью отвезти Марину к отцу, который, обманывая себя и других, еще именовал ее Царицею, и в виде слуги усердного благоговел пред дочерью. Марина изъясняла более высокомерия, нежели скорби, и говорила своим ближним: «Избавьте меня от ваших безвременных утешений и слез малодушных!» У нее взяли сокровища, одежды богатые, данные ей мужем: она же не жаловалась от гордости. Взяли и все имение Воеводы Сендомирского: 10000 рублей деньгами, кареты, лошадей, приборы конские, вина, всего на 250000 нынешних рублей серебряных, сказав ему: «возвратим тебе, что найдется твоим собственным: удержим достояние казны Царской». В свидании с Боярами Мнишек не скрывал глубокой своей печали, ни раскаяния, вероятно искреннего, быв знаменитейшим Вельможею в отечестве и видя себя невольником в стране чуждой, где народная месть, им заслуженная, угрожала ему гибелию или узами, после его сновидения о Державном величии. Бояре обещали Мнишку не только безопасность, но и свободу, если Король удостоверит Василия в истинном расположении к миру.

Они имели несколько свиданий и с Послами Литовскими. Первое было 27 Маия, во дворце, где сии Паны заметили разительную перемену: исчезла пышность Лжедмитриева времени; скрылись блестящие золотом телохранители и стрельцы; самые знатные чиновники, угождая вкусу Василиеву к бережливости, не отличались богатством платья. Вместо роскоши и веселия, являлись везде простота, угрюмая важность, безмолвная печаль. «Нам казалось, – пишут Ляхи-очевидцы, – что Двор Московский готовился к погребению». Князья Мстиславский, Дмитрий Шуйский, Трубецкой, Голицыны, Татищев приняли Олесницкого и Госевского в той же палате, в коей они беседовали с ними именем Лжедмитрия, называя его тогда *непобедимым Цесарем*, а в сие время гнусным исчадием ада! Мстиславский произнес сильную речь о злодейском убиении истинного сына Иоаннова по воле Годунова, о нелепом самозванстве расстриги, о кознях Сигизмундовых, желая доказать, что бродяга без вспоможения Ляхов никогда не овладел бы Московским престолом; что сей бродяга достойно казнен Россиею, а немногие Ляхи в час мятежа убиты чернию за их наглость, без ведома Бояр и Дворянства. «Одним словом, – заключил Мстиславский, – кто виною зла и всех бедствий? Король и вы, Паны, нарушив святость мирного договора и крестного целования».

Олесницкий и Госевский тихо советовались друг с другом и дали ответ не менее сильный, изъясняясь смело, и если не во всем искренно, то по крайней мере умно и благородно. «Мы слышали о бедственной кончине Димитрия, – говорили Паны, – и жалели об ней как Христиане, гнушаясь убийцею. Но явился человек под именем сего Царевича, свидетельствуясь разными приметами в истине своего уверения, и сказывая, как он спасен Небом от убийцы – как Борис тайно умертвил Царя Феодора, истребил знатнейшие роды Дворянские, теснил, гнал всех людей именитых. Не то ли самое говорили нам о Борисе и некоторые из вас, мужей Думных? И читая

историю, не находим ли в ней примеров, что мнимоусопшие являются иногда живы в казнь злодейству? Но мы еще не верили бродяге: поверил ему только добросердечный Воевода Сендомирский, и не ему одному, но многим Россиянам, признавшим в нем Димитрия: они клялися, что Россия ждет его; что города и войско сдадутся Иоаннову наследнику. Действуя самовольно, Мнишек хотел быть свидетелем торжества Димитриева – и был; но, повинувшись указу Королевскому, возвратился, чтобы не нарушить мира, заключенного нами с Годуновым. Димитрий, как он называл себя, остался в земле Северной единственно с Россиянами, Донскими и Запорожскими Козаками: что ж сделали Россияне? Пали к ногам его: Воеводы и войско. Что сделали и вы, Бояре? Выходили к нему навстречу с царскою утварию; вопили, что принимаете Государя любимого от Бога, и кипели гневом, когда Ляхи смели утверждать, что они дали Царство Димитрию. Мы, Послы, собственными глазами видели, как вы пред ним благоговели. Здесь, в сей самой палате, рассуждая с нами о делах государственных, вы не изъявляли ни малейшего сомнения о роде его и сани. Одним словом, не мы Поляки, но вы Русские, признали своего же Русского бродягу Димитрием, встретили с хлебом и солью на границе, привели в столицу, короновали и... убили; вы начали, вы и кончили. Для чего же вините других? Не лучше ли молчать и каяться в грехах, за которые Бог наказал вас таким ослеплением? Не говорим о клятвopепреступлении и цареубийстве; не осуждаем вашего дела, и не имеем причины жалеть о сем человеке, который в ваших глазах оскорблял нас, величался, безумно требовал неслыханных титулов и едва ли мог быть надежным другом нашего отечества; но удивимся, что вы, Бояре, как люди известно умные, позволяете себе суесловить, желая оправдать душегубство: бесчеловечное избиение наших братьев... Они не воевали с вами, не помогали вашему Лжедимитрию, не хранили его: ибо он вверил жизнь свою не им, а вам единственно! Слагаете вину на чернь: поверим тому, если можно; поверим, если вы неврединно отпустите с нами Воеводу Сендомирского, дочь его и всех Ляхов к Королю, дабы мы своим миролюбивым ходатайством обезоружили месть готовую. Но доколе, вопреки народному праву, уважаемому и варварами, будете держать нас, как бы пленников, дотоле в глазах Короля, Республики и всей Европы не чернь Московская, а вы с вашим новым Царем останетесь виновниками сего кровопролития, и не в безопасности. Рассудите!»

Бояре слушали с великим вниманием и долго сидели в молчании, смотря друг на друга; наконец ответствовали Панам: «Вы были Послами у Самозванца, а теперь уже не Послы: следственно не должно говорить вам так вольно и смело»; но расстались с ними ласково; виделись снова и сказали им, что Василий милостиво приказал освободить всех нечиновных Ляхов и вывезти за границу: но что Послы, Воевода Сендомирский и другие знатные Паны должны ждать в России решения судьбы своей от Сигизмунда, к коему едет Царский чиновник для важных объяснений и переговоров. Дворянин Князь Григорий Волконский немедленно был послан в Краков. Олесницкий и Голосевский остались в Москве под стражею; Мнишка с дочерью вывезли в Ярославль, Вишневецкого в Кострому, товарищей их в Ростов и Тверь. Они имели дозволение писать к Королю и писали миролюбиво, желая как можно скорее избавиться от неволи, чтобы говорить и действовать иначе.

Уже слух о гибели Самозванца и многих Ляхов в Москве встревожил всю Польшу: в городах и в местечках Литовских останавливали Князя Волконского и Дьяка его, бесчестили, ругали, называли убийцами, злодеями; метали в их людей камнями и грязью; а Королевские чиновники отвечали им на жалобы, что никакая власть не может унять народного негодования. Быв четыре месяца в дороге, Волконский приехал в Краков, где Сигизмунд встретил его с лицом угрюмым, не звал к обеду, не удостоил ни одного ласкового слова, и, скрыв печаль свою о судьбе Лжедимитрия, от коего Польша ждала столько выгод, слушал холодно извещение о новом Самодержце в России. В переговорах с Коронными Панами Волконский доказывал то же, что наши Бояре доказывали в Москве Послам Сигизмундовым; а Паны ответствовали ему то же, что Послы Боярам. Мы говорили Ляхам: «Вы дали нам Лжедимитрия!» Ляхи возражали: «Вы взяли его с благодарностию!» Но с обеих сторон умеряли колкость выражений, оставляя слово на мир. Волконский требовал удовлетворения за бедствие, претерпенное Россией от Самозванца: за гибель многих людей и расхищение нашей казны; Король же требовал освобождения своих Послов и платежа за товары, взятые Лжедимитрием у купцов Литовских и Галицких, или разграбленные чернью Московскою в день мятежа. Не могли согласиться, однако ж не грозили войною друг другу. «Швеция, – сказал Волконский, – уступает Царю знатную часть Ливонии, желая его вспоможения; но он не хочет нарушить прежнего мирного договора». Паны уверяли, что они также не нарушат сего договора, если мы будем соблюдать его. Ничего не решили и ни в

чем не условились. Сигизмунд не взял даров от Волконского и хотел писать с ним к Василию; но Волконский отвечал: «Я не гонец». Король велел ему ехать к Царю с поклоном, сказав, что пришет в Москву собственного чиновника; но медлил, уже зная о новых мятежах России и готовясь воспользоваться ими, как сосед деятельный в ненависти к ее величию.

Еще Василий имел время возобновить дружественные сношения с Императором, с Королями Английским и Датским. Гонец Рудольфов и Посланник Шведский находились в Москве. Непримируемый враг врага нашего, Сигизмунда, Карл IX ревностно искал союза России, и Василий действительно не спешил заключить его, в надежде обойтись без войны с Сигизмундом. Хан Казы-Гирей уверял Царя в братстве, Ногайский Князь Иштерек в повиновании. Воевода Князь Ромодановский отправился к Шаху Аббасу для важных переговоров о Турции и Христианских землях Востока. Еще Двор Московский занимался делами Европы и Азии, политикою Австрии и Персии; но скоро опасности ближайšie, внутренние, многочисленные и грозные скрыли от нас внешность, и Россия, терзая свои недра, забыла Европу и Азию!.. Сии новые бедствия начались таким образом:

В первые дни Июня, ночью, тайные злодеи, всегда готовые подвижники в бурные времена гражданских обществ, – желая ли только беззаконной корысти или чего важнейшего, бунта, убийств, испровержения верховной власти, – написали мелом на воротах у богатейших иноземцев и у некоторых Бояр и Дворян, что Царь предает их дома расхищению за измену. Утром скопилось там множество людей, и грабители приступили к делу; но воинские дружины успели разогнать их без кровопролития.

Чрез несколько дней новое смятение. Уверили народ, что Царь желает говорить с ним на лобном месте. Вся Москва пришла в движение, и Красная площадь наполнилась любопытными, отчасти и зломысленными, которые лукавыми внушениями подстрекали чернь к мятежу. Царь шел в церковь; услышал необыкновенный шум вне Кремля, сведал о созвании народа и велел немедленно узнать виновников такого беззакония; остановился и ждал донесения, не трогаясь с места.

Бояре, царедворцы, сановники окружали его: Василий без робости и гнева начал укорять их в непостоянстве и в легкомыслии, говоря: «Вижу ваш умысел; но для чего лукавствовать, ежели я вам не угоден? Кого вы избрали, того можете и свергнуть. Будьте спокойны: противиться не буду». Слезы текли из глаз сего несчастного властолюбца. Он кинул жезл Царский, снял венец с головы и примолвил: «Ищите же другого Царя!» – Все молчали от изумления. Шуйский надел снова венец, поднял жезл и сказал: «Если я Царь, то мятежники да трепещут! Чего хотят они? Смерти всех невинных иноземцев, всех лучших, знаменитейших Россиян, и моей; по крайней мере насилия и грабежа. Но вы знали меня, избирая в Цари; имею власть и волю казнить злодеев». Все единогласно ответствовали: «Ты наш Государь законный! Мы тебе присягали и не изменим! Гибель крамольникам!» – Объявили указ гражданам мирно разойтись, и никто не ослушался; схватили пять человек в толпах как возмутителей народа и высекли кнутом, Доискивались и тайных, знатнейших крамольников; подозревали Нагих: думали, что они волнуют Москву, желая свести Шуйского с престола, собрать Великую Думу земскую и вручить Державу своему ближнему, Князю Мстиславскому. Исследовали дело, честно и добросовестно; выслушали ответы, свидетельства, оправдания и торжественно признали невинность скромного Мстиславского, не тронули и Нагих; сослали одного Боярина Петра Шереметева, Воеводу Псковского, также их родственника, действительно уличенного в кознях. Шуйский в сем случае оказал твердость и не нарушил данной им клятвы судить законно. Ему готовились искушения важнейшие!

Столица утихла до времени; но знатная часть Государства уже пылала бунтом!.. Там, где явился первый Лжедмитрий, явился и второй, как бы в посмеяние России, снова требуя лежковерия или бесстыдства и находя его в ослеплении или в разврате людей, от черни до Вельможного сана.

Казалось, что Самозванец, всеми оставленный в час бедствия, не имел ни друзей, ни приверженников, кроме Басманова. Те, коих он любил с доверенностью, осыпал милостями и наградами, громогласнее других кляли память его, желая неблагодарностию спасти себя – и спаслись: сохранили всю добычу измены, сан и богатство. Некоторые из них умели даже снискать доверенность Василиеву: так Князь Григорий Петрович Шаховской, известный любимец расстригин, был послан Воеводою в Путивль, на смену Князю Бахтеярову, честному, но, может быть, не весьма расторопному и смелому. Правительство знало важность сего назначения: нигде граждане и чернь не оказывали столько усердия к Самозванцу и не могли

столько бояться нового Царя, как в земле Северской, где оставалось еще немало бродяг, беглых разбойников, злодеев, сподвижников Отрепьева, и куда многие из них, после его гибели, спешили возвратиться. Шаховской без сомнения говорил Василию то же, что Басманов несчастному Феодору, – и сделал то же. Рожденный в свое время, в век мятежей и беззаконий, со всеми качествами, нужными для первенства в оных, Шаховской пылал ненавистию к виновникам Лжедмитриевой гибели; знал расположение народа Северского и неудовольствие многих Россиян, которые имели право участвовать и не участвовали в избрании Венценовца; знал волнение умов и в Москве и в целом Государстве, смятенном бунтами и еще не совсем успокоенном властью закона; считал державство Василия нетвердым, обстоятельства благоприятными и, прельщаясь блеском великой отваги, решился на злодейство, удивительное и для сего времени: созвал граждан в Путивле и сказал им торжественно, что Московские изменники вместо Димитрия, умертвили какого-то Немца; что Димитрий, истинный сын Иоаннов, жив, но скрывается до времени, ожидая помощи своих друзей Северских; что злобный Василий готовит жителям Путивля и всей Украйны, за оказанное ими усердие к Димитрию, жребий Новгородцев, истерзанных Иоанном Грозным; что не только за истинного Царя, но и для собственного спасения они должны восстать на Шуйского. Народ не усомнился и восстал. Казалось, что все города южной России ждали только примера: Моравск, Чернигов, Стародуб, Новгород-Северский немедленно, а скоро и Белгород, Борисов, Оскол, Трубчевск, Кромы, Ливны, Елец отложились от Москвы. Граждане, стрельцы, Козаки, люди Боярские, крестьяне толпами стекались под знамя бунта, выставленное Шаховским и другим, еще знатнейшим сановником, Черниговским Воеводою, мужем Думным, некогда верным закону: Князем Андреем Телятевским. Сей человек удивительный, не хотел вместе с целым войском предаться живому, торжествующему Самозванцу, с шайками крамольников предался его тени, имени без существа, ослепленный заблуждением или неприязнию к Шуйским: так люди, кроме истинно великодушных, изменяются в государственных смятениях! Еще не видали никакого Димитрия, ни лица, ни меча его, и все пылало к нему усердием, как в Борисово и Феодорово время! Сие роковое имя с чудною легкостью побеждало власть законную, уже не обольщая милосердием, как прежде, но устрашая муками и смертию. Кто не верил грубому, бесстыдному обману, – кто не хотел изменить Василию и дерзал противиться мятежу: тех убивали, вешали, кидали с башен, распинали! Так, еще ко славе отечества, погибли Воеводы, Боярин Князь Буйносов в Белегороде, Бутурлин в Осколе, Плещеев в Ливнах, двое Воейковых, Пушкин, Князь Щербатый, Бартенев, Мальцов; других ввергали в темницы. Злодейством доказывалась любовь к Царю; верность называли изменою, богатство преступлением: холопы грабили имение господ своих, бесчестили их жен, женились на дочерях Боярских. Плавая в крови, утопая в мерзостях насилия, терпеливо ждали Димитрия и едва спрашивали: где он? Уверая в необходимости молчания до некоторого времени, Шаховской давал однако ж разуметь, что солнце взойдет для России – из Сендомира!

Мог ли один человек предпринять и совершить такое дело, равно ужасное и нелепое, без условия с другими, без приготовления и заговора? Шаховской имел клеветов в Москве, где скоро по убиении Лжедмитрия распустили слух, что он жив, за несколько часов до мятежа, ночью, ускакав верхом с двумя царедворцами, неизвестно куда. В то же время видели на берегу Оки, близ Серпухова, трех необыкновенных, таинственных путешественников: один из них дал перевозчику семь золотых и сказал: «Знаешь ли нас? Ты перевез Государя Димитрия Иоанновича, который спасается от Московских изменников, чтобы возвратиться с сильным ополчением, казнить их, а тебя сделать великим человеком. Вот он!» – примолвил незнакомец, указав на младшего из спутников, и немедленно удалился вместе с ними. Многие другие видели их и далее, за Тулою, около Путивля, и слышали то же. Сии путешественники, или беглецы, выехали из пределов России в Литву, – и вдруг вся Польша заговорила о Димитрии, который будто бы ушел из Москвы в одежде Инока, скрывается в Сендомире и ждет счастливой для него перемены обстоятельств в России. Посол Василиев, Князь Волконский, будучи в Кракове, сведал, что жена Мнишкова действительно объявила какого-то человека своим зятем Димитрием; что он живет то в Сендомире, то в Самборе, в ее доме и в монастыре, удаляясь от людей; что с ним только один Москвитянин, Дворянин Заболоцкий, но что многие знатные Россияне, и в числе их Князь Василий Мосальский, ему тайно благоприятствуют. Новый Самозванец нимало не сходил с наружности с первым: имел волосы кудрявые, черные (вместо рыжеватых); глаза большие, брови густые, навислые, нос покляпый, бородавку среди щеки, ус и бороду стриженую; но так же, как Отрепьев, говорил твердо языком Польским и разумел Латинский. Волконский удостоверился, что сей обманщик был Дворянин Михайло Молчанов, гнусный убийца юного

Царя Феодора, и мнимый чернокнижник, сеченный за то кнутом в Борисово время: он скрылся в начале Василиева царствования. Действуя по условию с Шаховским, Молчанов успел в главном деле: ослабил воскресение расстриги, чтобы питать мятеж в земле Северской; но не спешил явиться там, где его знали, и готовился передать имя Димитрия иному, менее известному или дерзновеннейшему злодею.

Уже самый первый слух о бегстве расстриги встревожил Московскую чернь, которая, три дня терзав мертвого лжецаря, не знала, верить ли или не верить его спасению: ибо думала, что он, как известный чародей, мог ожить силою адскою или в час опасности сделаться невидимым и подставить другого на свое место; некоторые даже говорили, что человек, убитый вместо Лжедимитрия, походил на одного молодого Дворянина, его любимца, который с сего времени пропал без вести. Действовала и любовь к чудесному и любовь к мятежам: «чернь Московская (пишут свидетели очевидные) была готова менять Царей еженедельно, в надежде доискаться лучшего или своевольствовать в безначалии» – и люди, обгаренные, может быть, кровию Самозванца, вдруг начали жалеть о его днях веселых, сравнивая их с унылым царствованием Василия! Но легковерие многих и зломыслие некоторых не могли еще произвести общего движения в пользу расстриги там, где он воскрес бы к ужасу своих изменников и душегубцев, – где все, от Вельмож до мещан, хвалились его убиением. Клевреты Шаховского в столице желали единственно волнения, беспокойства народного и вместе с слухами распространяли письма от имени Лжедимитрия, кидали их на улицах, прибавляли к стенам: в сих грамотах упрекали Россиян неблагодарностию к милостям великодушнейшего из Царей, и сказывали, что Димитрий будет в Москве к Новому году. Государь велел искать виновников такого возмущения; призывали всех Дьяков, сличали их руки с подметными письмами и не открыли сочинителей.

Еще Правительство не уважало сих козней, изыскивая оные бессильною злобою тайных, малочисленных друзей расстригиных; но сведав в одно время о бунте южной России и Сендомирском Самозванце, увидело опасность и спешило действовать – сперва убеждением. Василий послал Крутицкого Митрополита Пафнутия в Северскую землю, образумить ее жителей словом истины и милосердия, закона и совести: Митрополита не приняли и не слушали. Царица-Инокня Марфа, исполненная ревности загладить вину свою, писала к жителям всех городов украинских, свидетельствуя пред Богом и Россиею, что она собственными глазами видела убиение Димитрия в Угличе и Самозванца в Москве; что одни Ляхи и злодеи утверждают противное; что Царь великодушный дал ей слово *покрыть милосердием* вину заблуждения; что не только возмущенные, но даже и возмутители могут жить безопасно и мирно в домах своих, если изъясят раскаяние; что она шлет к ним брата, Боярина Григория Нагого, и святой образ Димитриев, да услышат истину, да зрят Ангельское лице ее сына, который был рожден любить, а не терзать отечество смутами и злодействами. Ни грамоты, ни посольства не имели успеха. Бунт кипел; остервенение возрастало. Действуя неусыпно, Шаховской звал всю Россию соединиться с Украиною; писал указы именем Димитрия и прикладывал к ним печать государственную, которую он похитил в день Московского мятежа. Рать изменников усиливалась и выступала в поле, с Воеводою достойным такого начальства, холопом Князя Телятевского, Иваном Болотниковым. Сей человек, взятый в плен Татарами, проданный в неволю Туркам и выкупленный Немцами в Константинополе, жил несколько времени в Венеции, захотел возвратиться в отечество, услышал в Польше о мнимом Димитрии, предложил ему свои услуги и явился с письмом от него к Князю Шаховскому в Путивле. Внутренно веря или не веря Самозванцу, Болотников воспламенил других любопытными о нем рассказами; имея ум сметливый, некоторые знания воинские и дерзость, сделался главным орудием мятежа, к коему пристали еще двое Князей Мосальских и Михайло Долгорукий.

Видя необходимость кровопролития, Василий велел полкам идти к Ельцу и Кромам. Предводительствовали Боярин Воротынский, сын отца столь знаменитого, и Князь Юрий Трубецкой, Стольник, удостоенный необыкновенной чести иметь мужей думных под своими знаменами. Воротынский близ Ельца рассеял шайки мятежников; но чиновник Царский, везя к нему золотые медали в награду его мужества, вместо победителей встретил беглецов на пути. Где некогда сам Шуйский с сильным войском не умел одолеть горсти изменников и где измена Басманова решила судьбу отечества, там, в виду несчастных Кром, Болотников напал на 5000 царских всадников: они, с Князем Трубецким, дали тыл; за ними и Воротынский ушел от Ельца; винули, обгоняли друг друга в срамном бегстве и, как бы еще имея стыд, не хотели явиться в столицу: разъехались по домам, сложив с себя обязанность чести и защитников Царства.

Победитель Болотников ругался над пленными: называл их кровопийцами, злодеями, бунтовщиками, а Царя Василия *Шубником*, велел одних утопить, других вести в Путивль для казни; некоторых сечь плетью и едва живых отпустить в Москву; шел вперед и восстанавливал державу Самозванца. Орел, Мценск, Тула, Калуга, Венев, Кашира, вся земля Рязанская пристали к бунту, вооружились, избрали начальников: сына Боярского Истома Пашкова, Веневского Сотника; Григория Сунбулова, бывшего Воеводою в Рязани, и тамошнего Дворянина Прокопия Ляпунова, дотоле неизвестного, отселе знаменитого, созданного быть Вождем и повелителем людей в безначалии, в мятежах и бурях, – одаренного красотою и крепостию телесною, силою ума и духа, смелостию и мужеством. Сие новое войско отличалось ревностию чистейшею, составленное из граждан, владельцев, людей домовитых. Быв первыми, усерднейшими клеветами Басманова в измене Феодору, они хотя и присягнули Василию, но осуждали дело Москвитян, убийство расстриги, и думали, что присяга Шуйскому сама собою уничтожается, когда жив Димитрий, старейший и следственно один Венценосец законный. Но ревность их также вела к злодействам: лилась кровь воинов и граждан, верных чести и Василию. Рязанский Наместник Боярин Князь Черкасский, Воеводы Князь Тростенский, Вердеревский, Князь Каркадинов, Измайлов, были скованные отправлены Ляпуновым в Путивль на суд или смерть. Разбойники Северские жгли, опустошали селения; грабя, не щадили и святыни церквей; срамили человечество гнуснейшими делами. Ужас распространял измену, как буря пламень, с неимоверною быстротою, от пределов Тулы и Калуги к Смоленску и Твери: Дорогобуж, Вязьма, Ржев, Зубцов, Старица предалися тени Лжедмитрия, чтобы спастись от ярости мятежников; но Тверь, издревле славная в наших летописях верностию, не изменила: достойный ее Святитель Феокист, великодушно негодуя на слабость Воевод, явился бодрым Стратигом: ополчил Духовенство, людей приказных, собственных детей Боярских, граждан, разбил многочисленную шайку злодеев и послал к Государю несколько сот пленных.

Встревоженный бегством Воевод от Ельца и Кром, бегством чиновников и рядовых от Воевод и знамен, – наконец силою, успехами бунта, Василий еще не смутился духом, имея данное ему от природы мужество, если не для одоления бедствий, то по крайней мере для великодушной гибели. Летописец говорит, что Царь без искусных Стратигов и без казны есть орел бескрылый, и что таков был жребий Шуйского. Борис оставил преемнику казну и только одного славного храбростию Воеводу, Басманова-изменника: Лжедмитрий-расточитель не оставил ничего, кроме изменников; но Василий делал, что мог. Объявив всенародно о происхождении мятежа – о нелепой басне расстригина спасения, о сонмище воров и негодяев, коим имя Димитрия служит единственно предлогом для злодейства, в самых тех местах, где жители, ими обманутые, встречают их как друзей, – Царь выслал в поле новое сильнейшее войско и, как бы спокойным сердцем, как бы в мирное, безмятежное время, удумал загладить несправедливость современников в глазах потомства: снять опалу с памяти Венценосца, хотя и ненавистного за многие дела злые, но достойного хвалы за многие государственные благодеяния: велел, пышно и великолепно, перенести тело Бориса, Марии, юного Феодора, из бедной обители Св. Варсонофия в знаменитую Лавру Сергиеву. Торжественно огласив убийство и святость Димитрия, Шуйский не смел приблизить к его мощам гроб убийцы и снова поставить между царскими памятниками; но хотел сим действием уважить законного Монарха в Годунове, будучи также Монархом избранным; хотел возбудить жалость, если не к Борису виновному, то к Марии и к Феодору невинным, чтобы произвести живейшее омерзение к их гнусным умертвителям, сообщникам Шаховского, жадным к новому Цареубийству. В присутствии бесчисленного множества людей, всего Духовенства, Двора и Синклита, открыли могилы: двадцать Иноков взяли раку Борису на плечи свои (ибо сей Царь скончался Иноком); Феодорову и Мариину несли знатные сановники, провождаемые Святителями и Боярами. Позади ехала, в закрытых *саях* несчастная Ксения и громко вопила о гибели своего Дома, жалуясь Богу и России на изверга Самозванца. Зрители плакали, вспоминая счастливые дни ее семейства, счастливые и для России в первые два года Борисова Царствования. Многие об нем тужили, встревоженные настоящим и страшась будущего. В Лавре, вне церкви Успения, с благоговением погребли отца, мать и сына; оставили место и для дочери, которая жила еще 16 горестных лет в Девичьем монастыре Владимирском, не имея никаких утешений, кроме небесных. Новым погребением возвращая сан Царю, лишенному оно в могиле, думал ли Василий, что некогда и собственные его кости будут лежать в неизвестности, в презрении, и что великодушная жалость, справедливость и политика также возвратят им честь Царскую?

Уже не только политика мирила Василия с Годуновым, но и злополучие, разительное сходство их жребия. Обоим власть изменяла; опоры того и другого, видом крепкие, падали, рушились, как тлен и брение. Рати Василиевы, подобно Борисовым, цепенели, казалось, пред тению Дмитрия. Юноша, ближний Государев, Князь Михаил Скопин-Шуйский, имел успех в битве с неприятельскими толпами на берегах Пахры; но Воеводы главные, Князья Мстиславский, Дмитрий Шуйский, Воротынский, Голицыны, Нагие, имея с собою всех Дворян Московских, Стольников, Стряпчих, Жильцов, встретились с неприятелем уже в пятидесяти верстах от Москвы, в селе Троицком, сразились и бежали, оставив в его руках множество знатных пленников.

Уже Болотников, Пашков, Ляпунов, взяв, опустошив Коломну, стояли (в Октябре месяце) под Москвою, в селе Коломенском; торжественно объявили Василия Царем сверженным; писали к Москвитянам, Духовенству, Синклиту и народу, что Дмитрий снова на престоле и требует их новой присяги; что война кончилась и Царство милосердия начинается. Между тем мятежники злодействовали в окрестностях, звали к себе бродяг, холопей; приказывали им резать Дворян и людей торговых, брать их жен и достояние, обещая им *богатство* и *Воеводство*, рассыпались по дорогам, не пускали запасов в столицу, ими осажденную... Войско и самое Государство как бы исчезли для Москвы, преданной с ее святынею и славою в добычу неистовому бунту. Но в сей ужасной крайности еще блеснул луч великодушия: оно спасло Царя и Царство, хотя на время!

Василий, велев написать к мятежникам, что ждет их раскаяния и еще медлит истребить жалкий сонм безумцев, спокойно устроил защиту города, предместий и слобод. Духовенство молилось; народ постился три дни и, видя неустрашимость в Государе, сам казался неустрашимым. Воины, граждане по собственному движению обязали друг друга клятвою в верности, и никто из них не бежал к злодеям. Полководцы, Князья Скопин-Шуйский, Андрей Голицын и Татев расположились станом у Серпуховских ворот, для наблюдения и для битвы в случае приступа. Высланные из Москвы отряды восстановили ее сообщение с городами, ближними и дальними. Патриарх, Святители писали всюду грамоты увещательные: верные одушевились ревностью, изменники устыдились. Тверь, Смоленск служили примером: их Дворяне, Дети Боярские, люди торговые кинули семейства и спешили спасти Москву. К добрым Тверитянам присоединились жители Зубцова, Тарицы, Ржева; к добрым Смоленянам граждане Вязьмы, Дорогобужа, Серпейска, уже не преступники от малодушия, но снова достойные Россияне; везде били злодеев; выгнали их из Можайска, Волока, Обители Св. Иосифа; не давали им пощады: казнили пленных.

Тогда же в Коломенском стане открылась важная измена. Болотников, называя себя Воеводою Царским, хотел быть главным; но Воеводы, избранные городами, не признавали сей власти, требовали Дмитрия от него, от Шаховского: не видали и начинали хладеть в усердии. Ляпунов первый удостоверился в обмане и, стыдясь быть союзником бродяг, холопей, разбойников без всякой государственной, благородной цели, первый явился в столице с повинною (вероятно, вследствие тайных, предварительных сношений с Царем); а за Ляпуновым и все Рязанцы, Сунбулов и другие. Василий простил их и дал Ляпунову сан Думного Дворянина. Скоро и многие иные сподвижники бунта, удостоверенные в милосердии Государя, перебежали из Коломенского в Москву, где уже не было ни страха, ни печали; все ожило и пылало ревностью ударить на остальных мятежников. Василий медлил; изъявляя человеколюбие и жалость к несчастным жертвам заблуждения, говорил: «Они также Русские и Христиане: молюся о спасении их душ, да расскаются, и кровь отечества да не лиется в междоусобию!» Василий или действительно надеялся утишить бунт без дальнейшего кровопролития, торжественно предлагая милость самым главным виновникам одного, или для вернейшей победы ждал Смоленян и Тверитян: они соединились в Можайске с Воеводою Царским Колычевым и приближались к столице. Еще мятежники упорствовали в намерении овладеть Москвою; укрепили Коломенский стан валом и тыном, терпеливо сносили ненастье и холод глубокой осени; приступали к Симонову монастырю и к Гонной, или Рогожской, слободе; были отражены, лишились многих людей, и все еще не унывали – по крайней мере Болотников: он не слушал обещаний Василия забыть его вину и дать ему знатный чин, отвечая: «Я клялся Дмитрию умереть за него, и сдержу слово: буду в Москве не изменником, а победителем»; уже видел знамена Тверитян и Смоленян на Девичьем поле; видел движение в войске Московском и смело ждал битвы неравной. Василий, сам опытный в деле бранном, еще не хотел и пред стенами Кремлевскими ратоборствовать лично, как бы стыдясь врага подлого; хотел быть только невидимым зрителем сей битвы: вверил главное начальство усерднейшему или счастливейшему витязю: двадцатилетнему Князю Скопину-

Шуйскому, который свел полки в монастыре Даниловском, и мыслил окружить неприятеля в стане. Болотников и Пашков [2 Декабря] встретили Воевод Царских: первый сразился как лев; второй, не обнажив меча, передался к ним со всеми Дворянами и с знатною частию войска. У Болотникова остались Козаки, холопы, Северские бродяги; но он бился до совершенного изнурения сил и бежал с немногими к Серпухову: остальные рассеялись. Козаки еще держались в укрепленном селении Заборье, и наконец с Атаманом Беззубцевым сдались, присягнув Василию в верности. Кроме их, взяли на бою столь великое число пленных, что они не уместились в темницах Московских, и были все утоплены в реке, как злодеи ожесточенные; но Козаков не тронули и приняли в Царскую службу. Юноше-победителю, Князю Скопину, рожденному к чести, утешению и горести отечества, дали сан Боярина, а Воеводе Колычеву – Боярина и Дворецкого. Радовались и торжествовали; пели молебны с колокольным звоном и благодарили Небо за истребление мятежников, но прежде времени.

Болотников думал остановиться в Серпухове. Жители не впустили его. Он засел в Калуге; в несколько дней укрепил его глубокими рвами и валом; собрал тысяч десять беглецов, изготовился к осаде, и писал к Северной Думе изменников, что ему нужно вспоможение и еще нужнее Димитрий, истинный или мнимый; что имя без человека уже не действует, и что все их клеветы готовы следовать примеру Ляпунова, Сунбулова и Пашкова, если явление вождя Царя-изгнанника, столь долго славимого и невидимого, не даст им нового усердия и новых подвижников. Но кого было представить? Сендомирского ли самозванца, Молчанова, известного в России и нимало не сходного с Лжедмитрием, еще известнейшим? Сей беглец мог действовать на легковверных только издали, слухом, а не присутствием, которое изобличило бы его в обмане. Пишут, что злодеи Российские хотели назвать Димитрием иного человека, какого-то благородного Ляха, но что он – взяв, вероятно, деньги за такую отвагу – раздумал искать гибельного величия в бурях мятежа, мирно остался в Польше жить нескучным Дворянином и прервал наконец связь с Шаховским, коему случай дал между тем другое орудие.

Мы упоминали о бродяге Илейке, Лжепетре, мнимом сыне Царя Феодора. На пути к Москве узнав о гибели расстриги, он с Терскими Козаками бежал назад, мимо Казани, где Бояре Морозов и Бельский хотели схватить его: Козаки обманули их; прислали сказать, что выдадут им Самозванца, и ночью уплыли вниз по Волге; грабили людей торговых и служивых; злодействовали, жгли селения на берегах, до Царицына, где убили Князя Ромодановского, ехавшего Послом в Персию, и Воеводу Акинфеева; остановились зимовать на Дону и расславили в Украине о своем лжецаревиче. Обман способствовал обману: Шаховский признал Илейку сыном Феодоровым, звал к себе вместе с шайкою Терских мятежников, встретил в Путивле с честью, как племянника и наместника Димитриева в его отсутствие, и даже не усомнился обещать ему Царство, если Димитрий, ими ожидаемый, не явится: Сей союз злодейства праздновали новым душегубством, в доказательство Державной власти разбойника Илейки. Он велел умертвить всех знатных пленников, которые еще сидели в темницах: верных Воевод Рязанских, Думного мужа Сабурова, Князя Приимкова-Ростовского, начальников города Борисова, и Воеводу Путивльского, Князя Бахтеярова, взяв его дочь в наложницы. Искали и союзников внешних, там, где вред России всегда считался выгодною, и где старая ненависть к нам усилилась желанием мести за стыд неудачного дружества с бродягою: новый самозванец Петр также обратился к Сигизмунду, и Вельможные Паны не устыдились сказать Князю Волконскому, который еще находился тогда в Кракове, что они «ждут Послов от Государя Северского, сына Феодорова, который вместе с Димитрием, укрывающимся в Галиции, намерен свергнуть Василия с престола; что если Царь возвратит свободу Мнишку и всем знатым Ляхам, Московским пленникам, то не будет ни Лжедмитрия, ни Лжепетра; а в противном случае оба сделаются истинными и найдут сподвижников в Республике!» Но Ляхи только грозили Василию; манили, вероятно, мятежников обещаниями и не спешили действовать; Шаховский, Телятевский, Долгорукий, Мосальские, с новым Атаманом Илейкою не имели времени ждать их; призвали к себе Запорожцев; ополчили всех, кого могли, в земле Северной и выступили в поле, чтобы спасти Болотникова.

Умел ли Василий воспользоваться своею победою, дав мятежникам соединиться и вновь усилиться в Калуге? Он послал к ней войско, но уже чрез несколько дней, и малочисленное, смятое первою смелою вылазкою; послал и другое, сильнейшее с Боярином Иваном Шуйским, который, одержав верх в кровопролитном деле с Болотниковым при устье реки Угры, осадил Калугу (30 Декабря), но без надежды взять ее скоро. Худые вести, одна за другою, встревожили Москву. В Калужской и Тульской области новые шайки злодеев скопились и заняли Тулу. Бунт вспыхнул в уезде Арзамасском и в Алатырском: Мордва, холопы, крестьяне грабили, резали

царских чиновников и Дворян, утопили Алатырского Воеводу Сабурова, осадили Нижний Новгород именем Димитрия. Астрахань также изменила: ее знатный Воевода, Окольный Князь Иван Хворостинин, взял сторону Шаховского: верных умертвили: доброго, мужественного Дьяка Карпова и многих иных. Самых границ Сибири коснулось возмущение, но не проникло в оную: там начальствовали усердные Годуновы, хотя и в честной ссылке. Из Вятки, из Перми силою гнали воинов в Москву, а чернь славил Димитрия. К сему смятению присоединилось ужасное естественное бедствие: язва в Новгороде, где умерло множество людей, и в числе их Боярин Катырев. Между тем целое войско злодеев разными путями шло от Путивля к Туле, Калуге и Рязани.

Василий бодрствовал неусыпно, распоряжал хладнокровно: послал рати и Воевод: знатнейшего саном Князя Мстиславского и знаменитейшего мужеством Скопина-Шуйского к Калуге; Воротынского к Туле, Хилкова к Венеу, Измайлова к Козельску, Хованского к Михайлову, Боярина Федора Шереметева к Астрахани, Пушкина к Арзамасу; а сам еще остался в Москве с дружиною Царскою, чтобы хранить святыню отечества и Церкви или явиться на поле битвы в час решительный. Василий думал предупредить соединение мятежников, истребить их отдельно, нападениями разными, единомысленными, чтобы вдруг и везде утушить бунт. Действуя в воинских распоряжениях как Стратиг искусный, он хотел действовать и на сердца людей, оживить в них силу нравственную, успокоить совесть, возмущенную беззакониями государственными, и снова скрепить союз Царя с Царством, нарушенный злодейством.

[1607 г.] Имей торжественное совещание с Ермогеном, Духовенством, Синклитом, людьми чиновными и торговыми, Василий определил звать в Москву бывшего Патриарха Иова для *великого земского дела*. Ермоген писал к Иову: «Преклоняем колена: удостой нас видеть благолепное лицо твое и слышать глас твой сладкий: молим тебя именем отечества смятенного». Иов приехал, и (20 Февраля) явился в церкви Успения, извне окруженной и внутри наполненной несметным множеством людей. Он стоял у Патриаршего места в виде простого Инока, в бедной ризе, но возвышаемый в глазах зрителей памятию его знаменитости и страданий за истину, смирением и святостию: отшельник, вызванный почти из гроба примирить Россию с законом и Небом. Все было изготовлено Царем для действия торжественного, в коем Патриарх Ермоген с любовию уступал первенство старцу, уже бесчиновному. В глубокой тишине общего безмолвия и внимания поднесли Иову бумагу и велели Патриаршему Диакону читать ее на амвоне. В сей бумаге народ – и только один народ – молил Иова отпустить ему, именем Божиим, все его грехи пред законом, строптивость, ослепление, вероломство и клялся впредь не нарушать присяги, быть верным Государю; требовал прощения для живых и мертвых, дабы успокоить души клятвопреступников и в другом мире; винил себя во всех бедствиях, ниспосланных Богом на Россию, но не винился в цареубийствах, приписывая убийство Феодора и Марии одному расстриге; наконец молил Иова, как святого мужа, благословить Василия, Князей, Бояр, христолюбивое воинство и всех Христиан, да восторжествует Царь над мятежниками и да насладится Россия счастьем тишины. Иов отвечал грамотою, заблаговременно, но действительно им сочиненною, писанною известным его слогом, умирительно и не без искусства. Тот же Диакон читал ее народу. Изобразив в ней величие России, произведенное умом и счастьем ее Монархов – хваля особенно государственный ум Иоанна Грозного, Иов соболезновал о гибельных следствиях его преждевременной кончины и Димитриева заклания, но умолчал о виновнике оно, некогда любив и славив Бориса; напомнил единодушное избрание Годунова в Цари и народное к нему усердие; дивился ослеплению Россиян, прельщенных бродягою; говорил: «Я давал вам страшную на себя клятву в удостоверение, что он самозванец: вы не хотели мне верить – и сделалось, чему нет примера ни в священной, ни в светской Истории». Описав все измены, бедствие отечества и церкви, свое изгнание, гнусное Цареубийство, если не совершенное, то по крайней мере допущенное народом – воздав хвалу Василию, *Царю святому и праведному*, за великодушное избавление России от стыда и гибели – Иов продолжал: «Вы знаете, убит ли самозванец; знаете, что не осталось на земле и *скарядного* тела его – а злодеи дерзают уверять Россию, что он жив и есть истинный Димитрий! Велики грехи наши пред Богом, *в сии времена последние*, когда вымыслы нелепые, когда сволочь мерзостная, тати, разбойники, беглые холопы могут столь ужасно возмущать отечество!» Наконец, исчислив все клятвопреступления Россиян, не исключая и данной Лжедимитрию присяги, Иов именем Небесного милосердия, своим и всего Духовенства объявлял им разрешение и прощение, в надежде, что они уже не изменят снова Царю законному, и добродетелию верности, плодом чистого раскаяния, умилоустивят Всевышнего, да победят врагов и возвратят Государству мир с тишиною.

Действие было неописанное. Народу казалось, что тяжкие узы клятвы спали с него, и что сам Всевышний устами праведника изрек помилование России. Плакали, радовались – и тем сильнее тронуты были вестью, что Иов, едва успев доехать из Москвы до Старицы, преставился [8 Марта]. Мысль, что он, уже стоя на Праге вечности, беседовал с Москвою, умиляла сердца. Забыли в нем слугу Борисова: видели единственно мужа святого, который в последние минуты жизни и в последних молениях души своей ревностно занимался судьбою горестного отечества, умер, благословляя его и возвестив ему умилоствление Неба!

Но происшествия не соответствовали благоприятным ожиданиям. Воеводы, посланные Царем истребить скопища мятежников, большею частию не имели успеха. Мстиславский, с главным войском обступив Калугу, стрелял из тяжелых пушек, делал примет к укреплениям, издали вел к ним *деревянную гору* и хотел зажечь ее вместе с тыном острога: но Болотников подкопом взорвал сию гору; не знал и не давал успокоения осаждающим; сражался день и ночь; не жалел людей, ни себя; обливался кровию в битвах непрестанных и выходил из оных победителем, доказывая, что ожесточение злодейства может иногда уподобляться геройству добродетели. Он боялся не смерти, а долговременной осады, предвидя необходимость сдаться от голода: ибо не успел запастися хлебом. Разбойники Калужские ели лошадей, не жаловались и не слабели в сечах. Царь велел снова обещать милость их Атаману, если покорится: ответом его был: «жду милости единственно от Димитрия!» Тщетно прибегали и к средствам, менее законным: Московский лекарь Фидлер вызвался отравить главного злодея, дал на себя страшную клятву и, взяв 100 флоринов, обманул Василия: уехал в Калугу служить за деньги Болотникову, из любви к расстриге. Неудачная осада продолжалась четыре месяца.

Другие Воеводы, встретив неприятеля в поле, бежали: Хованский от Михайлова в Переславль Рязанский, Хилков от Венева в Коширу, Воротынский от Тулы в Алексин, наголову разбитый предводителем изменников, Князем Андреем Телятевским, который успел прежде его занять и Тулу и Дедилов. Только Измайлов и Пушкин честно сделали свое дело: первый, рассеяв многочисленную шайку изменника Князя Михайла Долгорукого, осадил мятежников в Козельске; второй спас Нижний Новгород, усмирив бунт в Арзамасе, в Ардатове, и еще приспел к Хилкову в Коширу, чтобы идти с ним к Серебряным Прудам, где они истребили скопище злодеев и взяли их двух начальников, Князя Ивана Мосальского и Литвина Сторовского; но близ Дедилова были разбиты сильными дружинами Телятевского и в беспорядке отступили к Кошире: Воевода Ададуров положил голову на месте сей несчастной битвы, и множество беглецов утонуло в реке Шате. – Боярин Шереметев, коему надлежало усмирить Астрахань, не мог взять города; укрепился на острове Болдинском, и не взирая на зимний холод, нужду, смертоносную цыngu в своем войске, отражал все приступы тамошних бунтовщиков, которые в исступлении ярости мучили, убивали пленных. Глава их, Князь Хворостинин, объявив самого Шереметева изменником, грозил ему лютейшею казнию и звал Ногайских Владетелей под знамена Димитрия. Но Царь уже не думал о том, что происходило в отдаленной Астрахани, когда судьба его и Царства решилась за 160 верст от столицы.

Ежедневно надеясь победить Болотникова если не мечем, то голодом – надеясь, что Воротынский в Алексине и Хилков в Кошире заслоняют осаду Калуги и блюдут безопасность Москвы – главный Воевода Князь Мстиславский отрядил Бояр, Ивана Никитича Романова, Михайла Нагого и Князя Мезецкого против злодея, Василия Мосальского, который шел с своими толпами Белевскою дорогою к Калуге. Они сразились с неприятелем на берегах Вырки, смело и мужественно. Целые сутки продолжалась битва. Мосальский пал, оказав храбрость, достойную лучшей цели. Так пали и многие клеветы его: уже не имея Вождя, теснимые, расстроенные, не хотели бежать, ни сдаться: умирали в сече; другие зажгли свои пороховые бочки и взлетели на воздух, как жертвы остервенения, свойственного только войнам междоусобным. Романов, дотоле известный единственно великодушным терпением в несчастии, удостоился благодарности Царя и золотой медали за оказанную им доблесть. Но изменники в другом месте были счастливее. Они, подобно Царю, соображали свои действия наступательные, следуя общей мысли и стремясь с разных сторон к одной цели: освободить Болотникова. Гибель Мосальского не устрасила Телятевского, который также шел к Калуге и также встретил Московских Воевод, Князей Татеву, Черкасского и Борятинского, высланных Мстиславским из Калужского стана. В жестокой битве на Пчелне легли Татев и Черкасский со многими из добрых воинов; остальные спаслись бегством в стан Калужский и привели его в ужас, коим воспользовался Болотников: сделал вылазку и разогнал войско, еще многочисленное; все обратили тыл, кроме юного Князя Скопина-Шуйского и витязя Истома Пашкова, уже верного слуги Царского: они упорным боем дали время

малодушным бежать, спасая если не честь, то жизнь их; отступили, сражаясь, к Боровску, где несчастный Мстиславский и другие Воеводы соединили рассеянные остатки войска, бросив пушки, обоз, запасы в добычу неприятелю. Еще хуже робости была измена: 15000 воинов Царских, и в числе их около ста Немцев, пристали к мятежникам. Узнав, что сделалось под Калугою, Измайлов снял осаду Козельска; по крайней мере не кинул снаряда огнестрельного и засел в Мещовске.

Сии вести поразили Москву. Шуйский снова колебался на престоле, но не в душе: созвал Духовенство, Бояр, людей чиновных; предложил им меры спасения, дал строгие указы, требовал немедленного исполнения и грозил казнию ослушникам: все Россияне, годные для службы, должны были спешить к нему с оружием, монастыри запасти столицу хлебом на случай осады, и самые Иноки готовиться к ратным подвигам за Веру. Употребили и нравственное средство: Святители предали анафеме Болотникова и других известных, главных злодеев: чего Царь не хотел дотоле, в надежде на их раскаяние. Время было дорого: к счастью, мятежники не двигались вперед, ожидая Илейки, который с последними силами и с Шаховским еще шел к Туле. 21 Маия Василий сел на ратного коня и сам вывел войско, приказав Москву брату Димитрию Шуйскому, Князьям Одоевскому и Трубецкому, а всех иных Бояр, Окольных, Думных Дьяков и Дворян взяв с собою под Царское знамя, коего уже давно не видали в поле с таким блеском и множеством сановников: уже не стыдились идти всем Царством на скопище злодеев храбрых! Близ Серпухова соединились с Василием Мстиславский и Воротынский, оба как беглецы в унынии стыда. Довольный числом, но боясь робости сподвижников, Царь умел одушевить их своим великодушием: в присутствии ста тысяч воинов целуя крест, громогласно произнес обет возвратиться в Москву победителем или умереть; он не требовал клятвы от других, как бы опасаясь ввести слабых в новый грех вероломства, и дал ее в твердой решимости исполнить. Казалось, что Россия нашла Царя, а Царь нашел подданных: все с ревностью повторили обет Василиев – и на сей раз не изменили.

Сведав, что Илейка с Шаховским уже в Туле, и что Болотников к ним присоединился, Василий послал Князей Андрея Голицына, Лыкова и Прокопия Ляпунова к Кошире. Самозванец Петр, как главный предводитель злодеев, велел также занять сей город Телятевскому. Рати сошлись на берегах Восми [5 Июня]: началось дело кровопролитное, и мятежники одолевали: но Голицын и Лыков кинулись в пыл битвы с восклицанием: «Нет для нас бегства; одна смерть или победа!» и сильным, отчаянным ударом смяли неприятеля. Телятевский ушел в Тулу, оставив Москвитянам все свои знамена, пушки, обоз; гнали бегущих на пространстве тридцати верст и взяли 5000 пленных. Храбрейшие из злодеев, Козаки Терские, Яицкие, Донские, украинские, числом 1700, засели в оврагах и стреляли; уже не имели пороха, и все еще не сдавались: их взяли силою на третий день и казнили, кроме семи человек, помилованных за то, что они спасли некогда жизнь верным Дворянам, которые были в руках у злодея Илейки: черта достохвальная в самой неумолимой мести!

Обрадованный столь важным успехом и геройством Воевод своих еще более, нежели числом врагов истребленных, Василий изъявил Голицыну и Лыкову живейшую благодарность; двинулся к Алексиному, выгнал оттуда мятежников, шел к Туле. Еще злодеи хотели отведать счастья и в семи верстах от города, на речке Воронее, сразились с полком Князя Скопина-Шуйского: стояли в месте крепком, в лесу, между топами, и долго противились; наконец Москвитяне зашли им в тыл, смешали их и вогнали в город; некоторые вломились за ними даже в улицы, но там пали: ибо Воеводы без Царского указа не дерзнули на общий приступ; а Царь жалел людей или опасался неудачи, зная, что в Туле было еще не менее двадцати тысяч злодеев отчаянных: Россияне умели оборонять крепости, не умея брать их. Обложили Тулу. Князь Андрей Голицын занял дорогу Коширскую: Мстиславский, Скопин и другие Воеводы Кропивинскую; тяжелый снаряд огнестрельный расставили за турами близ реки Упы; далее, в трех верстах от города, шатры Царские. Началась осада [30 Июня], медленная и кровопролитная, подобно Калужской: тот же Болотников и с тою же смелостию бился в вылазках; презирая смерть, казался и невредимым и неутомимым: три, четыре раза в день нападал на осаждающих, которые одерживали верх единственно превосходством силы и не могли хвалиться действием своих тяжелых стенобитных орудий, стреляя только издали и не метко. Воеводы Московские взяли Дедилов, Кропивну, Епифань и не пускали никого ни в Тулу, ни из Тулы: Василий хотел одолеть ее жестокое сопротивление голодом, чтобы в одном гнезде захватить всех главных злодеев и тем прекратить бедственную войну междоусобную. «Но Россия, – говорит Летописец,

– утопала в пучине крамол, и волны стремились за волнами: рушились одне, поднимались другие».

Замышляя измену, Шаховской надеялся, вероятно, одною сказкою о Царе изгнаннике низвергнуть Василия и дать России иного Венценосца, нового ли бродягу, или кого-нибудь из Вельмож, знаменитых родом, если, невзирая на свою дерзость, не смел мечтать о короне для самого себя; но, обманутый надеждою, уже стоял на краю бездны. Ежедневно уменьшались силы, запасы и ревность стесненных в Туле мятежников, которые спрашивали: «где же тот, за кого умираем? Где Димитрий?» Шаховской и Болотников клялися им: первый, что Царь в Литве; второй, что он видел его там собственными глазами. Оба писали в Галицию, к ближним и друзьям Мнишковым, требуя от них какого-нибудь Димитрия или войска, предлагая даже Россию Ляхам, такими словами: «От границы до Москвы все наше: придите и возьмите; только избавьте нас от Шуйского». С письмами и наказом послали в Литву Атамана Козаков Днепровских, Ивана Мартынова Заруцкого, смелого и лукавого: умев ночью пройти сквозь стан Московский, он не хотел ехать далее Стародуба, жил в сем городе безопасно и питал в гражданах ненависть к Василию. Послали другого вестника, который достиг Сендомира, не нашел там никакого Димитрия, но заставил ближних Мнишковых искать его: искали и нашли бродягу, жителя Украины, сына Поповского, Матвея Веревкина, как уверяют Летописцы, или Жида, как сказано в современных бумагах государственных. Сей самозванец и видом и свойствами отличался от расстриги: был груб, свиреп, корыстолюбив до низости: только, подобно Отрепьеву, имел дерзость в сердце и некоторую хитрость в уме; владел искусно двумя языками, Русским и Польским; знал твердо Св. Писание и Круг Церковный; разумел, если верить одному чужеземному Исторiku, и язык Еврейский, читал Тальмуд, книги Раввинов, среди самых опасностей воинских; хвалился мудростию и предвидением будущего. Пан Меховецкий, друг первого обманщика, сделался руководителем и наставником второго; впечатлел ему в память все обстоятельства и случаи Лжедимитриевой истории, – открыл много и тайного, чтобы изумлять тем любопытных; взял на себя чин его Гетмана; пригласил сподвижников, как некогда Воевода Сендомирский, чтобы возратить Державному изгнаннику Царство; находил менее легковых, но столько же, или еще более, ревнителей славы или корысти. «Не спрашивали, – говорит Историк Польский, – истинный ли Димитрий или обманщик зовет воителей? Довольно было того, что Шуйский сидел на престоле, обагренном кровию Ляхов. Война Ливонская кончилась: юношество, скучая праздностию, кипело любовию к ратной деятельности; не ждало указа Королевского и решения чинов государственных: хотело и могло действовать самовольно», но, конечно, с тайного одобрения Сигизмундова и панов думных. Богатые давали деньги бедным на предприятие, коего целью было расхищение целой Державы. Выставили знамена, образовалось войско; и весть за вестью приходила к жителям Северским, что скоро будет у них Димитрий.

Наконец, 1 Августа, явились в Стародубе два человека: один именовал себя Дворянином Андреем Нагим, другой Алексеем Рукиным, Московским Подьячим; они сказали народу, что Димитрий недалеко с войском и велел им ехать вперед, узнать расположение граждан: любят ли они своего Царя законного? Хотят ли служить ему усердно? Народ единодушно воскликнул: «где он? где отец наш? идем к нему все головами». Он *здесь*, отвечивал Рукин, и замолчал, как бы утешаясь своей нескромности. Тщетно граждане убеждали его изъясниться; вышли из терпения, схватили и хотели пытать безмолвного упряма: тогда Рукин объявил им, что мнимый Андрей Нагой есть Димитрий. Никто не усомнился: все кинулись Лобызать ноги пришельца; вопили: «Хвала Богу! нашлося сокровище наших душ!» Ударили в колокола, пели молебны, честили Самозванца, коего прислал Меховецкий, готовясь идти вслед за ним с войском: прислал с одним клеветом безоружного, беззащитного, по тайному уговору, как вероятно, с главными Стародубскими изменниками, желая доказать Ляхам, что они могут надеяться на Россиян в войне за Димитрия. Путивль, Чернигов, Новгород Северский, едва услышав о прибытии Лжедимитрия, и еще не видя знамен Польских, спешили изъяснить ему свое усердие, и дать воинов. Заблуждение уже не извиняло злодейства: многие из северян знали первого Самозванца и следственно знали обман, видя второго, человека им неизвестного; но славили его как Царя истинного, от ненависти к Шуйскому, от буйности и любви к мятежу. Так Атаман Заруцкий, быв наперсником расстригиным, упал к ногам Стародубского обманщика, уверяя, что будет служить ему с прежнею ревностию, и бесстыдно исчисляя опасности и битвы, в коих они будто бы вместе храбровали. Но были и легковые, с горячим сердцем и воображением, слабые умом, твердые душою. Таким оказал себя один Стародубец, сын Боярский: взял и вручил Царю, в стане под Тулою, письмо от городов Северских, в котором мятежники советовали Шуйскому уступить

престол Димитрию и грозили казнию в случае упорства: сей Посол дерзнул сказать в глаза Василию то же, называя его не Царем, а злым изменником; терпел пытку, хваляся верностью к Димитрию, и был сожжен в пепел, не изъявив ни чувствительности к мукам, ни сожаления о жизни, в исступлении ревности удивительной.

Василий, узнав о сем явлении Самозванца, о сем новом движении и скопище мятежников в южной России, отрядил Воевод, Князей Литвинова-Мосальского и Третьяка Сеитова, к ее пределам: первый стал у Козельска; второй занял Лихвин, Белев и Болхов. Скоро услышали, что Меховецкий уже в Стародубе с сильными Литовскими дружинами; что Заруцкий призвал несколько тысяч Козаков и соединил их с толпами Северскими; что Лжедимитрий, выступив в поле, идет к Туле. Воеводы Царские не могли спасти Брянска и велели зажечь его, когда жители вышли с хлебом и солью навстречу к мнимому Димитрию... В сие время один из Польских друзей его, Николай Харлеский, исполненный к нему усердия и надежды завоевать Россию, писал к своим ближним в Литву следующее письмо любопытное: «Царь Димитрий и все наши благородные витязи здравствуют. Мы взяли Брянск, сожженный людьми Шуйского, которые вывезли оттуда все сокровища, и бежали так скоро, что их нельзя было настигнуть. Димитрий теперь в Карачеве, ожидая знатнейшего вспоможения из Литвы. С ним наших 5000, но многие вооружены худо... Зовите к нам всех храбрых; прельщайте их и славою и жалованьем Царским. У вас носится слух, что сей Димитрий есть обманщик: не верьте. Я сам сомневался и хотел видеть его; увидел, и не сомневаюсь. Он набожен, трезв, умен, чувствителен; любит военное искусство; любит наших; милостив и к изменникам: дает пленным волю служить ему или снова Шуйскому. Но есть злодеи: опасаясь их, Димитрий никогда не спит на своем Царском ложе, где только для вида велит быть страже: положив там кого-нибудь из Русских, сам уходит ночью к Гетману или ко мне и возвращается домой на рассвете. Часто бывает тайно между воинами, желая слышать их речи, и все знает. Зная даже и будущее, говорит, что ему властвовать не долее трех лет; что лишится престола изменою, но опять воцарится и распространит Государство. Без прибытия новых, сильнейших дружин Польских, он не думает спешить к Москве, если возьмет и самого Шуйского, которые в ужасе, в смятении снял осаду Тулы; все бегут от него к Димитрию... Но Самозванец, оставив за собою Болхов, Белев, Козельск, и разбив Князя Литвинова-Мосальского близ Мещовска, на пути к Туле сведал, что в ней славится уже не Димитриево, а Василиево имя.

Еще мятежники оборонялись там усиленно до конца лета, хотя и терпели недостаток в съестных припасах, в хлебе и соли. Счастливая мысль одного воина дала Царю способ взять сей город без кровопролития. Муромец, сын Боярский, именем Сумин Кровков, предложил Василию затопить Тулу, изъяснил возможность успеха и ручался в том жизнию. Приступили к делу; собрали мельников; велели ратникам носить землю в мешках на берег Упы, ниже города, и запрудили реку деревянною плотиною: вода поднялась, вышла из берегов, влилась в острог, в улицы и дворы, так что осажденные ездили из дому в дом на лодках; только высокие места остались сухи и казались грядами островов. Битвы, вылазки пресеклись. Ужас потопа и голода смирил мятежников: они ежедневно целыми толпами приходили в стан к Царю, винулись, требовали милосердия и находили его, все без исключения. Главные злодеи еще несколько времени упорствовали: наконец и Телятевский, Шаховской, сам непреклонный Болотников, известили Василия, что готовы предать ему Тулу и самозванца Петра, если Царским словом удостоверены будут в помиловании, или, в противном случае, умрут с оружием в руках, и скорее *съедят друг друга* от голода, нежели сдадутся. Уже зная, что новый Лжедимитрий недалеко, Василий обещал милость, – и 10 Октября Боярин Колычев, вступив в Тулу с воинами Московскими, взял подлеешего из злодеев, Илейку. Болотников явился с головы до ног вооруженный, пред шатрами Царскими, сошел с коня, обнажил саблю, положил ее себе на шею, пал ниц и сказал Василию: «Я исполнил обет свой: служил верно тому, кто называл себя Димитрием в Сендомире: обманщик или Царь истинный, не знаю; но он выдал меня. Теперь я в твоей власти: вот сабля, если хочешь головы моей; когда же оставишь мне жизнь, то умру в твоей службе, усерднейшим из рабов верных». Он угадывал, кажется, свою долю. Миловать таких злодеев есть преступление; но Василий обещал, и не хотел явно нарушить слова: Болотникова, Шаховского и других начальников мятежа отправили, вслед за скованным Илейкою, в Москву с приставами; а Князя Телятевского, знатнейшего и тем виновнейшего изменника, из уважения к его именитым родственникам, не лишили ни свободы, ни Боярства, к посрамлению сего Вельможного достоинства и к соблазну государственному: слабость бесстыдная, вреднейшая жестокости!

Но общая радость все прикрывала. Взятие Тулы праздновали как завоевание Казанского Царства или Смоленского Княжества; и желая, чтобы сия радость была еще искреннее для войска утомленного, Царь дал ему отдых: уволили Дворян и Детей Боярских в их поместья, сведав, что Лжедмитрий, испуганный судьбою Лжепетра, ушел назад к Трубчевску. Вопреки опыту презирая нового злодея России, Василий не спешил истребить его; послал только легкие дружины к Брянску, а конницу Черемисскую и Татарскую в Северскую землю для грабежа и казни виновных ее жителей; не хотел ждать, чтобы сдалася Калуга, где еще держались клеветы Болотникова с Атаманом Скотницким: велел осаждать ее малочисленной рати и возвратился в столицу. Москва встретила его как победителя. Он въезжал с необыкновенною пышностью, с двумя тысячами нарядных всадников, в богатой колеснице, на прекрасных белых конях; умиленно слушал речь Патриарха, видел знаки народного усердия и казался счастливым! Три дни славили в храмах милость Божию к России; пять дней молился Василий в Лавре Св. Сергия, и заключил церковное торжество действием государственного правосудия: злодея Илейку повесили на Серпуховской дороге, близ Данилова монастыря. Болотникова, Атамана Федора Нагибу и строптивейших мятежников отвезли в Каргополь и тайно утопили. Шаховского сослали в каменную пустыню Кубенского озера, а вероломных Немцев, взятых в Туле, числом 52, и с ними медика Фидлера, в Сибирь. Всех других пленников оставили без наказания и свободными. Калуга, Козельск еще противились; вся южная Россия, от Десы до устья Волги, за исключением немногих городов, признавали Царем своим мнимого Димитрия: сей злодей, отступив, ждал времени и новых сил, чтобы идти вперед, – а Москва, утомленная тревогами, наслаждалась тишиною, после ужасной грозы и пред ужаснейшею! Испытав ум, твердость Царя и собственное мужество, верные Россияне думали, что главное сделано; хотели временного успокоения и надеялись легко довершить остальное.

Так думал и сам Василий. Быв дотоле в непрестанных заботах и в беспокойстве, мыслив единственно о спасении Царства и себя от гибели, он вспомнил наконец о своем счастье и невесте: жестокою Политикою лишенный удовольствия быть супругом и отцом в летах цветущих, спешил вкусить его хотя в летах преклонных, и женился на Марии, дочери Боярина Князя Петра Ивановича Буйносова-Ростовского. Верить ли сказанию одного Летописца, что сей брак имел следствия бедственные: что Василий, алчный к наслаждениям любви, столь долго ему неизвестным, предался неге, роскоши, лени: начал слабеть в государственной и в ратной деятельности, среди опасностей засыпать духом, и своим небрежением охладил ревность лучших советников Думы, Воевод и воинов, в Царстве Самодержавном, где все живет и движется Царем, с ним бодрствует или дремлет?

Но согласно ли такое очарование любви с природными свойствами человека, который в недосугах заговора и властвования смутного целые два года забывал милую ему невесту? И какое очарование могло устоять противу таких бедствий?

По крайней мере до сего времени Василий бодрствовал не только в усилиях истребить мятежников, но с удивительным хладнокровием, едва избавив от них Москву, занимался и земскими или государственными уставами и способами народного образования, как бы среди глубокого мира. В Марте 1607 года, имев торжественное рассуждение с Патриархом, Духовенством и Синклитом, он издал соборную грамоту о беглых крестьянах, велел их возвратить тем владельцам, за коими они были записаны в книгах с 1593 года: то есть подтвердил уложение Феодора Иоанновича, но сказав, что оно есть дело Годунова, не одобренное Боярами старейшими, и произвело в начале много зла, неизвестного в Иоанново время, когда земледельцы могли свободно переходить из селения в селение. Далее уставлено в сей грамоте, что принимающий чужих крестьян должен платить в казну 10 рублей пени с человека, а господам их три рубля за каждое лето; что подговорщик, сверх денежной пени, наказывается кнутом, что муж беглой девки или вдовы делается рабом ее господина; что если господин не женит раба до двадцати лет, а рабы не выдаст замуж до осьмнадцати, то обязан дать им волю и не имеет права жаловаться в суде на их бегство, даже и в случае кражи или сноса: закон благонамеренный, полезный не только для размножения людей, но и для чистоты нравственной!

Тогда же Василий велел перевести с Немецкого и Латинского языка *Устав дел ратных*, желая, как сказано в начале оного, чтобы «Россияне знали все новые хитрости воинские, коими хвалятся Италия, Франция, Испания, Австрия, Голландия, Англия, Литва, и могли не только силою, но и смыслу смыслом противиться с успехом, в такое время, когда ум человеческий всего более вперен в науку необходимую для благосостояния и славы Государств: в науку побеждать врагов и хранить целостность земли своей». Ничто не забыто в сей любопытной книге: даны правила

для образования и разделения войска, для строя, похода, станов, обоза, движений пехоты и конницы, стрельбы пушечной и ружейной, осады и приступов, с ясностию и точностию. Не забыты и нравственные средства. Пред всякою битвою надлежало Воеводе ободрять воинов *лицом веселым*, напоминать им отечество и присягу; говорить: «я буду впереди... лучше умереть с честью, нежели жить бесчестно», и с сим вручать себя Богу.

Угождая народу своею любовью к старым обычаям Русским, Василий не хотел однако ж, в угодность ему, гнать иноземцев: не оказывал к ним пристрастия, коим упрекали расстригу и даже Годунова, но не давал их в обиду мятежной черни; выслал ревностных телохранителей Лжедмитриевых и четырех Медиков Германских за тесную связь с Поляками, – оставив лучшего из них, лекаря Вазмера, при себе: но старался милостию удержать всех честных Немцев в Москве и в Царской службе, как воинов, так и людей ученых, художников, ремесленников, любя гражданское образование и зная, что они нужны для успехов его в России; одним словом, имел желание, не имел только времени сделаться просветителем отечества... и в какой век! в каких обстоятельствах ужасных!

Глава II. Продолжение Василиева царствования. Г. 1607–1609

Бегство Воевод от Калуги. Самозванец усиливается. Дело знаменитое. Грамота Лжедмитриева. Предложение Шведов. Победа Лисовского. Победа Самозванца. Ужас в Москве. Измена Воевод. Самозванец в Тушине. Перемирие с Литвою. Коварство Ляхов. Победа Сапег. Марина и Мнишек у Самозванца. Скопин послан к Шведам. Бегство к Самозванцу. Разврат в Москве. Знаменитая осада Лавры. Измена городов. Ужасное состояние России. Тушино. Договор Самозванца с Мнишком. Польша объявляет войну России. Крайность России и перемена к лучшему.

В то время, когда Москва праздновала Василиево бракосочетание, война междоусобная уже снова пылала. Калуга упорствовала в бунте. От имени Царя ездил к ее жителям и людям воинским прощенный изменник Атаман Беззубцев с убеждением смириться. Они сказали: «Не знаем Царя, кроме Дмитрия: ждем и скоро его увидим!» Вероятно, что явление второго Лжедмитрия было им уже известно. Василий, жалея утомлять войско трудами зимней осады, предложил, весьма неосторожно, четырем тысячам Донских мятежников, которые в битве под Москвою ему сдались, загладить вину свою взятием Калуги: Донцы изъявили не только согласие, но и живейшую ревность; клялись оказать чудеса храбрости; прибыли в Калужский стан к Государевым Воеводам и чрез несколько дней взбунтовались так, что уstraшенные Воеводы бежали от них в Москву. Часть мятежников вступила в Калугу; другие ушли к Самозванцу.

Сей наглый обманщик недолго был в бездействии. Дружины за дружинами приходили к нему из Литвы, конные и пехотные, с Вождями знатными: в числе их находились Мозырский Хорунжий Иосиф Будзило, Паны Тишкевичи и Лисовский, беглец, за какое-то преступление осужденный на казнь в своем отечестве: смелостию и мужеством витязь, ремеслом грабитель. Узнав, что Василий распустил главное войско, Лжедмитрий, по совету Лисовского, немедленно выступил из Трубчевска с семью тысячами Ляхов, осмью тысячами Козаков и немалым числом Россиян. Воеводы Царские, Князь Михайло Кашин и Ржевский, укрепились в Брянске; Самозванец осадил его, но не мог взять, от храбрости защитников, которые терпели голод, ели лошадей и, не имея воды, доставали ее своею кровью, ежедневными вылазками и битвами. Рать Лжедмитриева усилилась шайками новых Донских выходцев: они представили ему какого-то неизвестного бродягу, мнимого Царевича Феодора, будто бы второго сына Ирины; но Лжедмитрий не хотел признать его племянником и велел умертвить. Осада длилась, и Василий успел принять меры: Боярин Князь Иван Семенович Куракин из столицы, а Князь Литвинов из Мещовска шли спасти Брянск. Литвинов первый с дружинами Московскими достиг берегов Десны, видел сей город и стан Лжедмитриев на другой стороне ее, но не мог перейти туда, ибо река покрывалась льдом: осажденные также видели его; кричали своим Московским братьям: «спасите нас! не имеем куска хлеба!» и со слезами простирали к ним руки. Сей день (15 Декабря 1607) остался памятным в нашей истории: Литвинов кинулся в реку на коне; за Литвиновым все, восклицая: «лучше умереть, нежели выдать своих: с нами Бог!» плыли, разгребая лед, под выстрелами неприятеля, изумленного такою смелостию, вышли на берег и сразились. Кашин и

Ржевский сделали вылазку. Неприятель между двумя огнями не устоял, смешался, отступил. Уже победа совершилась, когда приспел Куракин, дивиться мужеству добрых Россиян и славить Бога Русского; но сам, как Главный Воевода, не отличился: только запас город всем нужным для осады; укрепился на левом берегу Десны и дал время неприятелю образумиться. Река стала. Лжедмитрий соединил полки свои и напал на Куракина. Бились мужественно, несколько раз, без решительного следствия, и войско Царское, оставив Брянск, заняло Карачев. Не имея надежды взять ни того, ни другого города, Самозванец двинулся вперед, мирно вступил в Орел и написал оттуда следующую грамоту к своему мнимому тестю, Воеводе Сендомирскому: «Мы, Дмитрий Иоаннович, Божию милостию Царь всея России, Великий Князь Московский, Дмитровский, Углицкий, Городецкий... и других многих земель и Татарских Орд, Московскому Царству подвластных, Государь и наследник... Любезному отцу нашему! Судьбы Всевышняго непостижимы для ума человеческого. Все, что бывает в мире, искони предопределено Небом, коего Страшный Суд совершился и надо мною: за грехи ли наших предков или за мои собственные, изгнанный из отечества и, скитаясь в землях чуждых, сколько терпел я бедствий и печали! Но Бог же милосердый, не помянув моих беззаконий, и спас меня от изменников, возвращает мне Царство, карает наших злодеев, преклоняет к нам сердца людей, Россиян и чужеземцев, так что надеемся скоро освободить вас и всех друзей наших, к неописанной радости вашего сына. Богу единому слава! Да будет также вам известно, что Его Величество, Король Сигизмунд, наш приятель, и вся Речь Посполитая усердно содействуют мне в отыскании наследственной Державы». Сия грамота, вероятно, не дошла до Мнишка, заключенного в Ярославле, но была конечно и писана не для него, а единственно для тех, которые еще могли верить обману.

[1608 г.] Самозванец зимовал в Орле спокойно, умножая число подданных обольщением и силою; следуя правилу Шаховского и Болотникова, возмущал крестьян: объявлял независимость и свободу тем, коих господа служили Царю; жаловал холопей в чины, давал поместья своим усердным слугам, иноземцам и Русским. Там прибыли к нему знатные Князья Рожинский и Адам Вишневецкий с двумя или тремя тысячами всадников. Первый, властолюбивый, надменный и необузданный, в жаркой распре собственной рукою умертвил Меховецкого, друга, наставника Лжедмитриева, и заступил место убитого: сделался Гетманом бродяги, презираемого им и всеми умными Ляхами.

Но Василий уже не мог презирать сего злодея: еще не думая оставить юной супруги и столицы, он вверил рать любимому своему брату, Дмитрию Шуйскому, Князьям Василию Голицыну, Лыкову, Волконскому, Нагому; велел присоединиться к ним Куракину, коннице Татарской и Мордовской, посланной еще из Тулы на Северную землю, и если не был, то по крайней мере казался удостоверенным, что власть законная, не взирая на смятение умов в России, одолеет крамолу. В сие время чиновник Шведский, Петрей, находясь в Москве, остерегал Василия, доказывая, что явление Лжедмитриев есть дело Сигизмунда и Папы, желающих овладеть Россиею, предлагал нам, от имени Карла IX, союз и значительное вспоможение; но Василий – так же, как и Годунов – сказал, что ему нужен только один помощник, Бог, а других не надобно. К несчастью, он должен был скоро переменить мысли.

Главный Воевода, Дмитрий Шуйский, отличался единственно величавостию и спесию; не был ни любим, ни уважаем войском; не имел ни духа ратного, ни прозорливости в советах и в выборе людей; имел зависть к достоинствам блестящим и слабость к ласкателям коварным: для того, вероятно, не взял юного, счастливого витязя Скопина-Шуйского и для того взял Князя Василия Голицына, знаменитого изменами. Рать Московская остановилась в Болхове; не действовала, за тогдашними глубокими снегами, до самой весны и дала неприятелю усилиться. Шуйский и сподвижники его, утружденные зимним походом, с семидесятью тысячами воинов отдыхали; а толпы Лжедмитриевы, не боясь ни морозов, ни снегов, везде рассыпались, брали города, жгли села и приближались к Москве. Начальники Рязани, Князь Хованский и Думный Дворянин Ляпунов, хотели выгнать мятежников из Пронска, овладели его внешними укреплениями и вломились в город; но Ляпунова тяжело ранили: Хованский отступил – и чрез несколько дней, под стенами Зарайска, был наголову разбит Паном Лисовским, который оставил там памятник своей победы, видимый и донныне: высокий курган, насыпанный над могилою убитых в сем деле Россиян. Царю надлежало защитить Москву новым войском. Писали к Дмитрию Шуйскому, чтобы он не медлил, шел и действовал: Шуйский наконец выступил [13 Апреля] и верстах в десяти от Болхова уже встретил Самозванца.

Первый вступил в дело Князь Василий Голицын и первый бежал; главное войско также дрогнуло: но запасное, под начальством Куракина, смелым ударом остановило стремление неприятеля. Бились долго и разошлись без победы. С честью пали многие воины, Московские и Немецкие, коих главный сановник Ламсдорф, тайно обещал Лжедмитрию передаться к нему со всею дружиною, но пьяный забыл о сем уговоре и не мешал ей отличиться мужеством в битве. В следующий день возобновилось кровопролитие, и Шуйский, излишне осторожный или робкий, велел преждевременно спасать тяжелые пушки и везти назад к Болхову, дал мысль войску о худом конце сражения: чем воспользовался Лжедмитрий, извещенный переметчиком (Боярским сыном Лихаревым), и сильным нападением смял ряды Москвитян; все бежали, еще кроме Немцев: капитан Ламсдорф, уже не пьяный, предложил им братски соединиться с Ляхами; но многие, сказав: «наши жены и дети в Москве», ускакали вслед за Россиянами. Остались 200 человек при знаменах с Ламсдорфом, ждали чести от Лжедмитрия – и были изрублены Козаками: Гетман Рожинский велел умертвить их как обманщиков, за кровь Ляхов, убитых ими накануне. Сия измена Немцев утаилась от Василия: он наградил их вдов и сирот, думая, что Ламсдорф с добрыми сподвижниками лег за него в жаркой сече.

Царские Воеводы и воины бежали к Москве; некоторые с Князем Третьяком Сеитовым засели в Болхове; другие ушли в дома. Болхов, где находилось 5000 людей ратных, сдался Лжедмитрию: все они присягнули ему в верности, выступили с ним к Калуге, но шли особенно, под начальством Князя Сеитова. Москва была в ужасе. Беглецы, оправдывая себя, в рассказах своих умножали силы Самозванца, число Ляхов, Козаков и Российских изменников; даже уверяли, что сей второй Лжедмитрий есть один человек с первым; что они узнали его в битве по храбрости еще более, нежели по лицу. Чернь начинала уже винить Бояр в несчастной измене Самозванцу ожившему и думала, в случае крайности, выдать их ему головами; некоторые только страшились, чтобы он, как волшебник, не увидел на них крови истерзанных ими Ляхов или своей собственной! Но в то же время достойные Россияне, многие Дворяне и Дети Боярские, оставив семейства, из ближних городов спешили в столицу защитить Царя в опасности. Явились и мнимые изменники Болховские, Князь Третьяк Сеитов с пятью тысячами воинов: удостоверенные, что Самозванец есть подлый злодей, они ушли от него с берегов Оки в Москву, извиняясь минутным страхом и неволею. Василий составил новое войско, и дал начальство – к несчастью, поздно – знаменитому Ивану Романову. Сие войско стало на берегах Незнани, между Москвою и Калугою, ждало неприятеля и готовилось к битве, – но едва не было жертвою гнусного заговора. Главные сподвижники Скопина и Романова, чистых сердцем пред людьми и Богом, не имели их души благородной: Воеводы, Князь Иван Катырев, Юрий Трубецкой, Троекуров, думая, что пришла гибель Шуйских, как некогда Годуновых, и что лучше ускорением ее снискать милость бродяги, как сделал Басманов, нежели гибнуть вместе с Царем злосчастным, начали тайно склонять Дворян и Детей Боярских к измене. Умысел открылся: Василий приказал их схватить, везти в Москву, пытать – и, несомненно уличенных, осудил единственно на ссылку, из уважения к древним родам Княжеским: Катырева удалили в Сибирь, Трубецкого в Тотьму, Троекурова в Нижний; но менее знатных и менее виновных преступников, участников злодейского кова, казнили: Желябовского и Невтева. Встревоженный сим происшествием и вестию, что Самозванец обходит стан Воевод Царских и приближается к Москве другим путем, государь велел им также идти к столице, для ее защиты.

1 Июня Лжедмитрий с своими Ляхами и Россиянами стал в двенадцати верстах отсюда, на дороге Волоколамской, в селе Тушине, думая одним своим явлением взволновать Москву и свергнуть Василия; писал грамоты к ее жителям и тщетно ждал ответа. Войско, верное Царю, заслоняло с сей стороны город. Были кровопролитные сшибки, но ничего не решило. Уверяют, что Князь Рожинский хотел взять Москву немедленным приступом, но что Лжедмитрий сказал ему: *Если разорите мою столицу, то где же мне царствовать? если сожжете мою казну, то чем же будет мне наградить вас?* «Сия жалость к Москве погубила его, – пишет Историк чужеземный, который доброхотствовал злодею более, нежели России: – Самозванец щадил столицу, но не щадил Государства, преданного им в жертву Ляхам и разбойникам. На пепле Москвы скоро явилась бы новая; она уцелела, а вся Россия сделалась пепелищем». Но Самозванец, имея тысяч пятнадцать Ляхов и Козаков, пятьдесят или шестьдесят тысяч Российских изменников, большею частию худо вооруженных, действительно ли имел способ взять Москву, обширную твердыню, где, кроме жителей, находилось не менее осьмидесяти тысяч исправных воинов под защитою крепких стен и бесчисленного множества пушек? Лжедмитрий надеялся более на измену, нежели на силу; хотел отрезать Москву от городов Северных и

перенес стан в село Тайнинское, но был сам отрезан: войско Московское заняло Калужскую дорогу и пресекло его сообщение с Украйною, откуда шли к нему новые дружины Литовские и везли запасы: дружины были рассеяны, запасы взяты, и Лжедимитрий стеснен на малом пространстве. Усиленным боем очистив себе путь, он возвратился в Тушино, избрал место выгодное, между реками Москвою и Восточною, подле Волоколамской дороги, и спешил там укрепиться валом с глубокими рвами (коих следы видим и ныне). Воеводы Царские, Князь Скопин-Шуйский, Романов и другие, стали между Тушиным и Москвою, на Ходынке; за ними и сам Государь, на Пресне или Ваганкове, со всем Двором и полками отборными: выезжая из столицы, он видел усердие и любовь народа, слышал его искренние обеты верности и требовал от него тишины, великодушного спокойствия. Столица действительно казалась спокойною, извне оберегаемая Царем, внутри особенным *засадным* войском, коим предводительствовали Бояре, и которое, храня все укрепления от Кремля до слобод, в случае нападения могло одно спасти город. Воспоминали нашествие, угрозы и гибель Болотникова; надеялись, что будет то же и Самозванцу, а Царю новая слава, и ежечасно ждали битвы. Но Царь, готовый обороняться, не думал наступать и дал время неприятелю укрепиться в тушинском стане: Василий занимался переговорами.

Уже несколько месяцев находились в Москве чиновники Сигизмундовы, Витовский и Князь Друцкий-Соколинский, присланные Королем поздравить Василия с воцарением и требовать свободы всех знатных Ляхов. Бояре предложили им возобновить мирный договор Годунова времени, нарушенный Сигизмундом столь бессовестно; но чиновники Королевские объявили, что им должно видеться для того с Литовскими Послами, заключенными в Москве, и что без них они не могут ничего сделать. Бояре согласились. Жив 18 месяцев в страхе и в скуке, тщетно хотел бежать и даже силою вырваться из неволи, Олесницкий и Голосевский снова явились в Кремлевском дворце, как Послы, с верующею грамотою Королевскою; говорили, спорили, расходились с неудовольствием, чтобы опять сойтись. Мы желали мира: Ляхи желали только освободить единоземцев своих из рук наших. Исполняя их требование, Царь велел привезти в Москву Воеводу Сендомирского и позволил ему беседовать с ними тайно, наедине, без сомнения не в миролюбивом к нам расположении... Но Самозванец был уже под Москвою! Имея одну цель: отнять у него союзников-Ляхов, Василий позволил Князю Рожинскому наведываться, словесно или письменно, о здоровье Послов Сигизмундовых: для чего сановники Литовские ездили из Тушинского стана в Москву свободно и безопасно. Наконец, 25 Июля, Послы заключили с Боярами следующий договор: «1) В течение трех лет и одиннадцати месяцев не быть войне между Россиею и Литвою. 2) В сие время условиться о вечном мире или двадцатилетнем перемирии. 3) Обоим Государствам владеть, чем владеют. 4) Царю не помогать врагам Королевским, Королю врагам Царя ни людьми, ни деньгами. 5) Воеводу Сендомирского с дочерью и всех Ляхов освободить и дать им нужное для путешествия до границы. 6) Князьям Рожинскому, Вишневецкому и другим Ляхам, без ведома Королевского вступившим в службу к злодею, второму Лжедимитрию, немедленно оставить его и впредь не приставать к бродягам, которые вздумают именовать себя Царевичами Российскими. 7) Воеводе Сендомирскому не называть сего нового обманщика своим зятем и не выдавать за него дочери. 8) Марине не именоваться и не писаться Московскою Царицею». Договор утвелили с обеих сторон клятвою; но не Василий, а Сигизмунд достиг цели. Коварство Ляхов открылось еще во время переговоров.

Чиновники, посланные от Князя Рожинского из Тушина в Москву, действовали как лазутчики, высматривая укрепления города и стана Ходынского. Царь был неосторожен: Воеводы еще неосторожнее. Сперва они бодрствовали неутомимо, днем и ночью, в доспехах и на конях: вдали легкие отряды, вокруг неусыпная стража. Но тишина, бездействие и слух о мире с Ляхами уменьшили опасение: Россияне уже не береглися; а Гетман Лжедимитриев, ночью, с Ляхами и Козаками внезапно ударил на стан Ходынский: захватил обоз и пушки, резал сонных или безоружных и гнал изумленных ужасом беглецов почти до самой Пресни, где их встретило войско, высланное Царем с людьми ближними, Стольниками, Стряпчими и Жильцами. Тут началась кровопролитная битва, и неприятель должен был отступить; его теснили и гнали до Ходынки.

Василий мог справедливо жаловаться, что Ляхи, заключая мир, воюют и нападают врасплох: он скоро увидел их совершенное вероломство. Исполняя договор, Василий вместе с Послами немедленно отпустил в Литву Воеводу Сендомирского, Марину и всех их знатных единоземцев из Москвы и других мест, где они содержались; дал им для хранения воинскую дружину под начальством Князя Владимира Долгорукого и надеялся, что Рожинский,

Вишневецкий и другие Паны, извещенные об условиях мира, оставят Лжедмитрия: но никто из них не думал оставить его! Они дали время Послам и Мнишку удалиться и снова начали воевать, не внимая убеждениям наших Бояр, которые писали к ним, что обман столь гнусный достоин не витязей Державы Христианской, а подлых слуг злодея подлого; что если Рожинский имеет хотя искру чести в душе, то обязан выдать Самозванца для казни и немедленно выйти из России. Число Ляхов грабителей еще умножилось семью тысячами всадников, приведенных в Тушино Усвятским Старостою Яном Петром Сапегою. Сей Рыцарь знатный, воинскими способностями превосходя всех иных сподвижников бродяги, превосходил их и в бесстыдстве: знал, кто он; смеялся над ним и над Россиянами; говорил: «мы жалуем в Цари Московские, кого хотим»; жег, грабил и хвалился *Римским* геройством! Сапега хотел битвою решить судьбу Москвы и тревожил нападениями стан Ходынский: Рожинский, управляя Самозванцем, медлил, ожидая скорой измены в столице: ибо там уже действовали злодеи, ненавистники Василиевы; сносились еще с Послами Литовскими, сносились и с Гетманом Лжедмитриевым, давали им советы, готовили предательство. Нетерпеливый и гордый Сапега отделился от Гетмана; желал начальствовать независимо, завоевать внутренние области России и с пятнадцатью тысячами двинулся к Лавре Сергиевой, чтобы разграбить ее богатство. С другой стороны, Пан Лисовский, именем Дмитрия присоединив к своим шайкам 30000 изменников Тульских и Рязанских, взял Коломну, пленил тамошнего Воеводу Долгорукого, Епископа Иосифа, Детей Боярских и шел к Москве. Царь выслал против него Князей Куракина и Лыкова, которые на берегах Москвы-реки, на Медвеьем броду, сражались целый день, разбили неприятеля, освободили Коломенских пленников – и Лисовский, хотев явиться в Тушине победителем, явился там беглецом с немногими всадниками. Царские Воеводы Иван Бутурлин и Глебов снова заняли Коломну.

Сей успех был предтечею бедствия. Князя Иван Шуйский и Григорий Ромодановский, посланные с войском вслед за Сапегою, настигли его между селом Здвиженским и Рахманцовым: отразили два нападения и взяли пушки. Казалось, что они победили; но Сапега, раненный пулею в лицо, не выпускал меча из рук и, сказав своим: «отечество далеко; спасение и честь впереди, а за спиною стыд и гибель», третьим отчаянным ударом смешал Москвитян. Винили Воеводу Федора Головина, который первый дрогнул и бежал; хвалили Ромодановского, который не думал о сыне, подле него убитом, и сражался мужественно: другие следовали примеру Головина, а не Ромодановского, и, быв числом вдвое сильнее неприятеля, рассыпались, как стадо овец. Сапега гнал их 15 верст, взял 20 знамен и множество пленников. Воеводы с главными чиновниками бежали по крайней мере к Царю, но воины в дома свои, крича: «идем защитить наших жен и детей от неприятеля!»

Другое важное происшествие имело для Москвы и России еще вреднейшее следствие. Послы Литовские и Мнишек, выезжая из столицы, уже знали, чему надлежало случиться, быв в тайном сношении с Лжедмитриевыми советниками, как мы сказали. Василий дал на себя оружие злодеям, дав свободу Марине. Он верил договору и клятве; но мог ли благоразумно верить им в таких обстоятельствах, в таком общем забвении всех уставов чести и справедливости? Князь Долгорукий ехал с Послами и с Воеводою Сендомирским через Углич, Тверь, Белую к Смоленской границе и был встречен сильным отрядом конницы, высланной из Тушинского стана с двумя чиновными Ляхами Зборовским и Стадницким, чтобы освободить Марину. Долгорукий не мог или не хотел противиться; воины его разбежались: он сам ускакал назад в Москву; а чиновники Лжедмитриевы, объявив Марине, что супруг ждет ее с нетерпением, вручили грамоту отцу ее. «Мы сердечно обрадовались, – писал к нему Самозванец, – услышав о вашем отъезде из Москвы: ибо лучше знать, что вы далее, но свободны, нежели думать, что вы близко, но в плену. Спешите к нежному сыну. Не в унижении, как теперь, а в чести и в славе, как будет скоро, должна видеть вас Польша. Мать моя, ваша супруга, здорова и благополучна в Сендомире: ей все известно». Мнишек и Марина не колебались. Отечество, безопасность, Вельможество и богатство, еще достаточное для жизни роскошной, не имели для них прелести трона и мщенья; ни опасности, ни стыд не могли удержать их от нового, вероломного и еще гнуснейшего союза с злодейством. Лжедмитрий звал к себе и Послов Сигизмундовых: один Николай Олесницкий возвратился; другие спешили в Литву, не хотев быть свидетелями срамного торжества Марины, которая ехала к мнимому Царю своему пышно и безопасно, местами уже ему подвластными. Узнав, что она приближается, Самозванец велел палить из всех пушек; но Марина остановилась в шатрах за версту от Тушина: там было первое свидание, и не радостное, как пишут. Марина знала истину; знала верно, что убитый муж ее не воскрес из мертвых, и заблаговременно приготовилась к обману: с печалию однако ж увидела

сего второго самозванца, гадкого наружностью, грубого, низкого душою – и, еще не мертвая для чувств женского сердца, содрогнулась от мысли разделять ложе с таким человеком. Но поздно! Мнишек и честолюбие убедили Марину преодолеть слабость. Условились, чтобы Духовник Воеводы Сендомирского, Иезуит, тайно обвенчал ее с Лжедмитрием, который дал слово жить с нею как брат с сестрою, до завоевания Москвы. Наконец, 1 Сентября Марина торжественно въехала в тушинский стан и лицедействовала столь искусно, что зрители умилялись ее нежностью к супругу: радостные слезы, объятия, слова, внушенные, казалось, истинным чувством, – все было употреблено для обмана и не бесполезно: многие верили ему, или по крайней мере говорили, что верят, и Российские изменники писали к своим друзьям: «Дмитрий есть без сомнения истинный, когда Марина признала в нем мужа». Сии письма имели действие: из разных городов, из самого войска Царского приехали к злодею Дворяне, люди чиновные, Стольники: Князья Дмитрий Трубецкой, Черкасский, Алексей Сицкий, Засекины, Михайло Бутурлин, Дьяк Грамотин, Третьяков и другие, которые знали первого Лжедмитрия и следовательно знали обман второго. В числе сих немаловажных изменников находился и знатнейший Вельможа Дворецкий Отрепьева, Князь Василий Рубец-Мосальский: сосланный Воеводствовать в Кексгольм, он был вызван или привезен в Москву как человек подозрительный, видел себя в опале и с дерзостью явился на новом феатре злодейства. Другие, менее бессовестные, но малодушные, не ожидая ничего, кроме бедствий для Царя, разъехались от него по домам; не тронулись и были ему *до конца* верны одни украинские Дворяне и Дети Боярские, вопреки бунтам их отчизны клятой.

Видя страшное начало измен и ежедневное уменьшение войска, Василий решился устранить гордость народную: доселе не хотел слышать о вспоможении иноземном, велел своему знаменитому племяннику, Князю Михаилу Скопину-Шуйскому, ехать к неприятелю Сигизмундову, Карлу IX, заключить с ним союз и привести Шведов для спасения России! Уже Царь мог без вины не верить отечеству, зараженному духом предательства – и лучший из Воевод, хотя и юнейший, в годину величайшей опасности с печалию удалился от рати, думая, что он возвратится, может быть, уже поздно, не спасти Царя, а только умереть последним из достойных Россиян!.. Тогда же Царь писал к Государям Западной Европы, к Королю Датскому, Английскому и к Императору, о вероломстве Сигизмундовом, требуя их вспоможения или, по крайней мере, суда беспристрастного. Но не в таких обстоятельствах Державы находят союзников ревностных: касаясь гибели, Россия могла быть только предметом любопытства или бесплодной жалости для отдаленной Европы!

Еще оказывая благородную неустрашимость, Василий искал если не геройства, то стыда в Россиянах; собрал воинов и спрашивал, кто хочет стоять с ним за Москву и за Царство? Говорил: «Для чего срамить себя бегством? Даю вам волю: идите, куда хотите! Пусть только верные останутся со мною!» Казалось, что воины ждали сего великодушного слова: требовали Евангелия и креста; наперерыв целовали его и клялись умереть за Царя... а на другой и в следующие дни толпами бежали в Тушино... те, которые еще недавно служили верно Иоанну ужасному, изменяли Царю снисходительному, передавались к бродяге и Ляхам, древним неприятелям России, исполненным злобой мести и справедливого к ним презрения! Чудесное иступление страстей, изъясняемое единственно гневом Божиим! Сей народ, безмолвный в грозах самодержавия наследственного, уже играл Царями, узнав, что они могут быть избираемы и низвергаемы его властью или дерзким своевољством!

С таким ли войском мог Василий отважиться на решительную битву в поле? Быв дотоле защитником Москвы, он уже искал в ней защиты для себя: вступил со всеми полками в столицу, орошенную кровию Самозванца и Ляхов, туда, где страх лютой мести должен был воспламенить и малодушных для отчаянного сопротивления. Все улицы, стены, башни, земляные укрепления пополнились воинами под начальством мужей Думных, которые еще с видом усердия ободряли их и народ. Но не было уже ни взаимной доверенности между государственною властью и подданными, ни ревности в душах, как бы утомленных напряжением сил в непрестанном борении с опасностями грозными. Все ослабело: благоговение к сану Царскому, уважение к Синклиту и Духовенству. Блеск Василиевой великодушной твердости затмевался в глазах страждущей России его несчастием, которое ставили ему в вину и в обман: ибо сей властолюбец, принимая скипетр, обещал благоденствие Государству. Видели ревностную мольбу Василиеву в храмах; но Бог не внимал ей – и Царь злосчастный казался народу Царем неблагословенным, отверженным. Духовенство славilo высокую добродетель Венценосца, и Бояре еще изъясляли к нему усердие; но Москвитяне помнили, что Духовенство славilo и кляло Годунова, славilo и

кляло Отрепьева; что Бояре изъявляли усердие и к расстриге накануне его убийства. В смятении мыслей и чувств, добрые скорбели, слабые недоумевали, злые действовали... и гнусные измены продолжались.

Столица уже не имела войска в поле: конные дружины неприятельские, разъезжая в виду стен ее, прикрывали бегство Московских изменников, воинов и чиновников, к Самозванцу; многие из них возвращались с уверением, что он не Димитрий, и снова уходили к нему. Злодейство уже казалось только легкомыслием; уже не мерзли сими обыкновенными беглецами, а шутили над ними, называя их *перелетами*. Разврат был столь ужасен, что родственники и ближние уговаривались между собою, кому оставаться в Москве, кому ехать в Тушино, чтобы пользоваться выгодами той и другой стороны, а в случае несчастья, здесь или там, иметь заступников. Вместе обедав и пиروвав (тогда еще пиروвали в Москве!) одни спешили к Царю в Кремлевские палаты, другие к *Царику*, так именовали второго Лжедмитрия. Взяв жалованье из казны Московской, требовали иного из Тушинской – и получали! Купцы и Дворяне за деньги снабжали стан неприятельский яствами, солью, платьем, оружием, и не тайно: знали, видели и молчали; а кто доносил Царю, именовался *наушником*. Василий колебался: то не смел в крайности быть жестоким подобно Годунову, и спускал преступникам; то хотел строгостью унять их, и веря иногда клеветникам, наказывал невинных, к умножению зла. «Вельможи его, – говорит Летописец, – были в смущении и в *двоемыслии*: служили ему языком, а не душою и телом; некоторые дерзали и словами язвить Царя заочно, вопреки присяге и совести». Невзирая на то, Москва, наученная примером Отрепьева, еще не думала предать Царя; еще верность хотя и сомнительная, одолевала измену в войске и в народе: все колебалось, но еще не падало к ногам Самозванца. Окруженная твердынями, наполненная воинами, столица могла не страшиться приступа, когда гордый Сапега, в сие время, тщетно силился взять и монастырскую ограду, где горсть защитников среди ужасов беззакония и стыда еще помнила Бога и честь Русского имени.

Троицкая Лавра Св. Сергия (в шестидесяти четырех верстах от столицы), прельщая Ляхов своим богатством, множеством золотых и серебряных сосудов, драгоценных камней, образов, крестов, была важна и в воинском смысле, способствуя удобному сообщению Москвы с Севером и Востоком России: с Новымгородом, Вологдою, Пермью, Сибирскою землею, с областю Владимирскою, Нижегородскою и Казанскою, откуда шли на помощь к Царю дружины ратные, везли казну и запасы. Основанная в лесной пустыне, среди оврагов и гор, Лавра еще в царствование Иоанна IV была ограждена (на пространстве шестисот сорока двух саженей) каменными стенами (вышиною в четыре, толщиною в три сажени) с башнями, острогом и глубоким рвом: предусмотрительный Василий успел занять ее дружинами Детей Боярских, Козаков верных, стрельцов, и с помощью усердных Иноков снабдить всем нужным для сопротивления долговременного. Сии Иноки – из коих многие, быв мирянами, служили Царям в чинах воинских и Думных – взяли на себя не только значительные издержки и молитву, но и труды кровавые в бедствиях отечества; не только, сверх ряс надев доспехи, ждали неприятеля под своими стенами, но и выходили вместе с воинами на дороги, чтобы истреблять его разъезды, ловить вестников и лазутчиков, прикрывать обозы Царские; действовали и невидимо в стенах вражеских, письменными увещаниями отнимая клеветов у Самозванца, трогая совесть легкомысленных, еще незакоснелых изменников и представляя им в спасительное убежище Лавру, где число добрых подвижников, одушевленных чистою ревностью или раскаянием, умножалось. «Доколе, – говорили Лжедмитрию Ляхи, – доколе свирепствовать против нас сим кровожадным *врагам, гнездящимся в их каменном гробе*? Города многолюдные и целые области уже твои, Шуйский бежал от тебя с войском, а Чернцы ведут дерзкую войну с тобою! Рассыплет их прах и жилище!» Еще Лисовский, злодействуя в Переславской и Владимирской области, мыслил взять Лавру: увидев трудность, прошел мимо, и сжег только посад Клементьевский, но Сапега, разбив Князей Ивана Шуйского и Ромодановского, хотел чего бы то ни стоило овладеть ею.

Сия осада знаменита в наших летописях не менее Псковской, и еще удивительнее: первая утешила народ во время его страдания от жестокости Иоанновой; другая утешает потомство в страдании за предков, униженных развратом. В общем падении духа увидим доблесть некоторых, и в ней причину государственного спасения: казня Россию, Всевышний не хотел ее гибели и для того еще оставил ей *таких* граждан. Не устраним подробностей в описании дел славных, совершенных хотя и в пределах смиренной обители монашеской, людьми простыми, низкими званием, высокими единственно душою!

23 Сентября Сапега, а с ним и Лисовский; Князь Константин Вишневецкий, Тишкевичи и многие другие знатные Паны, предводительствуя тридцатью тысячами Ляхов, Козаков и

Российских изменников, стали в виду монастыря на Клементьевском поле. Осадные Воеводы Лавры, Князь Григорий Долгорукий и Алексей Голохвастов, желая узнать неприятеля и показать ему свое мужество, сделали вылазку и возвратились с малым уроном, дав время жителям монастырских слобод обратить их в пепел: каждый зажег дом свой, спасая только семейство, и спешил в Лавру. Неприятель в следующий день, осмотрев места, занял все высоты и все пути, расположился станом и начал укрепляться. Между тем Лавра наполнилась множеством людей, которые искали в ней убежища, не могли вместиться в келиях и не имели крова: больные, дети, родильницы лежали на дожде в холодную осень. Легко было предвидеть дальнейшие, гибельные следствия тесноты, но добрые Иноки говорили: «Св. Сергей не отвергает злосчастных» – и всех принимали. Воеводы, Архимандрит Иосаф и Соборные старцы урядили защиту: везде расставили пушки; назначили, кому биться на стенах или в вылазках, и Князь Долгорукий с Голохвастовым первые, над гробом Св. Сергия, поцеловали крест в том, чтобы *сидеть в осаде без измены*. Все люди ратные и монастырские следовали их примеру в духе любви и братства, ободряли друг друга и с ревностью готовились к *трапезе кровопролитной*, пить чашу смертную за отечество. С сего времени пение не умолкало в церквах Лавры, ни днем, ни ночью.

29 Сентября Сапега и Лисовский писали к Воеводам: «Покоритесь Димитрию, истинному Царю вашему и нашему, который не только сильнее, но и милостивее лжецаря Шуйского, имея, чем жаловать верных, ибо владеет уже едва не всем государством, стеснив своего злодея в Москве осажденной. Если мирно сдадитесь, то будете Наместниками *Троицкого града* и Владетелями многих сел богатых; в случае бесполезного упорства, падут ваши головы». Они писали и к Архимандриту и к Инокам, напоминая им милость Иоанна к Лавре, и требуя благодарности, ожидаемой от них его сыном и невесткою. Архимандрит и Воеводы читали сии грамоты всенародно; а Монахи и воины сказали: «Упование наше есть Святая Троица, стена и щит – Богоматерь, Святые Сергей и Никон – сподвижники: не страшимся!» В бранном ответе Ляхам не оставили слова на мир; но не тронули изменника, сына Боярского, Бессона Руготина, который привозил к ним Сапегины грамоты.

30 Сентября неприятель утвердил туры на горе Волкуше, Терентьевской, Круглой и Красной; выкопал ров от Келарева пруда до Глиняного врага, насыпал широкий вал и с 3 Октября, в течение шести недель, палил из шестидесяти трех пушек, стараясь разрушить каменную ограду; стены, башни тряслись, но не падали, от худого ли искусства пушкарей или от малости их орудий: сыпались кирпичи, делались отверстия и немедленно заделывались; ядра каленые летели мимо зданий монастырских в пруды, или гасли на пустырях и в ямах, к удивлению осажденных, которые, видя в том чудесную к ним милость Божию, укреплялись духом и в ожидании приступа все исповедались, чтобы с чистою совестью не робеть смерти; многие постриглись, желая умереть в сане монашеском. Иноки, деля с воинами опасности и труды, ежедневно обходили стены с святыми иконами.

Сапега готовился к первому решительному делу не молитвою, не покаянием, а пиrom для всего войска. 12 Октября с утра до вечера Ляхи и Российские изменники шумели в стане, пили, стреляли, скакали на лошадях с знаменами вокруг Лавры, в сумерки вышли полками к турам, заняли дорогу Углицкую, Переславскую, и ночью устремились к монастырю с лестницами, щитами и тарасами, с криком и музыкою. Их встретили залпом из пушек и пищалей; не допустили до стен; многих убили, ранили, все другие бежали, кинув лестницы, щиты и тарасы. В следующее утро осажденные взяли сии трофеи и предали огню, славя Бога. – Не одолев силою, Сапега еще думал взять Лавру угрозами и лестью: Ляхи мирно подъезжали к стенам, указывали на свое многочисленное войско, предлагали выгодные условия; но чем более требовали сдачи, тем менее казались страшными для осажденных, которые уже действовали и наступательно.

19 Октября, видя малое число неприятелей в огородах монастырских, стрельцы и Козаки без повеления Воевод спустились на веревках со стены, напали и перерезали там всех Ляхов. Пользуясь сею ревностию, Князь Долгорукий и Голохвастов тогда же сделали смелую вылазку с конными и пехотными дружинами к турам Красной горы, чтобы разрушить неприятельские бойницы; но в жестокой сече лишились многих добрых воинов. Никто не отдался в плен; раненых и мертвых принесли в Лавру, всего более жалея о храбром чиновнике Брехове: он еще дышал, и был вместе с другими умирающими пострижен в Монахи... В возмездие за верную службу Царю земному, отечество передавало их в Образе Ангельском Царю Небесному.

Гордясь сим делом как победою, неприятель хотел довершить ее: в темную осеннюю ночь (25 Октября), когда огни едва светились и все затихло в Лавре, дремлющие воины встрепнулись от незапного шума: Ляхи и Российские изменники под громом всех своих бойниц, с криком и

воплем, стремились к монастырю, достигли рва и соломою с берестом зажгли острог: яркое пламя озарило их толпы как бы днем, в цель пушкам и пищалям. Сильною стрельбою и гранатами осажденные побили множество смелейших Ляхов и не дали им сжечь острога; неприятель ушел в свои законы, но и в них не остался: при свете восходящего солнца видя на стенах церковные хоругви, воинов, Священников, которые пели там благодарственный молебен за победу, он устранился нападения и бежал в стан укрепленный. Несколько дней минуло в бездействии.

Но Сапега и Лисовский в тишине готовили гибель Лавре: вели подкопы к стенам ее. Угадывая сие тайное дело, Князь Долгорукий и Голохвастов хотели добыть языков: сделали вылазку на Княжеское поле, к Мишутинскому врагу, где, разбив неприятельскую стражу, захватили Литовского Ротмистра Брушевского и без урона возвратились, не дав Сапеге преградить им пути. Расспрашивали чиновного пленника и пытали: он сказал, что Ляхи действительно ведут подкоп, но не знал места. Воеводы избрали человека искусного в ремесле горном, монастырского слугу Корсакова и велели ему *делать* под башнями так называемые *слухи* или ямы в глубину земли, чтобы слушать там голоса или стука людей копающих в ее недрах; велели еще углубить ров вне Лавры, от Востока к Северу. Сия работа произвела две битвы кровопролитные: неприятель напал на копателей, но был отражен действием монастырских пушек. В другой сече за рвом, Ноября 1 Ляхи убили 190 человек и взяли несколько пленников; стеснили осажденных, не пускали их черпать воды в прудах вне крепости и приблизили свои окопы к стенам. Сердца уныли и в великодушных: видели уменьшение сил ратных; опасались болезней от тесноты и недостатка в хорошей воде; знали верно, что есть подкоп, но не знали где, и могли ежечасно взлететь на воздух. Тогда же несколько ядер упало в Лавру: одно ударило в большой колокол, в церковь, и, к общему ужасу, раздробило святые иконы, пред коими народ молился с усердием; другим убило Инокинию; третьим, в день Архангела Михаила, оторвало ногу у старца Корнилия: сей Инок благочестивый, исходя кровию, сказал: «Бог Архистратигом своим Михаилом отмстит кровь Христианскую» – и тихо скончался. Тогда же между верными Россиянами нашлись и неверные: слуга монастырский Селевин бежал к Ляхам. Боялись его изветов, козней и тайных единомышленников: один пример измены был уже опасен. В сих обстоятельствах не изменилась ревность добрых старцев: первые на молитве, на страже и в битвах, они словом и делом воспаляли защитников, представляя им малодушие грехом, неробкую смерть долгом Христианским и гибель временную Вечным спасением.

Битвы продолжались. Осажденные сделали в земле ход, из-под стены в ров, с тремя железными воротами для скорейших вылазок; в темные ночи нападали на окопы неприятельские, хватали языков, допрашивали и сведали наконец важную тайну: тяжело раненный пленник Козак Дедиловский, умирая Христианином, указал Воеводам место подкопа. Ляхи вели его от мельницы к круглой угольной башне нижнего монастыря. Укрепив сие место частоколом и турами, Воеводы решились уничтожить опасный замысел Сапег. Два случая ободрили их: меткою стрельбою им удалось разбить главную Литовскую пушку, которая называлась *трещерою*, и более иных вредила монастырю. Другое счастливое происшествие уменьшало силу неприятеля: 500 Козаков Донских с Атаманом Епифанцем устыдились воевать Святую Обитель и бежали от Сапег в свою отчизну. 9 Ноября, за три часа до света, взяв благословение Архимандрита над гробом Св. Сергия, Воеводы тихо вышли из крепости с людьми ратными и Монахами. Глубокая тьма скрывала их от неприятеля; но как скоро они стали в ряды, сильный порыв ветра рассеял облака: мгла исчезла; ударили в осадный колокол, и все кинулись вперед, восклицая имя Св. Сергия. Нападение было с трех сторон, но стремились к одной цели: выгнали Козаков и Ляхов из ближайших укреплений, овладели мельницею, нашли и взорвали подкоп, к сожалению, с двумя смельчаками (Шиловым и Слотом, Клементьевскими земледельцами), которые наполнили его веществом горючим, зажгли и не успели спастись. Победители были еще не довольны: резались с неприятелем между его бойницами, падали от ядер и меча. Не слушаясь начальников, все остальные Иноки и воины, толпа за толпою, прибежали из монастыря в пыл сечи, долго упорной. Несколько раз Ляхи сбивали их с высот в лощины, гнали и трубили победу; но Россияне снова выходили из оврагов, лезли на горы и наконец взяли Красную со всеми ее турами, немало пленников, знамена, 8 пушек, множество самопалов, ручниц, копий, палашей, воинских снарядов, труб и литавр; сожгли, чего не могли взять, и в торжестве, облитые кровию, возвратились при колокольном звоне всех церквей монастырских, неся своих мертвых, 174 человека и 66 тяжело раненных, а неприятельские укрепления оставив в пламени. Битва не пресекалась с раннего утра до темного вечера. 1500 Российских изменников и Ляхов, с Панами

Угорским и Мазовецким, легли около мельницы, прудов Клементьевского, Келарева, Конюшенного и Круглого, церковей нижнего монастыря и против Красных ворот (ибо Ляхи, в середине дела имел выгоду, гнали наших до самой ограды). Иноки и воины хоронили тела с умилением и благодарностию; раненых покоили с любовью в лучших келиях, на иждивении Лавры. Славили мужество Дворян, Внукова и Есипова убитых, Ходырева и Зубова живых. Брат изменника и переметчика, Сотник Данило Селевин сказал: «хочу смертью загладить бесчестие нашего рода», и сдержал слово: пеший напал на дружину Атамана Чики, саблею изрубил трех всадников и, смертельно раненный в грудь четвертым, еще имел силу убить его на месте. Другой воин Селевин также удивил храбростию и самых храбрых. Слуга монастырский, Меркурий Айгустов, первый достиг неприятельских бойниц и был застрелен из ружья Литовским пушкарем, коему сподвижники Меркуриевы в то же мгновение отсеки голову. Иноки сражались везде впереди. — О сем счастливом деле Архимандрит и Воеводы известили Москву, которая праздновала оное вместе с Лаврою.

Стыдясь своих неудач, Сапега и Лисовский хотели испытать хитрость: ночью скрыли конницу в оврагах и послали несколько дружин к стенам, чтобы выманить осажденных, которые действительно устремились на них и гнали бегущих к засаде; но стражи, увидев ее с высокой башни, звуком осадного колокола известили своих о хитрости неприятельской: они возвратились безвредно, и с пленниками.

Настала зима. Неприятель, большею частию укрываясь в стане, держался и в законах: Воеводы Троицкие хотели выгнать его из ближних укреплений и на рассвете туманного дня вступили в дело жаркое; заняв овраг Мишутин, Благовещенский лес и Красную гору до Клементьевского пруда, не могли одолеть соединенных сил Лисовского и Сапеги: были притиснуты к стенам; но подкрепленные новыми дружинами, начали вторую битву, еще кровопролитнейшую и для себя отчаянную, ибо уже не имели ничего в запасе. Монастырские бойницы и личное геройство многих дали им победу. «Св. Сергей, — говорит Летописец, — *охрабрил* и невежд; без лат и шлемов, без навыка и знания ратного, они шли на воинов опытных, доспешных, и побеждали». Так житель села Молокова, именем Суета, ростом великан, силою и душою богатырь, всех затмил чудесною доблестью; сделался истинным Воеводою, увлекал других за собою в жестокою свалку; на обе стороны сек головы бердышем и двигался вперед по трупам. Слуга Пимен Тененев пустил стрелу в левый висок Лисовского и свалил его с коня. Другого знатного Ляха, Князя Юрия Горского, убил воин Павлов и примчал мертвого в Лавру. Бились врукопашь, резались ножами, и толпы неприятельские редели от сильного действия стенных пушек. Сапега, не готовый к приступу, увидев наконец вред своей запальчивости, удалился; а Лавра торжествовала вторую знаменитую победу.

Но предстояло искушение для твердости. В холодную зиму монастырь не имел дров: надлежало кровию доставать их: ибо неприятель стерег дровосеков в рощах, убивал и пленил многих людей. Осажденные едва не лишились и воды: два злодея, из Детей Боярских, передались к Ляхам и сказали Сапеге, что если он велит спустить главный внешний пруд, из коего были проведены трубы в ограду, то все монастырские пруды иссохнут. Неприятель начал работу, и тайно: к счастью, Воеводы узнали от пленника и могли уничтожить сей замысел: сделав ночью вылазку, они умертвили работников и, вдруг отворив все подземельные трубы, водою внешнего пруда наполнили свои, внутри обители, на долгое время. — Нашлись и другие, гораздо важнейшие изменники: казначей монастырский, Иосиф Девочкин, и сам Воевода Голохвастов, если верить сказанию Летописца: ибо в великих опасностях или бедствиях, располагающих умы и сердца к подозрению, нередко вражда личная язвит и невинность клеветою смертоносною. Пишут, что сии два чиновника, сомневаясь в возможности спасти Лавру доблестью, хотели спасти себя злодейством и через беглеца Селевина тайно условились с Сапегою предать ему монастырь; что Голохвастов думал, в час вылазки, впустить неприятеля в крепость; что старец Гурий Шишкин хитро выведал от них адскую тайну и донес Архимандриту. Иосифу дали время на покаяние: он умер скоропостижно. Голохвастов же остался Воеводою: следственно не был уличен ясно; но сия измена, действительная или мнимая, произвела зло: взаимное недоверие между защитниками Лавры.

Тогда же открылось зло еще ужаснейшее. «Когда, — говорит Летописец Лавры, — бедствие и гибель ежедневно нам угрожали, мы думали только о душе; когда гроза начинала слабеть, мы обратились к телесному». Неприятель, изнуренный тщетными усилиями и холодом, кинул окопы, удалился от стен и заключился в земляных укреплениях стана, к великой радости осажденных, которые могли наконец безопасно выходить из тесной для них ограды, чтобы

дышать свободнее за стенами, рубить лес, мыть белье в прудах внешних; уже не боялись приступов и только добровольно сражались, от времени до времени тревожа неприятеля вылазками: начинали и прекращали битву, когда хотели. Сей отдых, сия свобода пробудили склонность к удовольствиям чувственным: крепкие меды и молодые женщины кружили головы воинам; увещания и пример трезвых Иноков не имели действия. Уже не берегли, как дотол, запасов монастырских; роскошествовали, пировали, тешились музыкою, пляскою... и скоро оцепенели от ужаса.

Долговременная теснота, зима сырая, употребление худой воды, недостаток в уксусе, в пряных зельях и в хлебном вине произвели цингу: ею заразились беднейшие и заразили Других. Больные пухли и гнили; живые смердели как трупы; задыхались от зловония и в келиях и в церквях. Умирало в день от двадцати до пятидесяти человек; не успевали копать могил; за одну платили два, три и пять рублей; клали в нее тридцать и сорок тел. С утра до вечера отпевали усопших и хоронили; ночью стон и вой не умолкали: кто издыхал, кто плакал над издыхающим. И здоровые шатались как тени от изнеможения, особенно Священники, коих водили и держали под руки для исправления треб церковных. Томные и слабые, предвидя смерть от страшного недуга, искали ее на стенах, от пули неприятельской. Вылазки пресеклись, к злой радости изменников и Ляхов, которые, слыша всегдашний плач в обители, всходили на высоты, взлезали на деревья и видели гибель ее защитников, кучи тел и ряды могил свежих, исполнились дерзости, подъезжали к воротам, звали Иноков и воинов на битву, ругались над их бессилием, но не думали приступом увериться в оном, надеясь, что они скоро сдадутся или все изгибнут.

В крайности бедствия Архимандрит Иоасаф писал к знаменитому Келарю Лавры, Аврамию Палицыну, бывшему тогда в Москве, чтобы он убедил Царя спасти сию священную твердыню немедленным вспоможением: Авраамий убеждал Василия, братьев его, Синклит, Патриарха; но столица сама трепетала, ожидая приступа Тушинских злодеев. Авраамий доказывал, что Лавра может еще держаться только месяц и падением откроет неприятелю весь Север России до моря. Наконец Василий послал несколько воинских снарядов и 60 Козаков с Атаманом Останковым, а Келар 20 слуг монастырских. Сия дружина, хотя и слабая числом, утешила осажденных: они видели готовность Москвы помогать им, и новою дерзостью – к сожалению, делом жестоким – явили неприятелю, сколь мало страшатся его злобы. Неосторожно пропустив царского Атамана в Лавру и захватив только четырех Козаков, варвар Лисовский с досады велел умертвить их перед монастырскою стеною. Такое злодейство требовало мести: осажденные вывели целую толпу Литовских пленников и казнили из них 42 человека, к ужасу Поляков, которые, гнушась виновником сего душегубства, хотели убить Лисовского, едва спасенного менее бесчеловечным Сапегою.

Бедствия Лавры не уменьшились: болезнь еще свирепствовала; новые сподвижники, Атаман Останков с Козаками, сделались также ее жертвою, и неприятель удвоил заставы, чтобы лишить осажденных всякой надежды на помощь. Но великодушие не слабело: все готовились к смерти; никто не смел упомянуть о сдаче. Кто выздоравливал, тот отведывал сил своих в битве, и вылазки возобновились. Действуя мечем, употребляли и коварство. Часто Ляхи, подъезжая к стенам, дружелюбно разговаривали с осажденными, вызывали их, давали им вино за мед, вместе пили и... хватали друг друга в плен или убивали. В числе таких пленников был один Лях, называемый в летописи Мартиасом, умный и столь искусный в лъстивом притворстве, что Воеводы верились в него как в изменника Литвы и в друга России: ибо он извещал их о тайных намерениях Сапеги; предсказывал с точностию все движения неприятеля, учил пушкарей меткой стрельбе, выходил даже биться с своими единосемцами за стеною и бился мужественно. Князь Долгорукий столь любил его, что жил с ним в одной комнате, советовался в важных делах и поручал ему иногда ночную стражу. К счастью, перебежал тогда в Лавру от Сапеги другой Пан Литовский, *Немко*, от природы глухий и бессловесный, но в боях витязь неустрашимый, ревнитель нашей Веры и Св. Сергия. Увидев Мартиаса, Немко заскрежетал зубами, выгнал его из горницы, и с видом ужаса знаками изъяснил Воеводам, что от сего человека падут монастырские стены. Мартиаса начали пытать и сведали истину: он был лазутчик Сапегин, пускал к нему тайные письма на стрелах и готовился, по условию, в одну ночь заколотить все пушки монастырские. Коварство неприятеля, усиливая остервенение, возвышало доблесть подвижников Лавры. Славнейшие изгибли: их место заступили новые, дотол презираемые или неизвестные, бесчиновные, слуги, земледельцы. Так Анания Селевин, раб смиренный, заслужил имя Сергиева витязя делами храбрости необыкновенной: Российские изменники и Ляхи знали его коня и тяжелую руку; видели издали и не смели видеть вблизи, по сказанию летописца: дерзнул один

Лисовский, и раненый пал на землю. Так стрелец Нехорошев и селянин Никифор Шилов были всегда путеводителями и героями вылазок; оба, единоборствуя с тем же Лисовским, обагрились его кровию: один убил под ним коня, другой рассек ему бедро. Стражи неприятельские бодрствовали, но грамоты утешительные, хотя и без воинов, из Москвы приходили: Келарь Авраамий, душою присутствуя в Лавре, писал к ее верным Россиянам: «будьте непоколебимы до конца!» Архимандрит, Иноки рассказывали о видениях и чудесах: уверяли, что Святые Сергей и Никон являются им с благовестием спасения: что ночью, в церквах затворенных, невидимые лики Ангельские поют над усопшими, свидетельствуя тем их сан небесный в награду за смерть добродетельную. Все питало надежду и Веру, огонь в сердцах и воображении; терпели и мужались до самой весны.

Тогда целебное влияние теплого воздуха прекратило болезнь смертоносную, и 9 Мая в новосвященном храме Св. Николая Иноки и воины пели благодарственный молебен, за коим следовала счастливая вылазка. Хотели доказать неприятелю, что Лавра уже снова цветет душевным и телесным здравием. Но силы не соответствовали духу. В течение пяти или шести месяцев умерло там 297 старых Иноков, 500 новопостриженных и 2125 Детей Боярских, стрельцов, Козаков, людей даточных и слуг монастырских. Сапега знал, сколь мало осталось живых для защиты, и решился на третий общий приступ. 27 Мая зашумел стан неприятельский: Ляхи, следуя своему обыкновению, с утра начали веселиться, пить, играть на трубах. В полдень многие всадники объезжали вокруг стен и высматривали места; другие взад и вперед скакали, и мечами грозили осажденным. Вечеру многочисленная конница с знаменами стала на Клементьевском поле; вышел и Сапега с остальными дружинами, всадниками и пехотою, как бы желая доказать, что презирает выгоду нечаянности в нападении и дает время неприятелю изготавиться к бою. Лавра изготавилась: не только Монахи с оружием, но и женщины явились на стенах с камнями, с огнем, смолою, известью и серою. Архимандрит и старые Иеромонахи в полном облачении стояли пред олтарем и молились. Ждали часа. Уже наступила ночь и скрыла неприятеля; но в глубоком мраке и безмолвии осажденные слышали ближе и ближе шорох: Ляхи как змеи ползли ко рву с стенобитными орудиями, щитами, лестницами – и вдруг с Красной горы грянул пушечный гром: неприятель завопил, ударил в бубны и кинулся к ограде; придвинул щиты на колесах, лез на стены. В сей роковой час остаток великодушных увенчал свой подвиг. Готовые к смерти, защитники Лавры уже не могли ничего страшиться: без ужаса и смятения каждый делал свое дело; стреляли, кололи из отверстий, метали камни, зажженную смолу и серу; лили вар; ослепляли глаза известью; отбивали щиты, тараны и лестницы. Неприятель оказывал смелость и твердость; отражаемый, с усилием возобновлял приступы, до самого утра, которое осветило спасение Лавры: Ляхи и Российские злодеи начали отступать; а победители, неутомимые и ненасытные, сделав вылазку, еще били их во рвах, гнали в поле и в лощинах, схватили 30 панов и чиновных изменников, взяли множество стенобитных орудий и возвратились славить Бога в храме Троицы. Сим делом важным, но кровопролитным только для неприятеля, решилась судьба осады. Еще держася в стане, еще надеясь одолеть непреклонность Лавры совершенным изнеможением ее защитников, Сапега уже берег свое войско; не нападая, единственно отражал смелые их вылазки и ждал, что будет с Москвою. Ждала того и Лавра, служа для нее примером, к несчастью, бесплодным.

Когда горсть достойных воинов-монахов, слуг и земледельцев, изнуренных болезнию и трудами – неослабно боролась с полками Сапеги, Москва, имея, кроме граждан, войско многочисленное, все лучшее Дворянство, всю нравственную силу Государства, давала владычествовать бродяге Лжедимитрию в двенадцати верстах от стен Кремлевских и досуг покорять Россию. Москва находилась в осаде: ибо неприятель своими разъездами мешал ее сообщениям. Хотя царские Воеводы иногда выходили в поле, иногда сражались, чтобы очистить пути, и в деле кровопролитном, в коем был ранен Гетман Лжедимитриев, имели выгоду: но не предпринимали ничего решительного. Василий ждал вестей от Скопина; ждал и ближайшей помощи, дав указ жителям всех городов Северных вооружиться, идти в Ярославль и к Москве, – велел и Боярину Федору Шереметеву оставить Астрахань, взять людей ратных в Низовых городах и также спешить к столице. Но для сего требовалось времени, коим неприятель мог воспользоваться, отчасти и воспользовался к ужасу всей России.

Не имея сил овладеть Москвою, не умев овладеть Лаврою, Лжедимитрий с изменниками и Лягами послал отряды к Суздалью, Владимиру и другим городам, чтобы действовать обольщением, угрозами или силою. Надежда его исполнилась. Суздаль первый изменил чести, слушаясь злодея, Дворянина Шилова: целовал крест Самозванцу, принял Лисовского и Воеводу

Федора Плещеева от Сапеги. Переславль Залесский очернил себя еще гнуснейшим делом: жители его соединились с Ляхами и приступили к Ростову. Там крушился о бедствиях отечества добродетельный Митрополит Филарет: не имея крепких стен, граждане предложили ему удалиться вместе с ними в Ярославль; но Филарет сказал, что не бегством, а кровию должно спасать отечество; что великодушная смерть лучше жизни срамной; что есть другая жизнь и венец Мучеников для Христиан, верных Царю и Богу. Видя бегство народа, Филарет с немногими усердными воинами и гражданами заключился в Соборной церкви: все исповедались, причастились Святых Таин и ждали неприятеля или смерти. Не Ляхи, а братья единоверные, Переславцы, дерзнули осадить святой храм, стреляли, ломились в двери, и диким ревом ярости отвечали на голос Митрополита, который молил их не быть извергами. Двери пали: добрые Ростовцы окружили Филарета и бились до совершенного изнеможения. Храм наполнился трупами. Злодеи победители схватили Митрополита и, сорвав с него ризы Святительские, одели в рубище, обнажили церковь, сняли золото с гробницы Св. Леонтия и разделили между собою по жеребью; опустошили город, и с добычею святотатства вышли из Ростова, куда Сапега прислал воеводствовать злого изменника Матвея Плещеева. Филарета повезли в Тушинский стан, как узника, босого, в одежде Литовской, в Татарской шапке; но Самозванец готовил ему бесчестие и срам иного рода: встретил его с знаками чрезвычайного уважения, как племянника Иоанновой супруги Анастасии и жертву Борисовой ненависти; величал как знаменитейшего, достойного Архипастыря и назвал Патриархом: дал ему золотой пояс и Святительских чиновников для наружной пышности, но держал его в тесном заключении как непреклонного в верности к Царю Василию. Сей второй Лжедмитрий, наученный бедствием первого, хотел казаться ревностным читателем Церкви и Духовенства; учил лицемерию и жену свою, которая с благоговением приняла от Сапеги богатую икону Св. Леонтия, Ростовскую добычу; уже не смела гнушаться обрядами Православия, молилась в наших церквях и поклонялась мощам Угодников Божиих. Еще притворствовались и хитрили для ослепления умов в век безумия и страстей неистовых!

Город за городом сдавался Лжедмитрию: Владимир, Углич, Кострома, Галич, Вологда и другие, те самые, откуда Василий ждал помощи. Являлась толпа изменников и Ляхов, восклицая: «Да здравствует Димитрий!» и жители, отвечая таким же восклицанием, встречали их как друзей и братьев. Добросовестные безмолвствовали в горести, видя силу на стороне разврата и легкомыслия: ибо многие, вопреки здравому смыслу, еще верили мнимому Димитрию! Другие, зная обман, изменяли от робости или для того, чтобы злодействовать свободно; приставали к шайкам Самозванца и вместе с ними грабили, где и что хотели. Шуя, наследственное владение Василиевых предков, и Кинешма, где защищался Воевода Федор Бабарыкин, были взяты, разорены Лисовским; взята и верная Тверь: ибо лучшие воины ее находились с Царем в Москве. Отряд легкой Сапегинной конницы вступил и в отдаленный Белозерск, где издревле хранилась часть казны государственной: Ляхи не нашли казны, но там и везде освободили ссыльных, а в их числе и злодея Шаховского, себе в усердные сподвижники. Ярославль, обогащенный торговлею Английскою, сдался на условии не грабить его церквей, домов и лавок, не бесчестить жен и девиц; принял Воеводу от Лжедмитрия, Шведа Греческой Веры, именем Лоренца Биутге, Иоаннова Ливонского пленника; послал в Тушинский стан 30 000 рублей, обязался снарядить 1000 всадников. Псков, знаменитый древними и новейшими воспоминаниями славы, сделался вдруг вертепом разбойников и душегубцев. Там снова начальствовал Боярин Петр Шереметев, недолго быв в опале: верный Царю, нелюбимый народом за лихоимство. Духовенство, Дворяне, гости были также верны; но лазутчики и письма Тушинского злодея взволновали *мелких* граждан, чернь, стрельцов, Козаков, исполненных ненависти к людям сановитым и богатым. Мятежниками предводительствовал Дворянин Федор Плещеев: торжествуя числом, силою и дерзостью, они присягнули Лжедмитрию; вопили, что Шуйский отдает Псков Шведам; заключили Шереметева и граждан знатнейших; расхитили достояние Святительское и монастырское. Узнав о том, Лжедмитрий прислал к ним свою шайку: начались убийства. Шереметева удавили в темнице; других узников казнили, мучили, сажали на кол. В сие ужасное время сгорела знатная часть Пскова, и кучи пепла облились новою кровию: неистовые мятежники объявили Дворян и богатых купцов зажигателями; грабили, резали невинных, и славили Царя Тушинского... Кто мог в сих исступлениях злодейства узнать отчизну Св. Ольги, где цвела некогда добродетель, человеческая и государственная; где еще за 26 лет пред тем, жили граждане великодушные, победители Героя Батория, спасители нашей чести и славы?

Но кто мог узнать и всю Россию, где, в течение веков, видели мы столько подвигов достохвальных, столько твердости в бедствиях, столько чувств благородных? Казалось, что

Россияне уже не имели отечества, ни души, ни Веры; что государство, зараженное нравственною язвою, в страшных судорогах кончалось!.. Так повествует добродетельный свидетель тогдашних ужасов Авраамий Палицын, исполненный любви к злосчастному отечеству и к истине: «Россию терзали свои более, нежели иноплеменные: путеводителями, наставниками и хранителями Ляхов были наши изменники, первые и последние в кровавых сечах: Ляхи, с оружием в руках, только смотрели и смеялись безумному междоусобию. В лесах, в болотах непроходимых Россияне указывали или готовили им путь и числом превосходным берегли их в опасностях, умирая за тех, которые обходились с ними как с рабами. Вся добыча принадлежала Ляхам: они избирали себе лучших из пленников, красных юношей и девиц, или отдавали на выкуп ближним – и снова отнимали, к забаве Россиян!.. Сердце трепещет от воспоминания злодейств: там, где стыла теплая кровь, где лежали трупы убиенных, там гнусное любострастие искало одра для своих мерзостных наслаждений... Святых юных Инок и священников обнажали, позорили; лишенные чести, лишались и жизни в муках срама... Были жены прельщаемые иноплемениками и развратом; но другие смертью избавляли себя от зверского насилия. Уже не сражаясь за отечество, еще многие умирали за семейства: муж за супругу, отец за дочь, брат за сестру вонзал нож в грудь Ляху. Не было милосердия: добрый, верный Царю воин, взятый в плен Ляхами, иногда находил в них жалость и самое уважение к его верности; но изменники называли их за то женами слабыми и худыми союзниками Царя Тушинского: всех твердых в добродетели предавали жестокой смерти; метали с крутых берегов в глубину рек, расстреливали из луков и самопалов; в глазах родителей жгли детей, носили головы их на саблях и копьях; грудных младенцев, вырывая из рук матерей, разбивали о камни. Видя сию неслыханную злобу, Ляхи содрогались и говорили: *что же будет нам от Россиян, когда они и друг друга губят с такою лютостию?* Сердца окаменели, умы омрачились; не имели ни сострадания, ни предвидения: вблизи свирепствовало злодейство, а мы думали: оно минует нас! или искали в нем личных для себя выгод. В общем кружении голов все хотели быть выше своего звания: рабы господами, чернь Дворянством, Дворяне Вельможами. Не только простые простых, но и знатные знатных, и разумные разумных обольщали изменою, в домах и в самых битвах; говорили: мы блаженствуем; идите к нам от скорби к утехам!.. Гибли отечество и Церковь: храмы истинного Бога разорялись, подобно капищам Владимирова времени: скот и псы жили в олтарях; воздухами и пеленами украшались кони, пили из потиров; мяса стояли на дисках; на иконах играли в кости; хоругви церковные служили вместо знамен; в ризах Иерейских плясали блудницы. Иноков, Священников палили огнем, допытываясь их сокровищ; отшельников, Схимников заставляли петь срамные песни, а безмолвствующих убивали... Люди уступили свои жилища зверям: медведи и волки, оставив леса, витали в пустых городах и весях; враны плотоядные сидели станицами на телах человеческих; малые птицы гнездились в черепах. Могилы как горы везде возвышались. Граждане и земледельцы жили в дубах, в лесах и в пещерах неведомых, или в болотах, только ночью выходя из них осушиться. И леса не спасали: люди, уже покинув звероловство, ходили туда с чуткими псами на ловлю людей; матери, укрываясь в густоте древесной, страшлись вопля своих младенцев, зажимали им рот и душили их до смерти. Не светом луны, а пожарами озарялись ночи: ибо грабители жгли, чего не могли взять с собою, дома и все, да будет Россия пустынею необитаемою!»

Россия бывала пустынею; но в сие время не Батыевы, а собственные варвары свирепствовали в ее недрах, изумляя и самых неистовых иноплемеников: Россия могла тогда завидовать временам Батыевым, будучи жертвою величайшего из бедствий, разврата государственного, который мертвит и надежду на умиловление небесное! Сия надежда питалась только великодушною смертью многих Россиян: ибо не в одной Лавре блистало Геройство: сии, по выражению Летописца, горы могил, всюду видимые, вмещали в себе персть мучеников верности и закона: добродетель, как Феникс, возрождается из пепла могилы, примером и памятию; там не все погибло, где хотя немногие предпочитают гибель беззаконию. С честью умирали и воины и граждане, и старцы и жены. В Духовенстве особенно сияла доблесть, Феоктист, крестом и мечем вооруженный, до последнего издыхания боролся с изменою, и, взятый в плен, удостоился венца страдальческого. Архиепископ Суздальский, Галактион, не хотел благословить Самозванца, скончался в изгнании. Добродетельного Коломенского Святителя, Иосифа, злодеи влачили привязанного к пушке: он терпел и молил Бога образумить Россиян. Святитель Псковский, Геннадий, в тщетном усилии обуздать мятежников, умер от горести. Немногие из Священников, как сказано в летописи, уцелели, ибо везде противились бунту.

Сей бунт уже поглощал Россию: как рассеянные острова среди бурного моря, являлись еще под знаменем Московским вблизи Лавра, Коломна, Переславль Рязанский, вдали Смоленск,

Новгород Нижний, Саратов, Казань, города Сибирские; все другие уже принадлежали к Царству беззакония, коего столицею был Тушинский стан, действительно подобный городу разными зданиями внутри оного, купеческими лавками, улицами, площадями, где толпилось более ста тысяч разбойников, обогащаемых плодами грабежа; где каждый день, с утра до вечера, казался праздником грубой роскоши: вино и мед лились из бочек; мяса, вареные и сырые, лежали горами, пресыщая и людей и псов, которые вместе с изменниками стекались в Тушино. Число сподвижников Лжедмитриевых умножилось Татарами, приведенными к нему потешным Царем Борисовым, Державцем Касимовским, Ураз-Магметом, и крещеным Ногайским Князем Арасланом Петром, сыном Урусовым: оба, менее Россиян виновные, изменили Василию; второй оставил и Веру Христианскую и жену (бывшую Княгиню Шуйскую), чтобы служить Царику Тушинскому, то есть грабить и злодействовать. Жилище Самозванца, пышно именуемое дворцом, наполнялось лицемерами благоговения, Российскими чиновниками и знатными Ляхами (между коими унижался и Посол Сигизмундов, Олесницкий, выпросив у бродяги в дар себе город Белую). Там бесстыдная Марина с своею поруганною красотою наружно величалась саном театральной Царицы, но внутренне тосковала, не властвуя, как ей хотелось, а раболепствуя, и с трепетом завися от мужа-варвара, который даже отказывал ей и в средствах блистать пышностию; там Вельможный отец ее лобызал руку беглого Поповича или Жида, приняв от него новую владенную грамоту на Смоленск, еще не взятый, и Северскую землю, с обязательством выдать ему (Мнишку) 300 000 рублей из казны Московской, еще незавоеванной. Там, упоенный счастьем, и господствуя над Россиею от Десны до Чудского и Белого озера, Двины и моря Каспийского – ежедневно слыша о новых успехах мятежа, ежедневно видя новых подданных у ног своих – стесняя Москву, угрожаемую голодом и предательством – Самозванец терпеливо ждал последнего успеха: гибели Шуйского, в надежде скоро взять столицу и без кровопролития, как обещали ему легкомысленные переметчики, которые не хотели видеть в ней ни меча, ни пламени, имея там дома и семейства.

Миновало и возвратилось лето: Самозванец еще стоял в Тушине! Хотя в злодейских предприятиях всякое замедление опасно, и близкая цель требует не отдыха, а быстрейшего к ней стремления; хотя Лжедмитрий, слишком долго смотря на Москву, давал время узнавать и презирать себя, и с умножением сил вещественных лишался нравственной: но торжество злодея могло бы совершиться, если бы Ляхи, виновники его счастья, не сделались виновниками и его гибели, невольно услужив нашему отечеству, как и во время первого Лжедмитрия. России издыхающей помог новый неприятель!

Доселе Король Сигизмунд враждовал нам тайно, не снимая с себя личины мирной, и содействуя самозванцам только наемными дружинами или вольницею: настало время снять личину и действовать открыто.

[1609 г.] Соединив, уже неразрывно, судьбу Марины и мнимую честь свою с судьбою обманщика, боясь худого оборота в делах его и надеясь быть зятю полезнее в Королевской Думе, нежели в Тушинском стане, Воевода Сендомирский (в Генваре 1609 года) уехал в Варшаву, так скоро, что не успел и благословить дочери, которая в письмах к нему жаловалась на сию холодность. Вслед за Мнишком, надлежало ехать и Послам Лжедмитриевым, туда, где все с живейшим любопытством занималось нашими бедствиями, желая ими воспользоваться и для государственных и для частных выгод: ибо еще многие благородные Ляхи, пылая страстию удалства и корысти, думали искать счастья в смятенной России. Уже друзья Воеводы Сендомирского действовали ревностно на Сейме, представляя, что торжество мнимого Дмитрия есть торжество Польши; что нужно довершить оное силами республики, дать корону бродяге и взять Смоленск, Северскую и другие, некогда Литовские земли. Они хотели, чего хотел Мнишек: войны за Самозванца, и – если бы Сигизмунд, признав Лжедмитрия Царем, усердно и заблаговременно помог ему как союзнику новым войском: то едва ли Москва, едва ли шесть или семь городов, еще верных, устояли бы в сей буре общего мятежа и разрушения. Что сделалось бы тогда с Россиею, вторичною гнусною добычею самозванства и его пестунов? могла ли бы она еще восстать из сей бездны срама и быть, чем видим ее ныне? Так, судьба России зависела от Политики Сигизмундовой; но Сигизмунд, к счастью, не имел духа Баториева: властолюбивый с малодушием и с умом недалеким, он не вразумился в причины действий; не знал, что Ляхи единственно под знаменами Российскими могли терзать, унижать, топтать Россию, не своим геройством, а Дмитриевым именем чудесно обезоруживая народ ее слепотствующий, – не знал, и политикою, грубо-стяжательною, открыл ему глаза, воспламенил в нем искру великодушия,

оживил, усилил старую ненависть к Литве и, сделав много зла России, дал ей спастись для ужасного, хотя и медленного возмездия ее врагам непримиримым.

Уверяют, что многие знатные Россияне, в искренних разговорах с Ляхами, изъявляли желание видеть на престоле Московском юного Сигизмундова сына, Владислава, вместо обманщиков и бродяг, безрассудно покровительствуемых Королем и Вельможными Панами; некоторые даже прибавляли, что сам Шуйский желает уступить ему Царство. Искренно ли, и действительно ли так объяснялись Россияне, неизвестно; но Король верил и, в надежде приобрести Россию для сына или для себя, уже не доброхотствовал Лжедмитрию. Друзья Королевские предложили Сейму объявить войну Царю Василию, за убиение мирных Ляхов в Москве и за долговременную бесчестную неволю Послов Республики, Олесницкого и Госевского; доказывали, что Россия не только виновна, но и слаба; что война с нею не только справедлива, но и выгодна; говорили: «Шуйский зовет Шведов, и если их вспоможением утвердит власть свою, то чего доброго ждать республике от союза двух врагов ее? Еще хуже, если Шведы овладеют Москвою; не лучше, если она, утомленная бедствиями, покорится и Султану или Татарам. Должно предупредить опасность, и легко: 3000 Ляхов в 1605 году дали бродяге Московское Царство; ныне дружины вольницы угрожают Шуйскому пленом: можем ли бояться сопротивления?» Были однако ж Сенаторы благоразумные, которые не восхищались мыслию о завоевании Москвы и думали, что Республика едва ли не виновнее России, дозволив первому Лжедмитрию, вопреки миру, ополчаться в Галиции и в Литве на Годунова и не мешая Ляхам участвовать в злодействах второго; что Польша, быв еще недавно жертвою междоусобия, не должна легкомысленно начинать войны с Государством обширным и многолюдным; что в сем случае надлежит иметь четыре войска: два против Шуйского и мнимого Дмитрия, два против Шведов и собственных мятежников; что такие ополчения без тягостных налогов невозможны, а налоги опасны. Им ответствовали: «Богатая Россия будет наша» – и Сейм исполнил желание Короля: не взирая на перемирие, вновь заключенное в Москве, одобрил войну с Россиею, без всякого сношения с Лжедмитрием, к горести Мнишка, который, приехав в отечество, уже не мог ничего сделать для своего зятя и должен был удалиться от Двора, где только сожалели о нем, и не без презрения.

Сигизмунд казался новым Баторием, с необыкновенною ревностию готовясь к походу; собирал войско, не имея денег для жалованья, но тем более обещая, в надежде, что кончит войну одною угрозою, и что Россия изнуренная встретит его не с мечом, а с венцем Мономаховым, как спасителя. Узнав толки злословия, которое приписывало ему намерение завоевать Москву и силами ее подавить вольность в Республике – то есть, сделаться обоих Государств Самодержцем – Король окружным письмом удостоверил Сенаторов в нелепости сих разглашений, клялся не мыслить о личных выгодах, и действовать единственно для блага Республики; выехал из Кракова в Июне месяце к войску и еще не знал, куда вести оное: в землю ли Северскую, где царствовало беззаконие под именем Дмитрия, или к Смоленску, где еще царствовали закон и Василий, или прямо к Москве, чтобы истребить Лжедмитрия, отвлечь от него и Ляхов и Россиян, а после истребить и Шуйского, как советовал умный Гетман Жолковский? Сигизмунд колебался, медлил – и наконец пошел к Смоленску: ибо канцлер Лев Сапега и Пан Госевский уверили Короля, что сей город желает ему сдаться, желая избавиться от ненавистной власти Самозванца. Но в Смоленске начальствовал доблей Шеин!

Границы России были отверсты, сообщения прерваны, воины рассеяны, города и селения в пепле или в бунте, сердца в ужасе или в ожесточении, Правительство в бессилии, Царь в осаде и среди изменников... Но когда Сигизмунд, согласно с пользою своей Державы, шел к нам за легкою добычею властолюбия, в то время бедствия России, достигнув крайности, уже являли признаки оборота и возможность спасения, рождая надежду, что Бог не оставляет Государства, где многие или немногие граждане еще любят отечество и добродетель.

Глава III. Продолжение Василиева царствования. Г. 1608–1610

Князь Пожарский. Доблесть Нижнего Новгорода. Восстание и других городов Низовых. Восстание Северной России. Крамолы в Москве. Голод. Весть о Князе Михаиле и его подвиги. Приступы Лжедмитрия к Москве. Победа Царского войска. Три самозванца. Некоторые удачи Лжедмитриеви. Новый мятеж в Москве. Слобода Александровская. Победа над Сапегою. Любовь к Князю Михаилу. Предлагают венец Герою. Разбои. Пожарский. Осада Смоленска.

Смятение Лжедмитриевых Ляхов. Распря между Сигизмундом и Конфедератами. Посольство Королевское в Тушино. Переговоры с Тушинскими изменниками. Бегство Лжедмитрия. Высокомерие Марины. Злодейства Самозванца в Калуге. Волнение в Тушине. Бегство Марины. Посольство Тушинское к Королю. Изменники признают Владислава Царем. Марина в Калуге. Успехи Князя Михаила. Освобождение Лавры. Бегство Сапег. Опустение Тушина. Дело Князя Михаила. Торжественное вступление Героя в Москву.

Первое счастливое дело сего времени было под Коломною, где Воеводы Царские, Князь Прозоровский и Сукин, разбили Пана Хмелевского. Во втором деле оказалось мужество и счастье юного, еще неизвестного Стратига, коему Провидение готовило благотворнейшую славу в мире: славу Героя – спасителя отечества. Князь Дмитрий Михайлович Пожарский, происходя от Всеволода III и Князей Стародубских, Царедворец бесчиновный в Борисово время и Стольник при расстриге, опасностями России вызванный на феатр кровопролития, должен был вторично защитить Коломну от нападения Литвы и наших изменников, шедших из Владимира. Пожарский не хотел ждать их: встретил в селе Высоцком, в тридцати верстах от Коломны, и на утренней заре незапным, сильным ударом изумил неприятеля; взял множество пленников, запасов и богатую казну, одержал победу с малым уроном, явив не только смелость, но и редкое искусство, в предвстие своего великого назначения.

Тогда же и в иных местах судьба начинала благоприятствовать Царю. Мятежники Мордва, Черемисы и Лжедмитриевы шайки, Ляхи, Россияне с Воеводою Князем Вяземским осаждали Нижний Новгород: верные жители обрекли себя на смерть; простились с женами, детьми и единократно вылазкою разбили осаждающих наголову: взяли Вяземского и немедленно повесили как изменника. Так добрые Нижегородцы воспрянули к подвигам, коим надлежало увенчаться их бессмертною, святою для самых отдаленных веков утешительною славою в нашей Истории. Они не удовольствовались своим избавлением, только временным: сведав, что Боярин Федор Шереметев в исполнение Василиева указа оставил наконец Астрахань, идет к Казани, везде смиряет бунт, везде бьет и гонит шайки мятежников, Нижегородцы выступили в поле, взяли Балахну и с ее жителей присягу в верности к Василию; обратили к закону и другие Низовые города, воспламеня в них ревность добродетельную. Восстали и жители Юрьевца, Гороховца, Луха, Решмы, Холуя, и под начальством Сотника Красного, мещан Кувшинникова, Нагавицына, Денгина и крестьянина Лапши разбили неприятеля в Лухе и в селе Дунилове: Ляхи и наши изменники с Воеводою Федором Плещеевым, сподвижником Лисовского, бежали в Суздаль. Победители взяли многих недостойных Дворян, отправили как пленников в Нижний Новгород и разорили их дома.

Москва осажденная не знала о сих важных происшествиях, но знала о других, еще важнейших. Не теряя надежды усовестить изменников, Василий писал к жителям городов Северных, Галича, Ярославля, Костромы, Вологды, Устюга. «Несчастные! Кому вы рабски целовали крест и служите? Злодею и злодеям, бродяге и Ляхам! Уже видите их дела, и еще гнуснейшие увидите! Когда своим малодушием предадите им Государство и Церковь; когда падет Москва, а с нею и Святое отечество и Святая Вера: то будете ответственны уже не нам, а Богу... есть Бог мститель! В случае же раскаяния и новой верной службы, обещаем вам, чего у вас нет и на уме: милости, льготу, торговлю беспощинную на многие лета». Сии письма, доставляемые усердными слугами гражданам обольщенным, имели действие; всего же сильнее действовали наглость Ляхов и неистовство Российских клеветов Самозванца, которые, губя врагов, не щадили и друзей. Присяга Лжедмитрию не спасала от грабежа; а народ, лишась чести, тем более стоит за имение. Земледельцы первые ополчились на грабителей; встречали Ляхов уже не с хлебом и солью, а при звуке набата, с дрекольем, копьями, секирами и ножами; убивали, топили в реках и кричали: «Вы опустошили наши житницы и хлевы: теперь питайтесь рыбою!» Примеру земледельцев следовали и города, от Романова до Перми: свергали с себя иго злодейства, изгоняли чиновников Лжедмитриевых. Люди слабые раскаялись; люди твердые ободрились, и между ими два человека прославились особенною ревностью: знаменитый гость, Петр Строганов, и Немец Греческого исповедания, богатый владелец Даниил Эйлоф. Первый не только удержал Соль-Вычегодскую, где находились его богатые заведения, в неизменном подданстве Царю, но и другие города, Пермские и Казанские, жертвуя своим достоянием для ополчения граждан и крестьян; второго именуют главным виновником сего восстания, которое встревожило стан Тушинский и Сапегин, замешало Царство злодейское, отвлекло знатную часть сил неприятельских от Москвы и Лавры. Паны Тишкевич и Лисовский выступили с полками

усмирять мятеж, сожгли предместье Ярославля, Юрьевец, Кинешму: Зборовский и Князь Григорий Шаховской Старицу. Жители противились мужественно в городах; делали в селениях остроги, в лесах засеки; не имели только единогодушия, ни устройства. Изменники и Ляхи побили их несколько тысяч в шестидесяти верстах от Ярославля, в селении Даниловском, и пылая злобою, все жгли и губили: жен, детей, старцев – и тем усиливали взаимное остервенение. Верные Россияне также не знали ни жалости, ни человечества в мести, одерживая иногда верх в сшибках, убивали пленных; казнили Воевод Самозванцевых, Застолпского, Нащокина и Пана Мартиаса; Немца Шмита, ярославского жителя, сварили в котле за то, что он, выехав к тамошним гражданам для переговоров, дерзнул склонять их к новой измене. Бедствия сего края, душегубство, пожары еще умножились, но уже знаменовали великодушное сопротивление злодейству, и вести о счастливой перемене, сквозь пламя и кровь, доходили до Москвы. Уже Василий писал благодарные грамоты к добрым северным Россиянам; посылал к ним чиновников для образования войска; велел их дружинам идти в Ярославль, открыть сообщение с городами низовыми и с Боярином Федором Шереметевым; наконец спешить к столице.

Но столица была феатром козней и мятежей. Там, где опасались не измены, а доносов на измену – где страшились мести Ляхов и Самозванца более, нежели Царя и закона – где власть верховная, ужасаясь явного и тайного множества злодеев, умышленным послаблением хотела, казалось, только продлить тень бытия своего и на час удалить гибель – там надлежало дивиться не смятению, а призраку тишины и спокойствия, когда Государство едва существовало и Москва видела себя среди России в уединении, будучи отрезана, угрожаема всеми бедствиями долговременной осады, без надежды на избавление, без доверенности к Правительству, без любви к Царю: ибо Москвитяне, некогда усердные к Боярину Шуйскому, уже не любили в нем Венценосца, приписывая государственные злополучия его неразумию или несчастью: обвинение равно важное в глазах народа! Еще какая-то невидимая сила, закон, совесть, нерешительность, разномыслие, хранили Василия. Желали перемены; но кому отдать венец? в тайных прениях не соглашались. Самозванцем вообще гнушались; Ляхов вообще ненавидели, и никто из Вельмож не имел ни столько достоинств, ни столько клеветов, чтобы обещать себе державство. Дни текли, и Василий еще сидел на троне, измеряя взорами глубину бездны пред собою, мысля о средствах спасения, но готовый и погибнуть без малодушия. Уже блеснул луч надежды: оружие Царское снова имело успехи; Лавра стояла непоколебимо; восток и север России ополчились за Москву, – и в сие время крамольники дерзнули явно, решительно восстать на Царя, боясь ли упустить время? боясь ли, чтобы счастливая перемена обстоятельств не утвердила Василиева державства?

Известными начальниками кова были царедворец Князь Роман Гагарин, Воевода Григорий Сунбулов (прощенный изменник) и Дворянин Тимофей Грязной: знатнейшие, вероятно, скрывались за ними до времени. 17 Февраля вдруг сделалась тревога: заговорщики звали граждан на лобное место; силою привели туда и Патриарха Ермогена; звали и всех Думных Бояр, торжественно предлагая им свести Василия с Царства и доказывая, что он избран не Россиею, а только своими угодниками, обманом и насилием; что сие беззаконие произвело все распри и мятежи, междоусобие и самозванцев; что Шуйский и не Царь, и не умеет быть Царем, имея более тщеславия, нежели разума и способностей, нужных для успокоения державы в таком волнении. Не стыдились и клеветы грубой: обвиняли Василия даже в нетрезвости и распутстве. Они умолчали о преемнике Шуйского и мнимом Димитрии; не сказали, где взять Царя нового, лучшего, и тем затруднили для себя удачу. Немногие из граждан и воинов соединились с ними; другие, подумав, ответствовали им хладнокровно: «Мы все были свидетелями Василиева избрания, добровольного, общего; все мы, и вы с нами, присягали ему как Государю законному. Пороков его не ведаем. И кто дал вам право располагать Царством без чинов государственных?» Ермоген, презирая угрозы, заклинал народ не участвовать в злодействе, и возвратился в Кремль. Синклит также остался верным, и только один муж Думный, старый изменник, Князь Василий Голицын – вероятно, тайный благодприятель сего кова – выехал к мятежникам на Красную площадь; все иные Бояре, с негодованием выслушав предложение свергнуть Царя и быть участниками беззаконного веча, с дружинами усердными окружили Шуйского. Не взирая на то, мятежники вломились в Кремль; но были побеждены без оружия. В час опасный, Василий снова явил себя неустрашимым: смело вышел к их сонму; *стал им в лицо* и сказал голосом твердым: «Чего хотите? Если убить меня, то я пред вами, и не боюсь смерти; но свергнуть меня с Царства не можете без Думы земской. Да соберутся великие Бояре и чины государственные, и в моем присутствии да решат судьбу отечества и мою собственную: их суд будет для меня законом, но

не воля крамольников!» Дерзость злодейства обратилась в ужас: Гагарин, Сунбулов, Грязной и с ними 300 человек бежали; а вся Москва как бы снова избрала Шуйского в Государи: столь живо было усердие к нему, столь сильно действие оказанного им мужества!

К несчастью, торжество закона и великодушия было недолговременно. Мятежники ушли в Тушино для того ли, что доброжелательствовали Самозванцу, или единственно для своего личного спасения, как в место безопаснейшее для злодеев? Их бегством Москва не очистилась от крамолы. Муж знатный, Воевода Василий Бутурлин, донес Царю, что Боярин и Дворецкий Крюк-Колычев есть изменник и тайно сносится с Лжедмитрием. Измены тогда не удивляли: Колычев, быв верен, мог сделаться предателем, подобно Юрию Трубецкому и столь многим другим, но мог быть и нагло оклеветан врагами личными. Его судили, пытали и казнили на лобном месте. Пытали и всех мнимых участников нового кова и наполняли ими темницы, обещая невинным, спокойным гражданам утвердить их безопасность искоренением мятежников.

Но зло иного рода уже начинало свирепствовать в столице. Лишаемая подвозов, она истощила свои запасы; имела сообщение с одною Коломною и того лишилась: ибо рать Лжедмитриева вторично осадила сей город. Предвидев недостаток, алчные корыстолюбцы скупили весь хлеб в Москве и в окрестностях и ежедневно возвышали его цену, так что четверть ржи стоила наконец семь рублей, к ужасу людей бедных. Тщетно Василий желал умерить дороговизну неслыханную, уставлял цену справедливую и запрещал безбожную; купцы не слушались: скрывали свое изобилие и продавали тайно, кому и как хотели. Тщетно Царь и Патриарх надеялись разбудить совесть и жалость в людях: призывали Вельмож, купцев, богачей в храм Успения, и пред олтарем Всевышнего заклинали быть человеколюбивыми: не торговать жизнью Христиан и спустить цену хлеба; не скупать его в большом количестве и тем не отнимать у бедных. Лицемеры со слезами уверяли, что у них нет запасов, и бессовестно обманывали, думая единственно о своей выгоде, как и во время дороговизны 1603 года. Народ впал в отчаяние. Кричали на улицах: «Мы гибнем от Царя злосчастливого; от него кровопролитие и голод!» Люди, уверенные в обмане мнимого Дмитрия, уходили к нему единственно для того, чтобы не умереть в Москве без пищи; другие толпами врывались в Кремль и вопили пред дворцом. «Долго ли нам сидеть в осаде и ждать голодной смерти?» Они требовали избавления, победы и хлеба – или Царя счастливейшего! Василий не скрывался от народа: выходил к нему с лицом спокойным, увещал и грозил; смирял дерзость страждущих, но только на время. Радея о бедных, он убедил Троицкого Келаря Авраамия отворить для них Московские житницы его обители: цена хлеба вдруг упала от семи до двух рублей. Сих запасов не могло стать надолго; но вопль умолк в столице, и счастливая весть ободрила Москву.

Князь Гагарин, первый из мятежников, ушедших к Самозванцу, несмотря на крамольство, имел душу: увидел, узнал Лжедмитрия и явился к Царю с раскаянием; принес ему свою виновную голову; сказал, что лучше хочет умереть на плахе, нежели служить бродяге гнусному – и был помилован Василием: выведенный к народу, Гагарин именем Божиим заклинал его не прельщаться диавольским обманом, не верить злодею Тушинскому, орудию Ляхов, желающих единственно гибели России и святой Церкви. Сии убеждения произвели действие, и еще несравненно более, когда Гагарин объявил Москвитянам, что стан Тушинский в сильной тревоге; что Лжедмитрий и Ляхи свести о соединении Шведов с Россиянами; что Князь Михаил Скопин-Шуйский ведет их к столице и побеждает. Удивление радости изменило лица печальные: все славили Бога; многие устыдились своего намерения бежать в Тушино; укрепились в верности – и с того дня уже никто не уходил к Самозванцу.

Гагарин сказал истину о тревоге злодеев Тушинских. Опишем начало подвигов знаменитого юноши, который в бедственные времена родился счастливым, и коему надлежало бы только жить, чтобы спасти Царя, озаменованного Судьбою для злополучия. Мы видели, как Михаил Шуйский, во время величайшей опасности, с горестию удалился от войска, чтобы искать защитников России вне России: прибыв в Новгород, где начальствовали Боярин Князь Андрей Куракин и Царедворец Татищев, он немедленно доставил Королю Шведскому грамоту Василиеву; писал к нему и сам, писал и к его Воеводам, Финляндскому и Ливонскому, Арвиду Вильдману и Графу Мансфельду, требуя вспоможения и представляя им, что Ляхи воцарением Лжедмитрия хотят обратить силы России на Швецию для торжества Латинской Веры, будучи побуждаемы к тому Папою, Иезуитами и Королем Испанским. Ничто не было естественнее союза между Шведским и Российским Венценосцами, искренними друзьями от их общей ненависти к Ляхам. Надлежало единственно удостоверить Карла, что Шведы еще найдут и могут утвердить Василия на престоле: для чего Князь Михаил, следуя своему наказу и внушению

Политики, таил от Карла ужасные обстоятельства России; говорил только о частных в ней мятежах, об измене тысяч осьми или десяти Россиян, которые вместе с пятью или шестью тысячами Ляхов злодействуют близ Москвы. Требовалось немало времени для объяснений. Секретарь Мансфельдов виделся с Князем Михаилом в Новгороде, а Воевода Головин, шурин Скопина, поехал в Выборг, где знатные чиновники Шведские ждали его, чтобы условиться в мерах вспоможения. Между тем Князь Михаил, желая спасти Москву и Царя не одною рукою иноплеменников, мыслил ополчить всю северо-западную Россию, и грамотою убедительною звал к себе Псковитян, хваля их древнюю доблесть; но Псковитяне, уже хвалясь злодейством, ответствовали ему угрозою – и самые Новгородцы оказывали расположение столь подозрительное, что Князь Михаил решился искать усердия или безопасности в ином месте; вышел из Новгорода с Татищевым, Дьяком Телепневым и малочисленною дружиною верных, и требовал убежища в Иваногороде: там их не приняли, ни в Орешке, где Воевода, предатель Боярин Михайло Салтыков, считая Лжедмитрия победителем, уже именовал себя его наместником. В то время, когда Михаил, оставленный и некоторыми из робких спутников, при устье Невы думал в печали, что делать? явились Послы от Новгорода с молением, чтобы он возвратился к Святой Софии. Митрополит Исидор и достойные Россияне одержали там верх над беззаконием и встретили Князя Михаила как утешителя, в лице его приветствуя отечество и верность; искренно клялись умереть за Царя Василия, как предки их умирали за Ярослава Великого, и сведав, что Воевода Лжедмитриев, Керносицкий, с Ляхами и Россиянами идет от Тушина к берегам Ильменя, готовились выступить в поле. Древний Новгород, казалось, воскрес с своим великодушием; к несчастью, ревность достохвальная имела действие зловредное.

Татищев, известный мужеством, вызвался вести передовой отряд к Бронницам; но Князю Михаилу донесли, что сей царедворец лукавый замышляет предательство. Извет был важен, а Князь Шуйский молод и пылок: он созвал воинов и граждан, объявил им донос и хотел с ними торжественно судить, уличить или оправдать винимого. Вместо суда народ в исступлении ярости умертвил Татищева, не дав ему сказать ни единого слова, к горести Михаила, увидевшего поздно, что народ, в кипении страстей, может быть скорее палачем, нежели судиею. Татищева, едва ли виновного, схоронили с честью в обители Св. Антония, и многие Дворяне, вероятно уstraшенные его судьбою, бежали из города, даже к неприятелю, который шел вперед невозбранно, занял Хутынский и другие окрестные монастыри, жег, грабил – и вдруг скрылся, услышав от пленников, что сильное войско вступило в село Грузино и спешит на помощь к Новугороду. Пленники обманули неприятеля: мнимое войско состояло единственно из тысячи областных жителей, ополченных Дворянами Горихвостовым и Рязановым в Тихвине и за Онегою. Сии добрые Россияне, будучи в шесть раз слабее Керносицкого, имели счастье без кровопролития избавить Новгород, где Князь Михаил с нетерпением ждал вестей от Головина.

Вести были благоприятны. Король Шведский словом и делом доказал свою искренность. Еще Генералы его, Бое и Вильдман, не успели заключить договора с Головиным и Дьяком Зиновьевым, а войско Королевское уже стояло под знаменами в Финляндии. С обеих сторон не хотели тратить времени и 28 Февраля подписали в Выборге следующие условия: «1) Мирный договор 1595 года возобновляется между Россиею и Швециею на веки веков. 2) Первой не вступаться в Ливонию. 3) Карл дает Василию 2000 конных и 3000 пеших ратников, а Василий 100 000 ефимков в месяц на их жалованье. 4) Сие войско в полном распоряжении Князя Михаила Шуйского; должно занимать города единственно именем Царским, и не может выводить пленников из России, кроме Ляхов. 5) Съестные припасы будут ему доставляемы по цене умеренной. 6) Царь взаимно обязывается помогать Королю войском на Сигизмунда в Ливонии, куда открыл путь Шведам из Финляндии чрез Российские владения. 7) Ни та, ни другая держава без общего согласия не вольна мириться с Сигизмундом. 8) Царь, в знак признательности, уступает Швеции Кексгольм в вечное владение, но *тайно* до времени: ибо сия уступка может произвести сильное неудовольствие между Россиянами. 9) Князь Михаил Шуйский дарит Шведскому войску 5000 рублей не в счет определенного жалованья. – Сия грамота будет утверждена в Новгороде им, Князем Шуйским, Воеводою, Боярином и *ближним приятелем* Царским, а в Москве самим Царем».

26 марта уже вступил в Россию Полководец Шведский, Иаков Делагарди, сын Понтусов, юный, двадцатисемилетний витязь, ученик и сподвижник славного Морица Нассавского в долговременном кровопролитном борении за свободу Голландской Республики. На границе встретил союзников Воевода Ододуров, высланный Князем Михаилом, и 2300 Россиян, которые в первый раз увидели себя под одними знаменами с Шведами и наемниками их, Французами,

Англичанами, Шотландцами, Немцами и Нидерландцами. Сии 5000 разноземцев, большею частию людей без отечества и нравственности, исполненных любви не к ратной чести, а к низкой корысти, шли спасать преемника Монархов, ославленных в Европе и в Азии несметными их силами! Союзникам указали стан близ Новгорода, куда звали Делагарди и Генералов его для свидания с Князем Шуйским...

Там сии два Полководца, оба юные, приветствовали друг друга с ласкою, с уважением взаимным. «Князь Михаил, – пишет современный Шведский Историк, – имел 23 года от рождения, прекрасную душу, ум не по летам зрелый, наружность, осанку приятную, искусство в битвах и в обхождении с иноземным войском. Делагарди сказал ему, что Королю известны все ухищрения Ляхов; что он прислал рать и готовит еще сильнейшую для вспоможения России, желая благоденствия Царю и народу ее, а врагам их желая гибели. Князь Михаил, кланяясь, опустил руку до земли; изъявлял благодарность; уверял, что Россия усердна к Царю и волнуема только малым числом изменников, коих легко одолеть единодушным действием союзников! Рассуждали, как действовать и с чего начать. Делагарди требовал вперед жалованья войску: Князь Шуйский обещал немедленно выдать 8000 рублей, 5000 деньгами и 3000 соболями; утвердил (4 Апреля) Выборгский договор и сам проводил Делагарди до ворот крепости».

Грязи и разлитие рек мешали походу. Шведский Военачальник хотел ждать просухи, и для безопасного сообщения с Ливониею и Финляндиею, заняться прежде всего осадю Копорья, Иванягорода и Ямы, где Царствовала измена: Князь Михаил имел другую мысль. Еще до прибытия Шведов Воевода Осинин ходил из Новгорода с Детьми Боярскими и Козаками к мятежному Пскову, разбил тамошних злодеев в поле и надеялся взять город; но Скопин велел ему возвратиться, чтобы не тратить времени в предприятиях частных, и склонил Делагарди немедленно идти к Москве. Воевода Чулков и Шведский Генерал Эверт Горн вступили в Русу, гнали изменников и Ляхов до уезда Торопецкого, одержали (25 Апреля) победу над Керносицким в селе Каменках, взяли 9 пушек, знамена и пленников. Порхов, Торопец сдалися мирно – и Торжок другому Воеводе, Чоглокову. Узнав, что Пан Зборовский и Князь Григорий Шаховской с тремя тысячами изменников и Ляхов идут из Твери на Чоглокова, Князь Михаил отрядил туда Головина и Горна: имея не более двух тысяч воинов, они сразились с неприятелем; Чоглоков сделал вылазку, и Зборовский, после дела кровопролитного, отступил к Твери.

Сам Князь Михаил, отпев молебен в Софийском храме, исполненном древних знаменитых воспоминаний, вывел (10 мая) главную рать. Новгород, некогда великий, столь многолюдный и воинственный, дал ему все, что мог: тысячи две подвижников неопытных! Но войско Российское усилилось в Торжке (24 Июня) новыми дружинами: Князь Борятинский, Воевода усердный и мужественный, привел туда 3000 детей Боярских и земледельцев из Смоленских уездов, смилив на пути Дорогобуж и Вязьму. Союзники спешили к Твери; там засели Зборовский и Керносицкий, быв подкреплены Тушинским войском. Ляхи и Российские изменники вышли из города и сразились мужественно, во время сильного дождя, который препятствовал действию пальбы: неприятель, ударив с копьями на левое крыло Шведов, обратил Французов в бегство; Немцы, Финляндцы, Россияне также дали тыл, – и хотя правое крыло, где начальствовал Делагарди, имело выгоду и втеснило Ляхов в город; хотя сам Воевода Зборовский раненый едва спасся от плена; но союзники отступили. Дождь лил целые сутки. В следующую ночь, когда Ляхи беспечно спали в Остроге, Князь Михаил тихо приблизился, напал и взял его без урона: восходящее солнце осветило там Царские хоругви и кучи неприятельских тел. Юный Полководец Российский обнял Делагарди с живейшим чувством признательности за мужество Шведов, которые хотели вломиться и в город, где остальные изменники и Ляхи заключились; но Князь Михаил, жалея людей, велел прекратить сечу кровопролитную и не нужную: ибо угадывал, что неприятель, уже слабый, или мирно сдастся на договор или бежит. Чрез несколько часов действительно Ляхи и клеветы их ушли из Твери, до половины сожженной и наполненной трупами. Таким образом, Князь Михаил в два месяца очистил все места от Новгородских до Московских пределов; думал скоро освободить и Москву, надеясь на ужас неприятелей и содействие войска царского. Доселе он мог быть доволен Шведами. Карл IX писал к нашему Духовенству, Боярам, Дворянам и купцам, что он готов всеми силами действовать для защиты их *древней Греческой Веры, вольности и льготы*, – для истребления Польской сволочи и бродяг, жалуемых ею в Цари с умыслом изгубить знатнейшие роды, цвет и славу нашего отечества. Делагарди уклонялся от всякого сношения с Ляхами, и в ответ на дружелюбную, лукавую грамоту Зборовского, писанную из Твери (11 Июня) к Шведским Генералам о правах мнимого Дмитрия, сказал: «мое дело воевать, а не рассуждать с вами о Димитриях». Тщетно и лазутчики

Зборовского старались возмутить союзное войско: их ловили и казнили. Но чего не произвело обольщение, то произвела буйность. Оставив Тверь и Шведов позади себя, Князь Михаил шел к столице и сведал в Городне, что союзники идут не за ним, а назад к Новгороду! Сия неожиданная измена была следствием мятежа. Выступив из Твери, Финляндцы первые объявили своему Генералу, что не хотят идти в глубину России на верную гибель; что им не выдано полного жалованья: что вероломство Московского народа всем известно; что жены и дети их без защиты дома. Французы, Немцы, наконец и Шведы также взволновались; не слушались Генералов; бросили знамена. Делгарди обнажил меч, грозил – и должен был уступить мятежникам, чтобы не остаться военачальником без войска: он сам повел их к Шведской границе, для прикрытия бунта, жалуясь, что Россияне не исполняют договора: не сдают Кексгольма и не платят обещанных денег. Изумленный Князь Михаил спешил удержать союзников нужных, хотя и ненадежных, и послал к ним Ододурова с убеждением не изменять чести, не срамить имени Шведского, не выдавать друзей, в то время, когда неприятель, более раздраженный, нежели ослабленный, готовится к решительному делу. Сии представления и серебро, врученное наемникам корыстолюбивым, их усовестили: Генерал Зоме с частию пехоты и конницы возвратился к Князю Михаилу накануне величайшей для него опасности и славы. Здесь подвиги юного Героя уже связуются с происшествиями знаменитой Троицкой осады.

Еще Сапега стоял под Лаврою: рассылал отряды, занимал или жег города, обуздывал или карал жителей, мешал сообщению Москвы с Востоком и Севером России и подкреплял Зборовского, чтобы отразить Шведов. Между тем слух о движениях Скопина и Шереметева уже достиг Лавры: защитники ее ждали следствий, надеялись и вдруг увидели необычайное волнение в неприятельском стане: Зборовский прибежал туда с остатком рассеянного войска и с вестью, что Тверь уже взята союзниками; прибежали и многие изменники, Дворяне, Дети Боярские, которые изменою хотели единственно избавить свои поместья от грабежа, не думая служить Царику Тушинскому, и до того времени жили в них спокойно, но не дерзнули ждать Князя Михаила. Все отряды возвратились к Сапеге: Лжедмитрий усилил его и частию Тушинской рати, велел ему идти против Скопина и Шведов. Ляхи, как обыкновенно, готовились к битве шумными играми, пили, веселились и дали знать Троицкому Воеводе Долгорукому, что они торжествуют победы: что Шведы истреблены, а Скопин и Шереметев сдались. Их не слушали. Тогда подъехали к стенам два человека, некогда знаменитые на степени мужей государственных: Боярин Салтыков (изгнанный из Орешка успехами Князя Михаила) и Думный Дьяк Грамотин: оба уверяли, что междоусобная война уже прекратилась в России; что Москва встречает Дмитрия, и Шуйский с Синклитом в его руках. Клевреты их, Дворяне изменники, утверждали то же, прибавляя: «Не мы ли были с Шереметевым, а теперь служим Дмитрию? Кого еще ждете? Все у ног Иоаннова сына – и если одни будете противиться, то немедленно увидите здесь Царя гневного со всем Литовским войском, Скопиным и Шереметевым, для казни вашего послушания». Им ответствовали единогласно люди умные и простые (как говорит Летописец): «Всевышний с нами, и никого не боимся. Хотите ли, чтобы мы вам верили? Скажите, что Князь Михаил под Тверию телами Литовскими и вашими сравнял Волгу с берегами и напал зверей плотоядных: не усомнимся и восхвалим Бога! Ложь не победа: идите с мечом на меч и Господь рассудит виновного с правым!» Так еще мужались сии Герои верности, числом уже не более двухсот. Сапега не мог медлить, однако ж дозволил Зборовскому с его дружинами еще приступить к стенам Обители, которую сей гордый Лях, шутя над ним и Лисовским, уподоблял *лукну* и *гнезду ворон*. Зборовский приступил ночью, стрелял, убил одну женщину на стене, и ничего более не сделав, удалился. Вероятно, что неприятель хотел в сию ночь не взять, а только устроить Лавру для своей безопасности: Сапега спешил к берегам Волги, вверив обложение монастыря и хранение стана Козакам, Российским изменникам и немногим Ляхам.

Не зная, что делается в Москве, но зная, что вся Россия полунощная, от Углича до Белого моря и Перми, уже снова верна Царю, Князь Михаил, исполненный надежды, но тем более осторожный, послал, для вестей к столице, чиновника Безобразова, а сам, не дерзая идти вперед с малыми силами, двинулся влево по течению Волги, к монастырю Колязину, для удобного сообщения с Ярославлем, богатым и многолюдным. Туда прибыл к нему Царский Дворянин Волуев, умертвитель Отрепьева, сказывая, что Москва цела и Василий еще державствует. Царь писал к Михаилу. «Слышим о твоём великом рдении, и славим Бога. Когда ужасом или победою избавишь Государство, то какой хвалы сподобишься от нас и добрых Россиян! какого веселия исполнишь сердца их! Имя твое и дело будут памятны во веки веков не только в нашей, но и во всех державах окрестных. А мы на тебя надежны, как на свою душу». – За вестью радостною

следовала другая: Сапега, Зборовский, Лисовский и Лжедимитриев Атаман Заруцкий находился уже близ Колязина, в селе Пирогове. Имея едва ли тысяч десять собственных воинов и не более тысячи Шведов, приведенных к нему Генералом Зоме, Князь Михаил решился однако ж встретить неприятеля, хотя и гораздо сильнее. Передовые рати сошлись на топких берегах Жабны: чиновники Головин, Борятинский, Волуев и Жеребцов отличились мужеством; втоптали неприятеля в болота и дали время Князю Михаилу изготавиться, занять места выгодные, распорядить движения. Сапега напал стремительно, с громким воплем: Россияне и Шведы стояли твердо и сами нападали, где слабел неприятель. Пальба и сеча продолжались несколько часов. На закате солнца верные Россияне, призывая имя Св. Макария Колязинского, двинулись вперед так дружно и сильно, что утомленные Ляхи не могли удержать места битвы; их теснили до Рябова монастыря, и Князь Михаил вступил в Колязин с пленниками и трофеями, не хваляся победою, но хваля единодушную доблесть своих и Шведов, в надежде на успехи будущие и важнейшие. Он не гнал Ляхов и не мешал им возвратиться к постыдной для них осаде Троицкой, готовясь быть избавителем и Лавры и Москвы – и России, если бы Небо оставило ей сего Героя-юношу!

Там на берегу Волги, в пустынных келиях Св. Макария, Князь Михаил, оглашаемый церковным пением Иноков и звуком труб воинских как Гений отечества, неусыпно бодрствовал день и ночь для спасения Царства; сносился с городами Северными, принимал от них дары, казну и воинов; поручил Генералу Зоме устройство дружин, образование людей неопытных в ратном деле, и нетерпеливо ждал всех Шведов для дальнейших предприятий. Но Делагарди, увлеченный новым бунтом войска, опять шел к границе: Послы Скопина настигли его в Крестцах; заплатили ему 6000 рублей деньгами, 5000 рублей соболями, и Князь Михаил взял на себя, без утверждения Царского, отдать Кексгольм Шведам. В сих переговорах миновало недель шесть: Делагарди пошел наконец к Колязину, где Князь Михаил, не тревожимый изменниками и Ляхами, усиливался ежедневно.

Видя пред собою Москву неодолимую, вокруг себя города уже неприятельские, пепелища, леса, пустыни, в коих изгнанные жители, воспламененные злобою, стерегли, истребляли Ляхов малочисленных в их разъездах – будучи с севера угрожаем Князем Михаилом, с востока Шереметевым, Лжедимитрий еще мыслил одним ударом кончить войну; взять силою, чего долго и тщетно ждал от измены и голода: взять Москву вместе с Царем и Царством. В сей надежде утвердил его Пан Бобовский, который, прибыв к нему тогда из Литвы с дружиною удалцов, винил Рожинского в слабости духа, уверяя, что Москва спасается единственно бездействием Тушинского войска и неминуемо падет от первого дружного приступа. Лжедимитрий дал ему несколько Полков: хваляся наперед делом славным, Бобовский устремился к городу; но Царские Воеводы не допустили его и до предместия: вышли, напали, разбили – и Москва торжествовала свою первую блестящую победу; а скоро и вторую, еще важнейшую, над всею Тушинскою силою. Сам Лжедимитрий, Гетман Рожинский, Атаман Заруцкий, все знатные изменники и Бояре вели дружины на приступ (в день Троицы), и хотели сжечь деревянный город; но Василий успел выслать войско с Князем Дмитрием Шуйским. Неприятель быстрым движением вломился в средину Царских Полков, смял конницу и замешал пехоту: тут с одной стороны Воевода Князь Иван Куракин, с другой Князя Андрей Голицын и Борис Лыков, уже известные достоинствами ратными, напали на изменников и Ляхов. Зачался бой, в коем, по уверению Летописца, Московские воины превзошли себя в блестящем мужестве, сражаясь, как еще не сражались дотоле с Тушинскими злодеями; одолели, гнали их до Ходынки и взяли 700 пленников. Ужас неприятеля был так велик, что беглецы не удержались бы и в Тушине, если бы победители, слишком умеренные, не остановились на Ходынке. Одним словом, Московитяне сами дивились своей храбрости, вселенной в них счастливыми вестями о восстании северной России, об успехах Князя Михаила и войска Низового, коего чиновник, Дворянин Соловой, прибыл тогда к Царю с донесением Шереметева. Сей Боярин везде истреблял неприятеля и власть Лжедимитрия от Казани до Нижнего Новгорода; близ Юрьевца побил наголову Лисовского, отряженного Сапегою для усмирения Костромской области; мирно вступил в Муром и, взяв Касимов, освободил там многих верных Россиян, заключенных изменниками. Довольный его службою, но не довольный медленностию, Царь послал к нему Князя Прозоровского с милостивым словом и с указом спешить к Москве. В то же время древняя столица Боголюбского обратилась к закону: жители Владимира снова присягнули Царю – все, кроме Воеводы Вельяминова, ревностного слуги Лжедимитриева. Народ велел ему исповедаться в церкви, вывел его на площадь, объявил врагом Государства, убил камнем и с живейшим усердием принял Воевод Царских.

Уже без легкомыслия можно было предаваться надежде. Царство обмана падало: Царство закона восстанавливалось. Образовались полки верных – стремились к одной цели, к Москве, почти освобожденной двумя важными успехами собственного оружия. Народ опомнился и радостными кликами приветствовал знамена любезного отечества и Святой Веры. Ждали только соединения сил, чтобы дружно наступить на гнездо злодейства, столь долго ужасное Тушино... и вдруг едва не впали в новое отчаяние!

Как изменники и Ляхи в явном омрачении ума давали Князю Михаилу спокойно готовить им гибель, так войско Московское, худо веря своим победам, дало отдохнуть Самозванцу разбитому. Он усилился новыми толпами Козаков, вышедших из Астрахани с тремя мнимыми Царевичами: Августом, *Осиновиком* и Лавром; первый назывался сыном, второй и третий внуками Иоанна Грозного. «Злодеи рабского племени, – говорит Летописец, – холопы, крестьяне, считая Россию привольем наглых обманщиков, являлись один за другим под именем Царевичей, даже небывалых, и надеялись властвовать в ней как союзники и ближние Тушинского злодея». Но сами Козаки, отбитые от верного Саратова Воеводою Замятнею Сабуровым, с досады умертвили Осиновика на берегу Волги: Августа и Лавра велел повесить Лжедмитрий на Московской дороге, чтобы их казнию засвидетельствовать свое небратство с ними. В опасностях не теряя дерзости – еще имея тысяч шестьдесят или более сподвижников – еще властвуя над знатною частию России южной и западной, от Тушина до Астрахани, пределов Крымских и Литовских – Самозванец тревожил нападениями слободы Московские, перехватывал обозы на дорогах, теснил Коломну. Воевода его, Лях Млоцкий, побил Рязанцев, хотевших освободить сей город, им осажденный; а Лисовский, всегда храбрый, не всегда счастливый, загладил свои неудачи важным успехом. Винимый Царем в медленности, Шереметев спешил из Владимира к Суздалью, еще неприятельскому, и стал на равнинах, где Лисовский ударом конницы смял всю его многочисленную, худо устроенную пехоту. Легло немалое число низовых жителей в битве кровопролитной и беспорядочной; с остальными Шереметев бежал к Владимиру. Москва узнала о том и смутилась. Народ уже не хотел верить и победам Князя Михаила. В сие время голод снова усилился. Житницы Авраимевы истощились, и четверть хлеба опять возвысилась ценою от двух до семи рублей. Чернь бунтовала; с шумом стремилась в Кремль; осаждала дворец; кричала: «Хлеба! хлеба! или да здравствует Тушинский!»... Но в час величайшего волнения явился Безобразов с дружиною: сквозь разъезды неприятельские он благополучно достиг Москвы и вручил Царю письмо от Князя Михаила; а Царь велел читать оное всенародно, при звуке колоколов и пении благодарственного молебна во всех церквях. Князь Михаил писал, что Бог ему помогает. Исчезло отчаяние, сомнения и мятеж. Надежда на скорое избавление уменьшила и дороговизну с голодом. Новые вести еще более обрадовали Москву.

Ожидая Делагарди, Князь Михаил хотел выгнать неприятеля из Переславля Залесского, чтобы беспрепятственно сноситься с Шереметевым и низовыми областями. Головин, Волуев и Зоме (1 Сентября) ночью взяли сей город, убив 500 человек и пленив 150 шляхтичей Сапегиной рати. 16 Сентября пришел наконец и Делагарди. Казна, доставленная Скопину усердием городов, дала ему средство удовлетворить вполне корыстолюбию Шведов: им заплатили 15'000 рублей мехами и тем оживили их ревность. Полководцы, оба юные и пылкие духом, служили примером искреннего братства для воинов. 26 Сентября Князь Михаил и Делагарди двинулись вперед; оставили в Переславле сильную дружину и шли далее на юг; встретили, гнали малочисленных Ляхов и заняли Александровскую Слободу, прославленную Иоанном. Там все еще напоминало его время: дворец, пять богатых храмов, чистые пруды, глубокие рвы и высокие стены, где Грозный искал безопасного убежища от России и совести. Место ужасов обратилось в место надежды и спасения. Там Михаил остановился; велел немедленно делать новые деревянные укрепления, выслал разъезды на дороги, открыл сообщение с Москвою и ежедневно писал к Царю, чтобы условиться с ним в дальнейших действиях. Москва оживила изобилием. Уже с трех сторон везли к ней запасы: из Переславля, Владимира и Коломны: ибо Лях Млоцкий, сведав о вступлении союзников в Александровскую Слободу, удалился к Серпухову. Уже Князь Михаил имел 18'000 воинов, кроме Шведов; но зная, что к нему идут новые дружины из городов Северных, хотел до времени только отражать неприятеля.

Между тем изнуренная Лавра, все еще осаждаемая Сапегою, простирала руки к избавителю. Горсть ее неутомимых воителей еще уменьшилась в новых делах кровопролитных, хотя и счастливых. Узнав о Колязинской победе, они торжествовали ее дерзкими вылазками, били изменников и Ляхов, отнимали у них запасы и стада. Князь Михаил дал чиновнику

Жеребцову 900 воинов и велел силою или хитростию проникнуть в Лавру: Жеребцов обманул неприятеля и, к радости ее защитников, без боя соединился с ними.

Тогда, встревоженный близостию Князя Михаила и Шведов, Сапега (18 Октября) с 4000 Ляхов вышел из Троицкого стана, чтобы узнать их силу; встретил передовую дружину Россиян в селе Коринском и гнал ее до укреплений слободы. Тут было жаркое дело. Начали Шведы, кончили Россияне: Сапега уступил, если не мужеству, то числу превосходному – и возвратился к своей бесконечной осаде, как бы все еще надеясь взять Лавру! Но он сам находился уже едва не в осаде: разъезды, высылаемые Князем Михаилом из слободы, Шереметевым из Владимира и Царем из Москвы, прерывали сообщения изменников и Ляхов между Лаврою и Тушиным; не пускали к ним ни гонцов, ни хлеба, портили дороги, делали засеки. К счастью Князя Михаила, главные Вожди Польские, Гетман Рожинский и Сапега, оба гордые, властолюбивые, не могли быть единомышленниками: видя его опасное наступление, съехались для совета и расстались в жаркой ссоре, чтобы действовать независимо друг от друга: Гетман усекал назад в Тушино, а Сапега возобновил бесполезные приступы к Лавре, почти на глазах Князя Михаила, коего войско умножалось.

Уже Слобода Александровская как бы представляла Россию и затмевала Москву своею важностию. Туда стремились взоры и сердца сынов отечества; туда и воины, толпами и порознь, конные и пешие, не многие в доспехах, все с мечем или копием и с ревностию. Новые дружины из Ярославля, Боярин Шереметев из Владимира с Низовою ратию, Князя Иван Куракин и Лыков из Москвы с полками Царскими присоединились к Князю Михаилу. Ждали и сильнейшего вспоможения от Карла IX: Делгарди писал к нему, что должно победить Сигизмунда не в Ливонии, а в России. Все благоприятствовало юному Герою: доверенность Царя и союзников, усердие и единомыслие своих, смятение и раздор неприятелей. Наконец Россияне видели, чего уже давно не видали: ум, мужество, добродетель и счастье в одном лице; видели мужа великого в прекрасном юноше и славили его с любовию, которая столь долго была жаждою, потребностию неудовлетворяемою их сердца, и нашла предмет столь чистый. Но сия любовь, способствуя успеху великого дела, избавлению отечества, имела и несчастное следствие.

Князь Михаил служил Царю и Царству по закону и совести, без всяких намерений властолюбия, в невинной, смиренной душе едва ли пленяясь и славою: не так мыслили за него другие, уже с бедственным навыком к переменам, низвержениям и беззакониям. Многим казалось, что если Бог восстановит Россию, то она в награду за свои великодушные усилия должна иметь Царя лучшего, не Василия, который предал Государство разбойникам, сравнял Москву с Тушиным и едва, на главе слабой, удерживает венец, срываемый с него буйною чернию; а мысль о новом Царе была мыслию о Князе Михаиле – и человек, сильный духом, дерзнул всенародно изъявить оную. Тот, кто господством ума своего решил судьбу первого бунта, способствовал успехам и гибели опасного Болотникова, изменил Василию и загладил измену важными услугами, – не только не пристал ко второму Лжедмитрию, но и не дал ему Рязани – Думный Дворянин Ляпунов вдруг, и торжественно, именем России, предложил Царство Скопину, называя его в льстивом письме единым достойным венца, а Василия осыпая укоризнами. Сию грамоту вручили Князю Михаилу Послы Рязанские: не дочитав, он изодрал ее, велел схватить их как мятежников и представить Царю. Послы упали на колени, обливались слезами, винули одного Ляпунова, клялися в верности к Василию. Еще более милосердый, нежели строгий, Князь Михаил дозволил им мирно возвратиться в Рязань, надеясь, может быть, образумить ее дерзкого Воеводу и сохранить в нем знаменитого слугу для отечества. Он сохранил Ляпунова, но не спас себя от клеветы: сказали Василию, что Скопин с удивительным великодушием милует злодеев, которые предлагают ему измену и Царство. Подозрение гибельное уязвило Василиево сердце; но еще имели нужду в Герое, и злоба таилась.

Еще, не взирая на близость спасения, Москва тревожилась некоторыми удачами и дерзостию неприятеля. Млоцкий в набегах своих из Серпухова грабил обозы между Коломною и столицею. Там же явились многочисленные толпы разбойников с Атаманом Салковым, Хатунским крестьянином; присоединились к Млоцкому и побили Воеводу, Князя Литвинова-Мосальского, высланного Царем очистить Коломенскую дорогу; а на Слободской злодействовал изменник Князь Петр Урусов с шайками Татар Юртовских. Цена хлеба снова возвысилась в Москве; открылась даже и нечаянная измена. Царский Атаман Гороховый, будучи с Козаками и Детми Боярскими в Красном селе на страже, ночью впустил в него отряд Лжедмитриев: верные Дети Боярские имели время спастись, а Козаки передались к Самозванцу, выжгли Красное село и бежали в Тушино. В другую ночь такие же изменники подвели неприятеля, выше Неглинной, к

деревянному городу и зажгли стены; но Москвитяне, отбив злодеев, утушили огонь. Между тем разбойник Салков в пятнадцати верстах от столицы одержал верх над Воеводою Московским, Сукиным, и занял Владимирскую дорогу. Надлежало избрать лучшего стратега, чтобы одолеть сего второго Хлопка: выступил Князь Дмитрий Пожарский, уже знаменитый, – встретил на берегах Пехорки и совершенно истребил его злую шайку; осталось только тридцать человек, которые, вместе с их Атаманом, дерзнули явиться в Москве с повинною! Другие отряды Царские прогнали Млоцкого к Можайску. – Из Слободы Князя Лыков и Борятинский с Россиянами и Шведами ходили к Суздалью и думали взять его незапно, в темную ночь: там бодрствовал Лисовский и встретил их неустрашимо: они уклонились от битвы.

В то время, когда Князь Михаил, умножая, образуя войско и щитом своим уже прикрывая вместе и Лавру и столицу, готовился действовать наступательно – когда Москва, долго отлученная от России, снова соединилась с нею, как глава с телом, видя вокруг себя уже немногие города под знаменами Лжедмитрия – в то время новый неприятель, не с шайками бродяг и разбойников, но с войском стройным, с предводителями искусными, с силами целой, знаменитой Державы, находился в недрах России и делал, что ему угодно, как бы не возбуждая ни малейшего внимания ни в Москве, ни в стане Алексанровском!.. Обращаемся к Сигизмунду. Василий не противился его вступлению в наше Княжество Смоленское, ибо не имел сил противиться: оказалось, что сие вероломное нападение было для Василия лучшим средством избавиться от врага опаснейшего и ближайшего.

Веря слухам, что жители Смоленска нетерпеливо ждут Сигизмунда как избавителя, он (в Сентябре месяце) подступил к сей древней столице Княжества Мономахова с двенадцатью тысячами отборных всадников, пехотою Немецкою, Литовскими Татарами и десятью тысячами Козаков Запорожских; расположился станом на берегу Днепра, между монастырями Троицким, Спасским, Борисоглебским, и послал универсал, или манифест, к гражданам, объявляя, что Бог казнит Россию за Годунова и *других* властолюбцев, которые незаконно в ней Царствовали и Царствуют, воспалая междоусобие и призывая иноплемеников терзать ее недра; что Шведы хотят овладеть Московским Государством, истребить Веру православную и дать нам свою ложную; что многие Россияне тайными письмами убеждали его (Сигизмунда), Венценосца истинно Христианского, брата и союзника их Царей законных, спасти отечество и церковь; что он, движимый любовью, единственно снисходя к такому слезному молению, идет с войском и с помощью Богоматери избавить Россию от всех неприятелей; что жители Смоленска в знак душевной радости, должны встретить его с хлебом и солью. За мирное подданство Сигизмунд обещал им новые права и милости; за упрямство грозил огнем и мечем. На сию пышную грамоту ответствовали словесно Воеводы, Боярин Шеин и Князь Горчаков, Архиепископ Сергей, люди служивые и народ. «Мы в храме Богоматери дали обет не изменять Государю нашему, Василию Иоанновичу, а тебе, Литовскому Королю, и твоим Панам не раболепствовать во веки». Послав Сигизмундову грамоту в Москву, они писали к Царю: «Не оставь сирот твоих в крайности. Людей ратных у нас мало. Жители уездные не хотели к нам присоединиться: ибо Король обманывает их вольностию; но мы будем стоять усердно».

Воеводы советовались с Дворянами и гражданами; выжгли посады и слободы; заключились в крепости и выдержали осаду, если не знаменитейшую Псковской или Троицкой, то еще долговременнейшую и равно блистательную в летописях нашей воинской славы.

Видя, что Смоленск надобно взять не красноречием, а силою, Король велел громить стены пушками; но ядра или не достигали вершины кособога, где стоит крепость, или безвредно падали к подножию ее высоких, твердых башен, воздвигнутых Годуновым; а пальба осажденных, гораздо действительнейшая, выгнала Ляхов из монастыря Спасского. Зная, вероятно, что в крепости более жен и детей, нежели воинов, Сигизмунд решился на приступ: 23 Сентября, за два часа до света, Ляхи подкрались к стене и разбили петардою Аврамовские ворота, но не могли вломиться в крепость. 26 Сентября, также ночью, взяли острог Пятницкого конца; а в следующую ночь всеми силами приступили к Большим воротам: тут было дело кровопролитное, счастливое для осажденных, и неприятель, везде отбитый, с того времени уже не выходил из стана; только стрелял день и ночь в город, напрасно желая проломить стену, и вел подкопы бесполезные: ибо Россияне, имея *слухи*, или ходы в глубине земли, всегда узнавали место сей тайной работы, сами делали подкопы и взрывали неприятельские с людьми на воздух. Историки Польские отдают справедливость мужеству и разуму Шеина, также и блестящей смелости его сподвижников, сказывая, что однажды, среди белого дня, шесть воинов Смоленских приплыли в лодке к стану Маршала Дорогостайского, схватили знамя Литовское и возвратились с ним в

крепость. – Наступила зима. Сигизмунд, упрямством подобный Баторию, хотел непременно завоевать Смоленск; терял время и людей в праздной осаде, и думая свергнуть Шуйского, губил Самозванца!

Весть о вступлении Сигизмундовом в Россию встревожила не столько Москву, сколько Тушино, где скоро узнали, что шайки запорожцев, служа Королю, берут города его именем, и что Путивль, Чернигов, Брянск, вместе с иными областями Северскими, волею или неволею ему покорились, изменив Лжедмитрию. «Чего хочет Сигизмунд? – говорили Тушинские и Сапегины Ляхи с негодованием: – лишить нас славы и возмездия за труды; взять даром, что мы в два года приобрели своею кровию и победами! Северская земля есть наша собственность: из ее доходов Димитрий обещал платить нам жалованье – и кто же в ней теперь властвует? новые пришельцы, богатые грабежом; а мы остаемся в бедности, с одними ранами!» Так говорили чиновники и Дворяне: Воеводы же главные негодовали еще сильнее; лишаясь надежды разделить с Лжедмитрием все богатства державы Российской и привыкнув видеть в нем не властителя, а клеветника, не могли спокойно воображать себя под знаменами Республики наравне с другими Воеводами Королевскими. Сапега колебался: Рожинский действовал и заключил с своими товарищами новый союз: они клялись умереть или воцарить Лжедмитрия, назвались Конфедератами и послали сказать Сигизмунду: «Если сила и беззаконие готовы исхитить из наших рук достояние меча и геройства, то не признаем ни Короля Королем, ни отечества отечеством, ни братьев братьями!» Рожинский писал к своему Монарху: «Ваше Величество все знали, и единственно нам предоставляли кончить войну за Димитрия, еще более для Республики, нежели для нас выгодную; но вдруг, неожиданно, вы являетесь с полками, отнимаете у него землю Северскую, волнуете, смущаете Россиян, усиливаете Шуйского и вредите делу, уже почти совершенному нами!.. Сия земля нашею кровию увлажнена, нашею славою блистает. В сих могилах, от Днепра до Волги, лежат кости моих храбрых сподвижников... Уступим ли другому Россию? Скорее все мы, остальные, положим также свои головы... и враг Димитрия, кто бы он ни был, есть наш неприятель!» Гетману Жолкевскому говорили Послы Конфедератов: «Издревле витязи Республики, рожденные в недрах златой свободы, любили искать воинской славы в землях чуждых: так и мы своим мечем, *истинным Марсовым ралом, возделывали землю Московскую, чтобы пожать на ней честь и корысть*. Сколь же горестно нам видеть противников в единосемцах и братьях! В сей горести простираем руки к тебе, Гетману отечественного воинства, нашему учителю в делах славы! Изъясни Сенату, блюстителю законов и свободы, чего мы требуем справедливо: да удержит Сигизмунда»... Тут Паны и Дворяне Королевские воплем негодования прервали дерзкую речь; велели Послам удалиться, язвительно издевались над ними; спрашивали в насмешку о здоровье *их Государя Димитрия*, о втором бракосочетании Царицы Марии – и дали им, от имени Сигизмундова, следующий ответ письменный: «Вам надлежало не посылать к Королю, а ждать его Посольства: тогда вы узнали бы, для чего он вступил в Россию. Отечество наше конечно славится редкою свободою; но и свобода имеет законы, без коих Государство стоять не может. Закон Республики не позволяет воевать и Королю без согласия чинов государственных; а вы, люди частные, своевольным нападением раздражаете опаснейшего из врагов ее: вами озлобленный Шуйский мстит ей Крымцами и Шведами. Легко призвать, трудно удалить опасность. Хвалитесь победами; но вы еще среди неприятелей сильных... Идите и скажите своим клеветам, что искать славы и корысти беззаконием, мятежничать и нагло оскорблять Верховную Власть есть дело не граждан свободных, а людей диких и хищных».

Одним словом, казалось, что не подданные с Государем и Государством, а две особенные державы находятся в жарком прении между собою и грозят друг другу войною! Изъясняясь с некоторою твердостью, Сигизмунд не думал однако ж быть строгим для усмирения крамольников, ибо имел в них нужду и надеялся вернее обольстить, нежели утешить их: разведывал, что делается в Лжедмитриевом стане; узнал о несогласии Сапеги и Зборовского с Рожинским, о явном презрении умных Ляхов к Самозванцу, о желании многих из них, вопреки клятвенно утвержденному союзу между ними, действовать заодно с Королевским войском, – и торжественно назначил (в Декабре 1609) Послов в Тушино: Панов Стадницкого, Князя Збараского, Тишкевича, с дружиною знатною. Он предписал им, что говорить воинам и начальникам, гласно и тайно; дал грамоту к Царю Василию, доказывая в ней справедливость своего нападения, но изъявляя и готовность к миру на условиях, выгодных для Республики; дал еще особенную грамоту к Патриарху, Духовенству, Синклиту, Дворянству и гражданству Московскому, в коей, уже снимая с себя личину, вызывался прекратить их жалостные бедствия, если они с благодар-

ным сердцем прибегнут к его державной власти, и Королевским словом уверял в целости нашего богослужения и всех уставов священных. В таком же смысле писал Сигизмунд и к Россиянам, служащим мнимому Димитрию; а к Самозванцу писали только Сенаторы, называя его в титуле *Яснейшим Князем* и прося оказать Послам достойную честь из уважения к Республике, не сказывая, зачем они едут в стан Тушинский.

Уже Конфедераты, лишаясь надежды взять Москву, более и более опасаясь Князя Михаила и страшась недостатка в хлебе, отнимаемом у них разбегдами Воевод Царских, умерили свою гордость; ждали сих Послов нетерпеливо и встретили пышно. Любопытный Самозванец вместе с Мариною смотрел из окна на их торжественный въезд в Тушино, едва ли угадывая, что они везут ему гибель! Рожинский советовал им представиться Лжедимитрию: Стадницкий и Збараский отвечали, что имеют дело единственно до войска – и, после великолепного пира, созвали всех Ляхов слушать наказ Королевский. Среди обширной равнины Послы сидели в креслах: Воеводы, чиновники, Дворяне стояли в глубоком молчании. Сигизмунд объявлял, что извлекая меч на Шуйского за многие неприятельские действия Россиян, спасает тем Конфедератов, уже малочисленных, изнуренных долговременною войною и теснимых соединенными силами Москвитян и Шведов; ждет добрых сынов отечества под свои хоругви, забывает вину дерзких, обещает всем жалованье и награды. Выслушав речь Посольскую, многие изъявили готовность исполнить волю Сигизмунда; другие желали, чтобы он, взяв Смоленск и Северскую землю от Димитрия, мирно возвратился в отечество, а войско Республики присоединил к Конфедератам для завоевания всего Царства Московского. «Согласно ли с достоинством Короля, – возражали Послы, – иметь владенную грамоту на Российские земли от того, кому большая часть Россиян дает имя обманщика? и благоразумно ли проливать за него драгоценную кровь Ляхов?» Конфедераты требовали по крайней мере двух миллионов злотых; требовали еще, чтобы Сигизмунд назначил пристойное содержание для мнимого Димитрия и жены его. «Вспомните, – ответствовали им, – что у нас нет Перуанских рудников. Удовольствуйтесь ныне жалованьем обыкновенным; когда же Бог покорит Сигизмунду Великую Державу Московскую, тогда и прежняя ваша служба не останется без возмездия, хотя вы служили не Государю, не Республике, а человеку стороннему, без их ведома и согласия». О будущей доле Самозванца Послы не сказали ни слова. Вожди и воины просили времени для размышления.

Что ж делал Самозванец, еще окруженный множеством знатных Россиян, еще глава войска и стана? Как бы ничего не зная, сидел в высоких хоромаш Тушинских и ждал спокойного решения судьбы своей от людей, которые назывались его слугами; упоенный сновидением величия, боялся пробуждения и смыкал глаза под ударом смертоносным. Уже давно терпел он наглость Ляхов и презрение Россиян, не смея быть взыскательным или строгим: так Гетман вспыльчивый, в присутствии Лжедимитрия, изломал палку об его любимца, Князя Вишневецкого, и заставил Царика бежать от страха вон из комнаты; а Тишкевич в глаза называл Самозванца обманщиком. Многие Россияне, долго лицемерив и честив бродягу, уже явно гнушались им, досаждали ему невниманием, словами грубыми и думали между собою, как избыть вместе и Шуйского и Лжедимитрия. Сие спокойствие злодея, в роковой час оставленного умом и смелостию, способствовало успеху Послов Сигизмундовых.

Они пригласили к себе знатнейших Россиян Лжедимитриевого стана и, вручив им грамоту Сигизмундову, изъяснили, что хотя Король вступил в Россию с оружием, но единственно для ее мира и благоденствия, желая утишить бунт, истребить бесстыдного Самозванца, низвергнуть тирана вероломного (Шуйского), освободить народ, утвердить Веру и Церковь. «Сии люди, – пишет Историк Польский, – угнетенные долговременным злосчастьем, не могли найти слов для выражения своей благодарности: печальные лица их осветились радостью; они плакали от умиления, читали друг другу письмо Королевское, целовали, прижимали к сердцу начертание его руки, восклицая: *не может иметь Государя лучшего!* .. Так замысел Сигизмундов на венец Мономахов был торжественно объявлен и торжественно одобрен Россиянами; но какими? Сонмом изменников: Боярином Михайлом Салтыковым, Князем Василием Рубцом-Мосальским и клеветами их, вероломцами опытными, которые, нарушив три присяги, и нарушая четвертую, не усомнились предать иноплеменнику и Лжедимитрия и Россию, чтобы спастись от мести Шуйского, ранним усердием снискать благоволение Короля и под сению нового Царствующего Дома вкушать счастливое забвение своих беззаконий! В сей думе крамольников присутствовал, как пишут, и муж добродетельный, пленник Филарет, ее невольный и безгласный участник.

Уверенные в согласии Тушинских Россиян иметь Царем Сигизмунда, Послы в то же время готовы были вступить в сношение и с Василием, как законным Монархом: доставили ему

грамоту Королевскую и, вероятно, предложили бы мир на условии возвратить Литве Смоленск или землю Северскую: чем могло бы удовольствоваться властолюбие Сигизмундово, если бы Россияне не захотели изменить своему Венценосцу. Но Василий, перехватив возмутительные письма Королевские к Духовенству, Боярам и гражданам столицы, не отвечал Сигизмунду, в знак презрения: обнародовал только его вероломство и козни, чтобы исполнить негодования сердца Россиян. Москва была спокойна; а в Тушине вспыхнул мятеж.

Дав Конфедератам время на размышление, Послы Сигизмундовы уже тайно склонили Князя Рожинского и главных Воевод присоединиться к Королю. Не хотели вдруг оставить Самозванца, боясь, чтобы многолюдная сволочь Тушинская не передалась к Василию: условились до времени терпеть в стане мнимое господство Лжедмитриево для устрашения Москвы, а действовать по воле Сигизмунда, имея главною целию низвергнуть Шуйского. Но ослепление и спокойствие бродяги уже исчезли: угадывая или сведав замышляемую измену, он призвал Рожинского и с видом гордым спросил, что делают в Тушине Вельможи Сигизмундовы, и для чего к нему не являются? Гетман нетрезвый забыл лицемерие: отвечал бранью и даже поднял руку. Самозванец в ужасе бежал к Марине; кинулся к ее ногам; сказал ей: «Гетман выдает меня Королю; я должен спастись: прости» – и ночью (29 Декабря), надев крестьянское платье, с шутком своим, Петром Кошелевым, в навозных санях уехал искать нового гнезда для злодейства: ибо Царство злодея еще не кончилось!

На рассвете узнали в Тушинском стане, что мнимый Дмитрий пропал: все изумились. Многие думали, что он убит и брошен в реку. Сделалось ужасное смятение: ибо знатная часть войска еще усердствовала Самозванцу, любя в нем Атамана разбойников. Толпы с яростным криком приступили к Гетману, требуя своего Дмитрия и в то же время грабя обоз сего беглеца, серебряные и золотые сосуды, им оставленные. Гетман и другие начальники едва могли смирить мятежников, уверив их, что Самозванец, не убитый, не изгнанный, добровольно скрылся в чувстве малодушного страха, и что не бунтом, а твердостью и единодушием должно им выйти из положения весьма опасного. Не менее волновались и Российские изменники, лишенные главы: одни бежали вслед за Самозванцем, другие в Москву; знатнейшие пристали к Конфедератам и вместе с ними отправили Посольство к Сигизмунду.

Между тем Марина, оставленная мужем и Двором, не изменяла высокомерию и твердости в злосчастии; видя себя в стане под строгим надзором и как бы пленницею ненавистного ей Гетмана, упрекала Ляхов и Россиян предательством; хотела жить или умереть Царицею; ответствовала своему дяде, Пану Стадницкому, который убеждал ее прибегнуть к Сигизмундовой милости и назвал в письме только дочерью Сендомирского Воеводы, а не Государынею Московскою: «Благодарю за добрые желания и советы; но правосудие Всевышнего не даст злодею моему, Шуйскому, насладиться плодом вероломства. Кому Бог единожды дает величие, тот уже никогда не лишается сего блеска, подобно солнцу, всегда лучезарному, хотя и затмеваемому на час облаками». Она писала к Королю: «Счастье меня оставило, но не лишило права Властительского, утвержденного моим Царским венчанием и двукратною присягою Россиян»; желала ему успеха в войне, не уступая венца Мономахова, – ждала случая действовать и воспользовалась первым.

[1610 г.] Скоро ведали, где Лжедмитрий: он уехал в Калугу; стал близ города в монастыре и велел Инокам объявить ее жителям, что Король Сигизмунд требовал от него земли Северской, желая обратить ее в Латинство, но получив отказ, склонил Гетмана и все Тушинское войско к измене; что его (Самозванца) хотели схватить или умертвить; что он удалился к ним, достойным гражданам знаменитой Калуги, надеясь с ними и с другими верными ему городами изгнать Шуйского из Москвы и Ляхов из России или погибнуть славно за целость государства и за святость Веры. Дух буйности жил в Калуге, где оставались еще многие из сподвижников Атамана Болотникова: они с усердием встретили злодея как Государя законного, ввели в лучший дом, наделили всем нужным, богатыми одеждами, конями. Прибежали из Тушина некоторые ближние чиновники Самозванцев; пришел главный крамольник Князь Григорий Шаховской с полками Козаков из Царева-Займища, где он наблюдал движения Сигизмундовой рати. Составились дружины телохранителей и воинов, двор и Правительство, достойное Лжецаря, коего первым указом в сем новом вертепе злодейства было истребление Ляхов и Немцев за неприятельские действия Сигизмунда и Шведов: их убивали, вместе с верными Царю Россиянами, во всех городах, еще подвластных Самозванцу: Туле, Перемышле, Козельске; грабили купцев иноземных на пути из Литвы к Тушину. В Калуге утопили бывшего Воеводу ее, Ляха Скотницкого, подозреваемого Лжедмитрием в измене. Там же истерзали доброго

Окольничего Ивана Ивановича Годунова, как усердного слугу Василиева. Взяв его в плен, свергнули с башни и еще живого кинули в реку; он ухватился за лодку: злодей Михайло Бутурлин отсек ему руку, и сей мученик верности утонул в глазах отчаянной жены своей, сестры Филаретовой. Быв дотоле в некоторой зависимости от Гетмана и других знатных клевретов, Самозванец уже мог действовать свободно, зверствовать до безумия, хвалясь особенно ненавистию ко всему нерусскому и говоря, что когда будет Царем на Москве, то не оставит в живых ни единого иноплеменника, ни грудного младенца, ни зародыша в утробе матери! И кровию Ляхов обагренный, тогда же искал в них еще усердия к его злодейству!

В Тушинском стане читали тайные грамоты Лжедмитриевы: Самозванец писал, что возвратится к своим добрым сподвижникам с богатою казною, если они дадут ему новую клятву в верности и накажут главных виновников измены. Прибыли и тайные Послы его, Лях Казимирский и Глазун-Плещеев: они внушали Ляхам и Козакам, что один Димитрий может обогатить их, имея еще владения обширные и миллионы готовые. Люди, сколько-нибудь благоразумные, не слушали; но бродяги, грабители снова взволновались, и еще более, когда Марина, пользуясь смятением, явилась между воинами с растрепанными волосами, с лицом бледным, с глубокою горестию и слезами; не упрекала, но трогала, видом и словами; убеждала не оставлять Димитрия, исполненного к ним любви и благодарности: не лишать себя праведного возмездия за труды, для него понесенные, – не обольщаться Королевскою милостию, ничем незаслуженною и следственно ненадежною; ходила из ставки в ставку; каждого из чиновников называла именем, ласково приветствовала, молила соединиться с ее мужем. Все было в движении; стремились видеть и слушать прелестную женщину, красноречивую от живых чувств и разительных обстоятельств судьбы ее. Говорили: «Послы Королевские нас обманули и разлучили с Димитрием! Где тот, за кого мы умирали? От кого будем требовать награды?» Еще Гетман и Воеводы нашли средство обуздать Ляхов; но донцы сели на коней и выступили полками из Тушина к Калуге. Гетман с своими латниками настиг их, изрубил более тысячи и заставил побежденных возвратиться.

Спокойствие было кратковременно. Не имев совершенного успеха в намерении взбунтовать Тушинский стан и боясь мести Гетмана, Марина, в одежде воина, с луком и тулом за плечами, [11 Февраля] ночью, в трескучий мороз ускакала верхом к мужу, провождаемая только слугою и служанкою. Поутру нашли в ее комнатах следующее письмо к войску: «Без друзей и ближних, одна с своею горестию, я должна спасать себя от наглости моих мнимых защитников. В упоении шумных пиров, клеветники гнусные равняют меня с женами презрительными, умышляют измену и ковы. Сохрани Боже, чтобы кто-нибудь дерзнул торговать мною и выдать меня человеку, которому ни я, ни мое Царство не подвластны! Утесненная и гонимая, свидетельствуюсь Всевышним, что не престану блюсти своей чести и славы, и быв Властительницею Народов, уже никогда не соглашусь возвратиться в звание Польской Дворянки. Надеюсь, что храброе воинство не забудет присяги, моей благодарности и наград ему обещанных, удаляюсь». Сие письмо читали всенародно в Тушине благоприятели Марины и произвели желаемое действие: новый мятеж, еще сильнее прежних. Неистовые, с обнаженными саблями окружив ставку Гетмана, вопили: «Злодей! Ты выгнал злосчастную Марину твоею буйностию, в чаду высокоумия и пьянства! Ты, вероломец, подкупленный Королем, чтобы обманом вырвать из наших рук казну Московскую! Возврати нам Димитрия или умри, изменник!» Стреляли из пистолетов; хотели действительно убить Рожинского, выбрать иного начальника и немедленно идти к Самозванцу; но снова одумались, примирились с неустрашимым Гетманом и дали ему слово ждать ответа Королевского. «Ни за что не ручаюсь, – писал Рожинский к Сигизмунду, – если Ваше Величество не благоволите удовлетворить желаниям войска и Бояр Московских, с нами соединенных».

Сии желания или требования были объявлены Королю Послами Россиян и Ляхов Тушинских. В числе сорока двух первых находились Михайло Салтыков и сын его Иван, Князь Рубец-Мосальский и Юрий Хворостинин, Лев Плещеев, Молчанов (тот самый, который в Галиции выдавал себя за Димитрия), Дьяки Грамотин, Андронов, Чичерин, Апраксин и многие Дворяне. Сигизмунд принял их (31 Генваря) с великою пышностью, сидя на престоле, в кругу Сенаторов и знатных Панов. Седовласый изменник Салтыков говорил длинную речь о бедствиях России, о доверенности ее к Королю, и замолчал от усталости. Сын его и Дьяк Грамотин продолжали: один исчислил всех наших Государей от Рюрика до Иоанна и Феодора; другой молил Сигизмунда быть заступником нашего православия и тем снискать милость Всевышнего. Наконец Боярин Салтыков предложил венец Мономахов не Сигизмунду, но юному Королевичу

Владиславу; а Грамотин заключил изображением выгод, безопасности, благоденствия обеих держав, которые со временем будут единою под скиптром Владислава. Литовский Канцлер Лев Сапега отвечал, что Сигизмунд благодарит за оказываемую ему честь и доверенность, соглашается быть покровителем Российской Державы и Церкви и назначит Сенаторов для переговоров о деле столь важном.

Переговоры начались немедленно, и Послы изменников Тушинских сказали Сенаторам: «С того времени, как смертью Иоаннова наследника извелось державное племя Рюриково, мы всегда желали иметь одного Венценосца с вами: в чем может удостоверить вас сей Думный Боярин Михайло Глебович Салтыков, зная все тайны государственные. Препятствием были грозное властвование Борисово, успехи Лжедмитрия, незаконное воцарение Шуйского и явление второго Самозванца, к коему мы пристали, не веря ему, но от ненависти к Василию, и только до времени. Обрадованные вступлением Короля в Россию, мы тайно снеслись с людьми знатнейшими в Москве, свели их единомыслие с нами и давно прибегнули бы к Сигизмунду, если бы Ляхи Лжедмитриево тому не противились. Ныне же, когда Вожди и войско готовы повиноваться законному Монарху, объявившему нам чистоту своих намерений, – ныне смело убеждаем его величество дать нам сына в Цари: ибо ему самому, Государю иной Великой Державы, нельзя оставить ее, ни управлять Московскою чрез наместника. Вся Россия встретит Царя вождельного с радостью; города и крепости отворят врата; Патриарх и Духовенство благословят его усердно. Только да не медлит Сигизмунд; да идет прямо к Москве и подкрепит войско, угрожаемое превосходными силами Скопина и Шведов. Мы впереди: укажем ему путь и средства взять столицу; сами свергнем, истребим Шуйского, как жертву, уже давно обреченную на гибель. Тогда и Смоленск, осаждаемый с таким усилием тягостным, доселе бесполезным – тогда и все Государство последует нашему примеру». Но, боясь ли, как пишут, верить судьбу шестнадцатилетнего Королевича народу, ославленному строптивостию и мятежами, или от личного властолюбия не расположенный уступить Московское Царство даже и сыну, Сигизмунд изъяснился двусмысленно. Сенаторы его ответствовали изменникам, что *если* Всевышний благословит доброе желание Россиян; *если* грозные тучи, висящие над их Державою, удалятся, и тихие дни в ней снова воссияют; *если* в мире и согласии, Духовенство, Вельможи, войско, граждане все единодушно захотят Владислава в Цари: то Сигизмунд конечно удовлетворит их общей воле – и готов идти к Москве, как скоро Тушинская рать к нему присоединится.

В дальнейших объяснениях Послы требовали, чтобы Владислав принял нашу Веру: им сказали, что Вера есть дело совести и не терпит насилия; что можно внушать и склонять, а не велеть. «Сии люди, – говорит Польский Историк, – мало заботились о правах и вольностях государственных: твердили единственно о Церкви, монастырях, обрядах; только ими дорожили, как главным, существенным предметом, необходимым для их мира душевного и счастья». Именем Королевским Сенаторы письменно утвердили неприкосновенность всех наших священных уставов и согласились, чтобы Королевич, *если* Бог даст ему Государство Московское, был венчан Патриархом; обязались также соблюсти целость России, ее законы и достояние людей частных; а Послы клялись оставить Шуйского и Самозванца, верно служить Государю Владиславу, и доколе он еще не Царствует, служить отцу его. В то же время Король писал к Сенату, что Москва в смятении, и Князь Михаил в раздоре с Василием; что должно пользоваться обстоятельствами, расширить владения Республики и завоевать часть России или всю Россию! Не могли Салтыков и клеветы его быть слепыми: они видели, что Король готовит Царство себе, а не Владиславу; знали, что и Владислав не мог ни в каком случае принять нашего Закона: но ужасаясь близкого торжества Василиева, как своей гибели, и давно погрязнув в злодействах, не усомнились предать отечество из рук низкого Самозванца в руки Венценосца иноверного; предлагали условия единственно для ослепления других Россиян, и лицемерно восхищаясь мнимою готовностью Сигизмунда исполнить все их желания, громогласно благодарили его и плакали от радости. Пировали, обедали у Короля, Гетмана Жолкевского и Льва Сапег. Сидя на возвышенном месте, Король пил за здоровье Послов: они пили за здоровье Царя Владислава. Написали грамоты к Воеводам городов окрестных, славя великодушие Сигизмунда, убеждая их присягнуть Королевичу, соединиться с братьями Ляхами, и некоторых обольстили: Ржев и Зубцов поддались Царю новому, мнимому. Но знаменитый Шеин, уже пять месяцев осаждаемый в Смоленске, к его славе и бедствию Королевского войска, истребляемого трудами, битвами и морозами, не обольстился: вызванный из крепости изменниками для свидания, слушал их с презрением и возвратился верным, непоколебимым.

Довольный Тушинскими Россиянами, Сигизмунд тем менее был доволен Тушинскими Ляхами, коих Послы снова требовали миллионов, и хотели, чтобы он, взяв Московское Государство, дал Марине Новгород и Псков, а мужу ее Княжество особенное. Опасаясь раздражить людей буйных и лишиться их важного, необходимого содействия, Король обещал уступить им доходы земли Северской и Рязанской, милостиво наделить Марину и Лжедмитрия, если они смирятся, и немедленно прислать в Тушино Вельможу Потоцкого с деньгами и с войском, чтобы истребить или прогнать Князя Михаила, стеснить Москву и низвергнуть Шуйского. Но сей ответ не успокоил Конфедератов: не верили обещаниям; ждали денег – а Сигизмунд медлил и морил людей под стенами Смоленска; не присылал ни серебра, ни войска к мятежникам: ибо его любимец Потоцкий, к досаде Гетмана Жолкевского, распоряжая осадой, не хотел двинуться с места, чтобы отсутствием не утратить выгод временщика.

Вести калужские еще более взволновали Конфедератов: там Лжедмитрий снова усиливался и Царствовал; там явилась и жена его, славимая как Героиня. Выехав из Тушина, она сбилась с дороги и попала в Дмитров, занятый войском Сапеги, который советовал ей удалиться к отцу. «Царица Московская, – сказала Марина, – не будет жалкою изгнанницею в доме родительском», – и взяв у Сапеги Немецкую дружину для безопасности, прискакала к мужу, который встретил ее торжественно вместе с народом, восхищенным ее красотою в убранстве юного витязя. Калуга веселилась и пировала; хвалилась призраком двора, многолюдством, изобилием, покоем, – а Тушинские Ляхи терпели голод и холод, сидели в своих укреплениях как в осаде или, толпами выезжая на грабеж, встречали пули и сабли Царских или Михайловых отрядов. Кричали, что вместе с Дмитрием оставило их и счастье; что в Тушине бедность и смерть, в Калуге честь и богатство; не слушали новых Послов Королевских, прибывших к ним только с ласковыми словами; кляли измену своих предводителей и козни Сигизмундовы; хотели грабить стан и с сею добычею идти к Самозванцу. Но Гетман, в последний раз, обуздал буйность страхом.

Уже Князь Михаил действовал. Войско его умножилось, образовалось. Пришло еще 3000 Шведов из Выборга и Нарвы. Готовились идти прямо на Сапегу и Рожинского, но хотели озаботить их и с другой стороны: послали Воевод Хованского, Борятинского и Горна занять южную часть Тверской и северную Смоленской области, чтобы препятствовать сообщению Конфедератов с Сигизмундом. Между тем чиновник Волуев с пятьюстами ратников должен был осмотреть вблизи укрепления Сапегины. Он сделал более: ночью (Генваря 4) вступил в Лавру, взял там дружину Жеребцова, утром напал на Ляхов и возвратился к Князю Михаилу с толпою пленников и с вестью о слабости неприятеля. Войско ревностно желало битвы, надеясь поразить Сапегу и Гетмана отдельно. Но дерзость первого уже исчезла: будучи в несогласии с Рожинским, оставив Лжедмитрия и еще не пристав к Королю, едва ли имея 6'000 сподвижников, изнуренных болезнями и трудами, Сапега увидел поздно, что не время мыслить о завоевании монастыря, а время спасаться: снял осаду (12 Генваря) и бежал к Дмитрову. Иноки и воины Лавры не верили глазам своим, смотря на сие бегство врага, столь долго упорного! Оглядели безмолвный стан изменников и Ляхов; нашли там множество запасов и даже немало вещей драгоценных; думали, что Сапега возвратится – и чрез восемь дней послали наконец Инока Макария со Святою водою в Москву, объявить Царю, что Лавра спасена Богом и Князем Михаилом, быв 16 месяцев в тесном obleжании. Уже сия не только святостию, но и славою редкою – любовию к отечеству и Вере преодолев искусство и число неприятеля, нужду и язву – обратив свои башни и стены, дебри и холмы в памятники доблести бессмертной – Лавра увенчала сей подвиг новым государственным благодеянием. Россияне требовали тогда единственно оружия и хлеба, чтобы сражаться; но союзники их, Шведы, требовали денег: Иноки Троицкие, встретив Князя Михаила и войско его с любовию, отдали ему все, что еще имели в житницах, а Шведам несколько тысяч рублей из казны монастырской. – Глубина снегов затрудняла воинские действия: Князь Иван Куракин с Россиянами и Шведами выступил на лыжах из Лавры к Дмитрову и под стенами его увидел Сапегу. Началось кровопролитное дело, в коем Россияне блестящим мужеством заслужили громкую хвалу Шведов, судей непристрастных; победили, взяли знамена, пушки, город Дмитров и гнали неприятеля легкими отрядами к Клину, нигде не находя ни жителей, ни хлеба в сих местах, опустошенных войною и разбоями. Предав Ляхов Тушинских судьбе их, Сапега шел день и ночь к Калужским и Смоленским границам, чтобы присоединиться к Королю или Лжедмитрию, смотря по обстоятельствам.

До сего времени Сапега был щитом для Тушина, стоя между им и Слободою Александровскою: сведав о бегстве его – сведав тогда же, что Воеводы, отряженные Князем Михаилом,

заняли Старицу, Ржев и приступают к Белому – Конфедераты не хотели медлить ни часу в стане, угрожаемом вблизи и вдали Царскими войсками; но смиренные ужасом, изъявили покорность Гетману: он вывел их с распущенными знаменами, при звуке труб и под дымом пылающего, им зажженного стана, чтобы идти к Королю. Изменники, клеветы Салтыкова, соединились с Ляхами; гнуснейшие из них ушли к Самозванцу; менее виновные в Москву и в другие города, надеясь на милосердие Василиево или свою неизвестность, – и чрез несколько часов остался только пепел в уединенном Тушине, которое 18 месяцев кипело шумным многолюдством, величалось именем Царства и боролось с Москвою! Жарко преследуемый дружинами Князя Михаила, изгнанный из крепких стен Иосифовской Обители и разбитый в поле мужественным Волуевым (который в сем деле освободил знаменитого пленника Филарета), Рожинский, Князь племени Гедиминова, еще юный летами, от изнурения сил и горести кончил бурную жизнь в Волоколамске, жалуясь на измену счастья, безумие второго Лжедмитрия, крамольный дух сподвижников и медленность Сигизмундову: Полководец искусный, как уверяют его единомысленцы, или только смелый наездник и грабитель, как свидетельствуют наши летописи. Смерть начальника рушила состав войска: оно рассеялось; толпы бежали к Сигизмунду, толпы к Лжедмитрию и Сапеге, который стал на берегах Угры, в местах еще изобильных хлебом, и предлагал своему Государю условия для верной ему службы, сносая и с Калугою. – Так исчезло главное, страшное ополчение удалцов и разбойников чужеземных, изменников и злодеев Российских, быв на шаг от своей цели, гибели нашего отечества, и вдруг остановлено великодушным усилием добрых Россиян, и вдруг уничтожено действиями грубой политики Сигизмундовой!.. Один Лисовский с изменником Атаманом Просовецким, с шайками Козаков и вольницы, держался еще несколько времени в Суздале, но весною ушел оттуда в мятежный Псков, разграбив на пути монастырь Колязинский, где честный Воевода Давид Жеребцов пал в битве. Наконец вся внутренность Государства успокоилась.

Так успел Герой-юноша в своем деле великом! За 5 месяцев пред тем оставив Царя почти без Царства, войско в оцепенении ужаса, среди врагов и предателей – найдя везде отчаяние или зложелательство, но умея тронуть, оживить сердца добродетельною ревностью, собрать на краю Государства новое войско отечественное, благовременно призвать иноземное, восстановить целостность России от Запада до Востока, рассеять сонмы неприятелей многочисленных и взять одною угрозою крепкие, годовые их станы – Князь Михаил двинулся из Лавры, им освобожденной, к столице, им же спасенной, чтобы вкусить сладость добродетели, увенчанной славою.

Россияне и Шведы, одни с веселием, другие с гордостью, шли как братья, Воеводы и воины, на торжество редкое в летописях мира. Царь велел знатным чиновникам встретить Князя Михаила: народ предупредил чиновников; стеснил дорогу Троицкую; поднес ему [2 Марта] хлеб и соль, *бил челом* за спасение Государства Московского, давал имя *отца отечества*, благодарил и сподвижника его, Делагарди. Василий также благодарил обоих, с слезами на глазах, с видом искреннего умиления. Казалось, что одно чувство всех одушевляло, от Царя до последнего гражданина. Москва, быв еще недавно столицею без Государства, окруженная неприятельскими владениями, смятенная внутренними крамолами, терзаемая голодом, и ввечеру не зная, кого утреннее солнце осветит в ней на престоле, законного ли Венценосца Российского или бродягу, клеветы разбойников иноземных – Москва снова возвышала главу над обширным Царством, простирая руку к Ильменю и к Енисею, к морю Белому и Каспийскому, – опираясь в стенах своих на легионы победоносные, и наслаждаясь спокойствием, славою, изобилием; видела в Князе Михаиле виновника сей разительной перемены и не щадила ни его смирения, ни его безопасности: где он являлся, везде торжествовал и слышал клики живейшей к нему любви, естественной, справедливой, но опасной: ибо зависть, уже не окованная страхом, готовила жало на знаменитого подвижника России, и раздражаемая сим народным восторгом, тем более кипела ядом, в слепой злобе не предвидя, что будет сама его жертвою!

Еще не спаслось, а только спасалось отечество – и Князь Михаил среди светлых пиров столицы не упоенный ни честью, ни славою, требовал указа Царского довершить великое дело: истребить Лжедмитрия в Калуге, изгнать Сигизмунда из России, очистить южные пределы ее, успокоить Государство навеки, имея все для успеха несомнительного: войско, доблесть, счастье или милость Небесную. Но судьба Шуйского противилась такому концу благословенному: не в его бедственное Царствование отечество наше должно было возродиться для величия!

Глава IV. Низвержение Василия и междоусобица. Г. 1610–1611

Наушники. Кончина Скопина-Шуйского. Горесть народная. Князь Димитрий Шуйский Военачальник. Бунт Ляпунова. Битва под Клушиным. Делагарди отступает к Новугороду. Поляки занимают Царево-Займище. Отчаяние столицы. Новые успехи Самозванца. Твердость Пожарского. Ропот народный. Василий лишен престола. Тщетные увещания Патриарха. Пострижение Василия и супруги его. Совет Князя Мстиславского. Переговоры с Жолкевским. Условия. Присяга Владиславу. Намерение Сигизмунда. Бегство Самозванца в Калугу. Политика Жолкевского. Посольство к Королю. Вступление Поляков в Москву. Действия Послов Московских. Отъезд Жолкевского. Шуйский предан Полякам. Неудачные приступы к Смоленску. Самовластие Сигизмунда. Нетерпение народа. Неприятельские действия Делагарди. Злодейства Лисовского. Измена Казани. Смерть Самозванца. Новый обман. Начальники восстания народного. Грамоты Смолен и Москвитян. Слабость Московской Думы. Ссоры с Поляками. Состав ополчения за Россию. Кровопролитие в столице. Пожар Москвы. Прибытие Струса. Подвиги Пожарского. Неистовства Поляков в Москве. Заключение Ермогена.

В то время, когда всякой час был дорог, чтобы совершенно избавить Россию от всех неприятелей, смятенных ужасом, ослабленных разделением – когда все друзья отечества изъявляли Князю Михаилу живейшую ревность, а Князь Михаил живейшее нетерпение Царю идти в поле – минуло около месяца в бездействии для отечества, но в деятельных происках злобы личной.

Робкие в бедствиях, надменные в успехах, низкие душою, трепетав за себя более нежели за отечество, и мысля, что все труднейшее уже сделано, – что остальное легко и не превышает силы их собственного ума или мужества, ближние царедворцы в тайных думах немедленно начали внушать Василию, сколь юный Князь Михаил для него опасен, любимый Россиею до чрезмерности, явно уважаемый более Царя и явно в Цари готовимый единомыслием народа и войска. Славя Героя, многие Дворяне и граждане действительно говорили нескромно, что спаситель России должен и властвовать над нею; многие нескромно уподобляли Василия Саулу, а Михаила Давиду. Общее усердие к знаменитому юноше питалось и суеверием: какие-то гадалы предсказывали, что в России будет Венценосец, именем *Михаил*, назначенный Судьбою умирить Государство: «чрез два года благодатное воцарение Филаретова сына оправдало гадалей», – пишет историк чужеземный, но Россияне относили мнимое пророчество к Скопину и видели в нем если не совместника, то преемника дяди его, к особенной досаде любимого Василиева брата, Димитрия Шуйского, который мыслил, вероятно, правом наследия уловить державство: ибо шестидесятилетний Царь не имел детей, кроме новорожденной дочери, Анастасии. Князь Дмитрий, духом слабый, сердцем жестокий, был первым наушником и первым клеветником: не довольствуясь истиною, что народ желает Царства Михаилу, он сказал Василию, что Михаил в заговоре с народом, хочет похитить верховную власть и действует уже как Царь, отдав Шведам Кексгольм без указа Государева. Еще Василий ужасался или стыдился неблагодарности: велел умолкнуть брату, – даже выгнал его с гневом; ежедневно приветствовал, честил Героя – но медлил снова верить ему войско! Узнав о наветах, Князь Михаил спешил изъясниться с Царем; говорил спокойно о своей невинности, свидетельствуясь в том чистою совестью, службою верною, а всего более оком Всевышнего; говорил свободно и смело о безумии зависти преждевременной, когда еще всякая остановка в войне, всякое охлаждение, несогласие и внушение личных страстей могут быть гибельны для отечества. Василий слушал не без внутреннего смятения: ибо собственное сердце его уже волновалось завистью и беспокойством: он не имел счастья верить добродетели! Но успокоил Михаила ласкою; велел ему и Думным Боярам условиться с Генералом Делагарди о будущих воинских действиях; утвердил договор Выборгский и Колязинский; обещал немедленно заплатить весь долг Шведам.

Между тем умный Делагарди в частых свиданиях с ближними Царедворцами заметил их худое расположение к Князю Михаилу и предостерегал его как друга: двор казался ему опаснее ратного поля для Героя. Оба нетерпеливо желали идти к Смоленску и неохотно участвовали в пирах Московских. 23 Апреля [1610 г.] Князь Димитрий Шуйский давал обед Скопину. Беседовали дружественно и весело. Жена Димитриева, Княгиня Екатерина – дочь того, кто жил смертоубийствами: Малюты Скуратова – явилась с ласкою и чашею пред гостем знаменитым:

Михаил выпил чашу... и был принесен в дом, исходя кровию, беспрестанно лившеюся из носа; успел только исполнить долг Христианина и предал свою душу Богу, вместе с судьбою отечества!.. Москва в ужасе онемела.

Сию незапную смерть юноши, цветущего здравием, приписали яду, и народ, в первом движении, с воплем ярости устремился к дому Князя Дмитрия Шуйского: дружина Царская защитила и дом и хозяина. Уверяли народ в естественном конце сей жизни драгоценной, но не могли уверить. Видели или угадывали злорадство и винили оное в злодействе без доказательств: ибо одна скоропостижность, а не род Михайловой смерти (напомнившей Борису), утверждала подозрение, бедственное для Василия и его близких.

Не находя слов для изображения общей скорби, Летописцы говорят единственно, что Москва оплакивала Князя Михаила столь же неутешно, как Царя Феодора Иоанновича: любив Феодора за добродушие и теряя в нем последнего из наследственных Венценосцев Рюрикова племени, она страшилась неизвестности в будущем жребии Государства; а кончина Михайлова, столь неожиданная, казалась ей явным действием гнева Небесного: думали, что Бог осуждает Россию на верную гибель, среди преждевременного торжества вдруг лишив ее защитника, который *один* вселял надежду и бодрость в души, *один* мог спасти Государство, снова ввергаемое в пучину мятежей без кормчего! Россия имела Государя, но Россияне плакали как сироты без любви и доверенности к Василию, омраченному в их глазах и несчастным царствованием и мыслию, что Князь Михаил сделался жертвою его тайной вражды. Сам Василий лил горькие слезы о Герое: их считали притворством, и взоры подданных убегали Царя, в то время когда он, знаменуя общественную и свою благодарность, оказывал необыкновенную честь усопшему: отпевали, хоронили его великолепно, как бы державного: дали ему могилу пышную, где лежат наши Венценосцы: в Архангельском соборе; там, в приделе Иоанна Крестителя, стоит уединенно гробница сего юноши, единственного добродетелию и любовию народною в век ужасный! От древних до новейших времен России никто из подданных не заслуживал ни такой любви в жизни, ни такой горести и чести в могиле!.. Именуя Михаила Ахиллом и Гектором Российским, Летописцы не менее славят в нем и *милость* беспримерную, *уветливость*, смирение Ангельское, прибавляя, что огорчать и презирать людей было мукою для его нежного сердца. В двадцать три года жизни успев стяжать (доля редкая!) лучезарное бессмертие, он скончался рано не для себя, а только для отечества, которое желало ему венца, ибо желало быть счастливым!

Все переменялось – и завистники Скопина, думав, что Россия уже может без него обойтись, скоро увидели противное. Союз между Царем и Царством, восстановленный Михаилом, рушился, и злополучие Василиево, как бы одоленное на время Михайловым счастьем, снова явилось во всем ужасе над Государством и Государем.

Надлежало избрать Военачальника: избрали того, кто уже давно был нелюбим, а в сие время ненавидим: Князя Дмитрия Шуйского. Россияне вышли в поле с унынием и без ревности: Шведы ждали обещанных денег. Не имея готового серебра, Василий требовал его от Иноков Лавры; но Иноки говорили, что они, дав Борису 15'000, расстриге 30'000, самому Василию 20'000 рублей, остальною казною едва могут исправить стены и башни свои, поврежденные неприятельскою стрельбою. Царь силою взял у них и деньги и множество церковных сосудов, золотых и серебряных для сплавки. Иноки роптали: народ изъявлял негодование, уподобляя такое дело святотатству. Одни Шведы, изъявив участие в народной скорби о Михаиле, ими также любимом, казались утешенными и довольными. Получив жалованье – и Делагарди выступил вслед за Князем Дмитрием к Можайску, чтобы освободить Смоленск. Ждали еще новых союзников, не бывалых под хоругвями Христианскими: Крымских Царевичей с толпами разбойников, чтобы примкнуть к ним несколько дружин Московских и вести их к Калуге для истребления Самозванца. Не думали о стыде иметь нужду в таких сподвижниках! Довольно было сил: недоставало только человека, коего в бедствиях Государственных и миллионы людей не заменяют... Орошая слезами, искренними или притворными, тело Михаила, Василий погребал с ним свое державство, и два раза спасенный от близкой гибели, уже не спасся в третий!

Первая страшная весть пришла в Москву из Рязани, где Ляпунов, явный злодей Царя, сильный духом более, нежели знатностию сана, не обольстив Михаила властолюбием незаконным и предвидя неминуемую для себя опалу в случае решительного торжества Василиева, именем Героя верности дерзнул на бунт и междоусобие. Что Москва подозревала, то Ляпунов объявил всенародно за истину несомнительную: Дмитрия Шуйского и самого Василия убийцами, отравителями Скопина, звал мстителей и нашел усердных: ибо горестная любовь к усопшему Михаилу представляла и бунт за него в виде подвига славного! Княжество Рязанское

отложилось от Москвы и Василия, все, кроме Зарайска: там явился племянник Ляпунова с грамотою от дяди; но там Воеводствовал Князь Дмитрий Михайлович Пожарский. Заслуживая будущую свою знаменитость и храбростию и добродетелию, Князь Дмитрий выгнал гонца крамолы, прислал мятежную грамоту в Москву и требовал вспоможения: Царь отрядил к нему чиновника Глебова с дружиною, и Зарайск остался верным. Но в то же время стрельцы Московские, посланные к Шацку (где явился Воевода Лжедмитриев, Князь Черкасский, и разбил Царского Воеводу, Князя Литвинова) были остановлены на пути Ляпуновым и передались к нему добровольно. Чего хотел сей мятежник! Свергнуть Василия, избавить Россию от Лжедмитрия, от Ляхов, и быть Государем ее, как утверждает один Историк; другие пишут вероятнее, что Ляпунов желал единственно гибели Шуйских, имея тайные сношения с знатнейшим крамольником, Боярином Князем Василием Голицыным в Москве и даже с Самозванцем в Калуге, но недолго: он презрел бродягу, как орудие срамное, видя и без того легкое исполнение желаемого им и многими иными врагами Царя несчастного.

Бунт Ляпунова встревожил Москву: другие вести были еще ужаснее. Князь Дмитрий Шуйский и Делагарди шли к Смоленску, а Ляхи к ним навстречу. Доселе опасливый, нерешительный, Сигизмунд вдруг оказал смелость, узнав, что Россия лишилась своего Героя, и веря нашим изменникам, Салтыкову с клеветами, что сия кончина есть падение Василия, ненавистного Москве и войску. Еще Сигизмунд не хотел оставить Смоленск; но дав Гетману Жолкевскому 2000 всадников и 1000 пехотных воинов, велел ему с сею горстиею людей искать неприятеля и славы в поле. Гетман двинулся сперва к Белому, теснимому Хованским и Горном: имея 6 500 Россиян и Шведов, они уклонились от битвы и спешили присоединиться к Дмитрию Шуйскому, который стоял в Можайске, отделив 6000 Детей Боярских с Князем Елецким и Волуевым в Царево-Займище, чтобы там укрепиться и служить щитом для главной рати. Будучи вдесятеро сильнее неприятеля, Шуйский хотел уподобиться Скопину осторожностью: медлил и тратил время. Тем быстрее действовал Гетман: соединился с остатками Тушинского войска, приведенного к нему Зборовским, и (13 июня) подступил к Займищу; имел там выгоду в битве с Россиянами, но не взял укрепленного – и сведал, что Шуйский и Делагарди идут от Можайска на помощь к Елецкому и Волуеву. Сподвижники Гетмана смутились: он убеждал их в необходимости кончить войну одним смелым ударом; говорил о чести и доблести, а ждал успеха от измены: ибо клеветы Салтыкова окружали, вели его, – сносились с своими единомышленниками в Царском войске, знали общее уныние, негодование и ручались Жолкевскому за победу; ручались и беглецы Шведские, Немцы, Французы, Шотландцы, являясь к нему толпами и сказывая, что все их товарищи, недовольные Шуйским, готовы передаться к Ляхам. Шведы действительно, едва вышедши из Москвы, начали снова требовать жалованья и бунтовать: Князь Дмитрий дал им еще 10 000 рублей, но не мог удовлетворить, ни сам Делагарди смирить сих мятежных корыстолюбцев: они шли нехотя и грозили, казалось, более союзникам, нежели врагам. Такие обстоятельства изъясняют для нас удивительное дело Жолкевского, еще более проницательного, нежели смелого.

Оставив малочисленную пехоту в обозе у Займища, Гетман ввечеру (23 Июня) с десятию тысячами всадников и с легкими пушками выступил навстречу к Шуйскому, столь тихо, что Елецкий и Волуев не заметили сего движения и сидели спокойно в укреплениях, воображая всю рать неприятельскую пред собою; а Гетман, принужденный идти верст двадцать медленно, ночью, узкою, худою дорогою, на рассвете увидел, близ села Клушина, между полями и лесом, плетнями и двумя деревеньками, обширный стан тридцати тысяч Россиян и пяти тысяч Шведов, нимало не готовых к бою, беспечных, сонных. Он еще ждал усталых дружин и пушек; зажег плетник и треском огня, пламенем, дымом пробудил спящих. Изумленные незапным явлением Ляхов, Шуйский и Делагарди спешили устроить войско: конницу впереди, пехоту за нею, в кустарнике, – Россиян и Шведов особенно. Гетман с трубным звуком ударил вместе на тех и других: конница Московская дрогнула; но подкрепленная новым войском, стеснила неприятеля в своих густых толпах, так что Жолкевский, стоя на холме, едва мог видеть хоругвь Республики в облаках пыли и дыма. Шведы удержали стремление Ляхов сильным залпом. Гетман пустил в дело запасные дружины; стрелял из всех пушек в Шведов; напал на Россиян сбоку – и победил. Конница наша, обратив тыл, смешала пехоту; Шведы отступили к лесу; Французы, Немцы, Англичане, Шотландцы передались к Ляхам. Сделалось неописанное смятение. Все бежало без памяти: сто гнало тысячу. Князя Шуйский, Андрей Голицын и Мезецкий засели было в стане с пехотою и пушками; но узнав вероломство союзников, также бежали в лес, усыпая дорогу разными вещами драгоценными, чтобы прелестию добычи оставить неприятеля. Делагарди –

в искренней горести, как пишут, – ни угрозами, ни молением не удержав своих от бесчестной измены, вступил в переговоры: дал слово Гетману не помогать Василию и, захватив казну Шуйского, 5 450 рублей деньгами и мехов на 7 000 рублей, с Генералом Горном и четырьмястами Шведов удалился к Новугороду, жалуюсь на малодушие Россиян столько же, как и на мятежный дух Англичан и Французов, письменно обещая Царю новое вспоможение от Короля Шведского, а Королю легкое завоевание северозападной России для Швеции!

Но стыд союзников уменьшался стыдом Россиян, которые, в бедственном ослеплении, жертвовали нелюбви к Царю любовью к отечеству, не хотели мужествовать за мнимого убийцу Михайлова, думая, кажется, что победа Ляхов губит только несчастного Василия, и гнусным бегством от врага слабого предали ему Россию. Без сомнения оказав ум необыкновенный, Гетман хвалился числом своих и неприятелей, скромно уступал всю честь героизму сподвижников и всего искреннее славил ревность Тушинских изменников, сына и друзей Михайла Салтыкова, которые находились в сей битве, действуя тайно, чрез лазутчиков, на Царское войско. Не многие легли в деле: один знатный Князь Яков Борятинский пал, сражаясь; Воевода Бутурлин отдался в плен. Гораздо более кололи, секли и топтали Россиян в погоне. 11 пушек, несколько знамен, бархатная хоругвь Князя Дмитрия Шуйского, его карета, шлем, меч и булава, также немало богатства, сукон, соболей, присланных Царем для Шведов, были трофеями и добычею Ляхов. Несчастный Князь Дмитрий скакал не оглядываясь, увязил коня в болоте, пеший достиг Можайска и, сказав гражданам, что все погибло, с сею вестью спешил к державному брату в столицу.

Деятельный Гетман в тот же день возвратился к Займищу, где Россияне, ночью, были пробуждены шумом и кликом: Ляхи громогласно извещали их о следствиях Клушинской битвы. Князь Елецкий и Волуев не хотели верить: Гетман на рассвете показал им Царские знамена и пленников, требуя, чтобы они мирно сдались не Ляхам, а новому Царю своему, Владиславу, будто бы уже избранному знатною частию России. Елецкий и Волуев убеждали Гетмана идти к Москве и начать с нею переговоры: им ответствовали: «когда вы сдадитесь, то и Москва будет наша». Волуев, более Елецкого властвуя над умами сподвижников, решил их недоумение: присягнул Владиславу, на условиях, заключенных Михайлом Салтыковым и клеветами его с Сигизмундом; другие также присягнули и вместе с Ляхами, уже братьями, пошли к столице... Смелый в битвах, Жолкевский изъясил смелость и в важном деле Государственном: но без указа Королевского желал воцарить юного Владислава, по удостоверению изменников Тушинских и собственному, что нет иного, лучшего, надежнейшего способа кончить сию войну с истинною славою и выгодною для Республики! Гетман мирно занял Можайск и другие места окрестные именем Королевича, везде гоня пред собою рассеянные остатки полков Шуйского.

В одно время столица узнала о сем бедствии и читала воззвание Жолкевского к ее жителям, распространенное в ней деятельными единомышленниками Салтыкова. «Виною всех ваших зол, – писал Гетман, – есть Шуйский: от него Царство в крови и в пепле. Для одного ли человека гибнуть миллионам? Спасение пред вами: победоносное войско Королевское и новый Царь благодатный: да здравствует Владислав!» Еще Василий, не изменяясь духом, верный твердости в злосчастии, писал указы, чтобы из всех городов спешили к нему последние люди воинские, и в последний раз, для спасения Царства; ободрял Москвитян, давал деньги стрельцам; хотел писать к Гетману, назначил гонца, но отменил, чтобы не унизиться бесполезно в таких обстоятельствах, когда не переговорами, а битвами надлежало спастись. Города не выслали в Москву ни одного воина: Рязанский мятежник Ляпунов не велел им слушаться Царя, вместе с Князем Василием Голицыным крамольствуя и в столице, волнуемой отчаянием... Грозы внешние еще умножились: явился и Лжедмитрий в поле с бесстыдным Сапегою, который за несколько тысяч рублей, доставленных ему из Калуги, снова обязался служить злодею. Они надеялись предупредить Гетмана и взять Москву, думая, что она в смятении ужаса скорее сдастся дерзкому бродяге, нежели Ляхам. Сей подлый неприятель еще казался опаснейшим Царю: сведав, что союзники, вызванные им из гнезда разбоев, сыновья Хана, уже близ Серпухова, Василий отрядил туда знатных мужей: Князя Воротынского, Лыкова и чиновника Измайлова с дружиною Детей Боярских и с пушками, чтобы вести их против Самозванца: но Крымцы, встретив его в Боровском уезде, после дела кровопролитного ушли назад в степи, а Воротынский и Лыков едва спаслись бегством в Москву. Все кончилось для Василия! Снова торжествовал Самозванец; снова обратились к нему изменники и счастье. Сапегины Ляхи осадили крепкий монастырь Пафнутиев, где начальствовали верный Князь Михайло Волконский и два предателя: первый сражался как Герой; но младшие чиновники Змеев и Челищев впустили неприятеля. Волконский

пал в сече над гробом Св. Пафнутия (оставив для веков память своей доблести в гербе Боровска), а Ляхи наполнили ограду и церковь трупами Иноков, стрельцов и жителей монастырских. Коломна, дотоле непоколебимая в верности, вдруг изменила, возмущенная Сотником Бобыниным. Не слушая доброго Епископа Иосифа, народ кричал, что Василию уже не быть Царем, и что лучше служить Димитрию, нежели Сигизмунду. Воеводы Коломенские, Бояре Князь Туренин и Долгорукий, в ужасе сами присягнули обманщику: также и Воевода Коширский Князь Ромодановский вместе с гражданами. Едва уцелел и Зарайск, спасенный твердостью Князя Пожарского: видя бунт жителей и не страшась ни угроз, ни смерти, он с усердною дружиною выгнал их из крепости и восстановил тишину договором, заключенным с ними, остаться верными Василию, если Василий останется Царем, или служить Царю новому, кого изберет Россия. В сем случае ревностным сподвижником Князя Дмитрия был достойный Протоиерей Никольский. Но умирение Зарайска не отвратило гибельного мятежа в столице.

Лжедимитрий спешил к Москве и расположился станом в селе Коломенском, памятном первую славою юного Князя Михаила, коего уже не имело отечество для надежды! Что мог предпринять Царь злосчастный, побежденный Гетманом и Самозванцем, угрожаемый Ляпуновым и крамолою, малодушием и зломыслием, без войска и любви народной? Рожденный не в век Катонов и Брутов, он мог предаться только в волю Божию: так и сделал, спокойно ожидая своего жребия и еще держась рукою за кормило Государственное, хотя уже и бесполезное в час гибели; еще давал повеления, не вникаемые, не исполняемые, будучи уже более зрителем, нежели действителем с того времени, как узнали в Москве о бунте или неповиновении городов, видели под ее стенами знамена Лжедимитриево и ежечасно ждали Сигизмундовых с Гетманом. Дворец опустел: улицы и площади кипели народом; все спрашивали друг у друга, что делается, и что делать? Ненавистники Василиевы уже громогласно требовали его свержения; кричали: «Он сел на престол без ведома земли Русской: для того земля разделилась; для того льется кровь Христианская. Братья Василиевы ядом умертвили своего племянника, а нашего отца-защитника. Не хотим Царя Василия!» *Ни Самозванца, ни Ляхов!* прибавляли многие, благороднейшие духом, следуя внушению Ляпунова Рязанского, брата его Захарии и Князя Василия Голицына. Они превозмогли числом и знатностию единомышленников; гнушаясь Лжедимитрием, думали усовестить его клеветов, чтобы усилиться их союзом, и предложили им свидание. Еще люди чиновные окружали злодея Тушинского: Князя Сицкий и Засекин, Дворяне Нагой, Сунбулов, Плещеев, Дьяк Третьяков и другие. Съехались в поле, у Даниловского монастыря, как братья; мирно рассуждали о чрезвычайных обстоятельствах Государства и вернейших средствах спасения; наконец взаимно дали клятву, Москвитяне оставить Василия, изменники предать им Лжедимитрия, избрать вместе нового Царя и выгнать Ляхов. Сей договор объявили столице брат Ляпунова и Дворянин Хомутов, выехав с сонмом единомышленников на лобное место, где, кроме черни, находилось и множество людей сановных, лучших граждан, гостей и купцев: все громким кликом изъявили радость; все казались уверенными, что новый Царь необходим для России. Но тут не было ни знатного Духовенства, ни Синклита: пошли в Кремль, взяли Патриарха, Бояр; вывели их к Серпуховским воротам, за Москвою-рекою, и в виду неприятельского стана – указывая на разъезды Лжедимитриевой конницы и на Смоленскую дорогу, где всякое облако пыли грозило явлением Гетмана – предложили им избавить Россию от стыда и гибели, избавить Россию от Шуйского; соблюдали умеренность в речах: укоряли Василия только несчастием. Говорили, что «земля Северская и все бывшие слуги Лжедимитриево немедленно возвратятся под сень отечества, как скоро не будет Шуйского, для них ненавистного и страшного; что Государство бессильно только от разделения сил: соединится, усмирится... и враги исчезнут!» Раздался один голос в пользу закона и Царя злосчастного: Ермогенов; с жаром и твердостью Патриарх изъяснял народу, что нет спасения, где нет благословения свыше; что измена Царю есть злодейство, всегда казнимое Богом, и не избавит, а еще глубже погрузит Россию в бездну ужасов. Весьма немногие Бояре, и весьма не твердо, стояли за Шуйского; самые его искренние и ближние уклонились, видя решительную общую волю; сам Патриарх с горестию удалился, чтобы не быть свидетелем дела мятежного, – и сия народная Дума единодушно, единогласно приговорила: «1) бить челом Василию, да оставит Царство и да возьмет себе в удел Нижний-Новгород; 2) уже никогда не возвращать ему престола, но блюсти жизнь его, Царицы, братьев Василиевых; 3) целовать крест всем миром в неизменной верности к Церкви и Государству для истребления их злодеев, Ляхов и Лжедимитрия; 4) всею землею выбрать в Цари, кого Бог даст; а между тем управлять ею Боярам, Князю Мстиславскому с товарищами, коих власть и суд будут священные; 5) в сей Думе Верховной не сидеть Шуйским, ни Князю Дмитрию,

ни Князю Ивану; 6) всем забыть вражду личную, месть и злобу; всем помнить только Бога и Россию». В действии незаконном еще блистал призрак великодушия: щадили Царя свергаемого и хотели умереть за отечество, за честь и независимость.

Послали к Василию, еще Венценовцу, знатного Боярина, его свояка, Князя Ивана Воротынского, с главными крамольниками, Захарию Ляпуновым и другими, объявить ему приговор Думы. Дотоле тихий Кремлевский дворец наполнился людьми и шумом: ибо вслед за Послами стремилось множество дерзких мятежников и любопытных. Василий ожидал их без трепета, вспоминая, может быть, невольно о таком же стремлении шумных сонмов под его собственным предводительством, к сему же дворцу, в день расстригиной гибели!.. Захария Ляпунов, увидев Царя, сказал: «Василий Иоаннович! ты не умел Царствовать: отдай же венец и скипетр». Шуйский отвечив: «как смеешь!»... и вынул нож из-за пояса. Наглый Ляпунов, великан ростом, силы необычайной, грозил ему своею тяжкою рукою... Другие хотели сладкоречием убедить Царя к повиновению воле Божией и народной. Василий отвергнул все предложения, готовый умереть, но Венценовцем, и волю мятежников, испровергающих закон, не признавая народною. Он уступил только насилию, и был, вместе с юною супругою [17 Июля], перевезен из палат Кремлевских в старый дом своей, где ждал участи Борисова семейства, зная, что шаг с престола есть шаг к могиле.

В столице господствовало смятение, и скоро еще умножилось, когда народ свел, что Тушинские изменники обманули Московских. Ляпунов и клеветы его немедленно объявили первым, в новом свидании с ними у монастыря Даниловского, что Шуйский сведен с престола, и что Москва, вследствие договора, ждет от них связанного Лжедмитрия для казни. Тушинцы отвечив: «Хвалим ваше дело. Вы свергнули Царя незаконного: служите же истинному: да здравствует сын Иоаннов! Если вы клятвопреступники, то мы верны в обетах. Умрем за Дмитрия!» Достоинно осмеянные злодеями, Москвитяне изумились. Сим часом думал еще воспользоваться Ермоген: вышел к народу, молил, заклинал снова возвести Василия на Царство; но убеждения доброго Патриарха не внимали: страшились мести Василиевой и тем скорее хотели себя успокоить.

Всеми оставленный, многим ненавистный или противный, не многим жалкий, Царь сидел под стражею в своем Боярском доме, где за четыре года пред тем, в ночном совете знаменитейших Россиян, им собранных и движимых, решилась гибель Отрепьева. Там, в следующее утро, явились Захария Ляпунов, Князь Петр Засекин, несколько сановников с Чудовскими Иноками и Священниками, с толпою людей вооруженных, и велели Шуйскому готовиться к пострижению, еще гнушаясь новым Цареубийством и считая келию надежным преддверием гроба. «Нет! – сказал Василий с твердостью: – никогда не буду Монахом» – и на угрозы отвечив видом презрения; но смотря на многих известных ему Москвитян, с умилением говорил им: «Вы некогда любили меня... и за что возненавидели? за казнь ли Отрепьева и клеветы его? Я хотел добра вам и России; наказывал единственно злодеев – и кого не миловал?» Вопль Ляпунова и других неистовых заглушил речь трогательную. Читали молитвы пострижения, совершали обряд священный и не слышали уже ни единого слова от Василия: он безмолвствовал, и вместо его произносил страшные обеты Монашества Князь Туренин. Постригли и несчастную Царицу, Марию, также безмолвную в обетах, но красноречивую в изъявлении любви к супругу: она рвалась к нему, стонала, называла его своим Государем *милым*, Царем великим народа недостойного, ее супругом законным и в рясе Инока. Их разлучили силою: отвели Василия в монастырь Чудовский, Марию в Ивановский; двух братьев Василиевых заключили в их дома. Никто не противился насилию безбожному, кроме Ермогена: он торжественно молился за Шуйского в храмах, как за помазанника Божия, Царя России, хотя и невольника; торжественно клял бунт и признавал Иноком не Василия, а Князя Туренина, который вместо его связал себя обетами Монашества. Уважение к сану и лицу Первосвященника давало смелость Ермогену, но бесполезную.

Так Москва поступила с Венценовцем, который хотел снискать ее и России любовь подчинением своей воли закону, бережливостию Государственною, беспристрастием в наградах, умеренностию в наказаниях, терпимостию общественной свободы, ревностию к гражданскому образованию – который не изумлялся в самых чрезвычайных бедствиях, оказывал неустрашимость в бунтах, готовность умереть верным достоинству Монаршему, и не был никогда столь знаменит, столь достоин престола, как свергаемый с оного изменою: влекомый в келию толпою злодеев, несчастный Шуйский являлся один истинно великодушным в мятежной столице... Но удивительная судьба его ни в унижении, ни в славе, еще не совершилась!

Доселе властвовала беспрекословно сторона Ляпуновых и Голицына, решительных противников и Шуйского, и Самозванца, и Ляхов: она хотела *своего* Царя – и в сем смысле Дума писала от имени Синклита, людей приказных и воинских, Стольников, Стряпчих, Дворян и Детей Боярских, гостей и купцев, ко всем областным Воеводам и жителям, что Шуйский, *вняв челобитью земли Русской, оставил Государство и мир*, для спасения отечества; что Москва целовала крест не поддаваться ни Сигизмунду, ни злодею Тушинскому; что все Россияне должны восстать, устремиться к столице, сокрушить врагов и выбрать всю землю Самодержца вождя. В сем же смысле ответствовали Бояре и Гетману Жолкевскому, который, узнав в Можайске о Василиевом низвержении, объявил им грамотою, что идет защитить их в бедствиях. «Не требуем твоей защиты, – писали они: – не приближайся, или встретим тебя как неприятеля». Но Дума Боярская, присвоив себе верховную власть, не могла утвердить ее в слабых руках своих, ни утишить всеобщей тревоги, ни обуздать мятежный черни. Самозванец грозил Москве нападением, Гетман к ней приближался, народ вольничал, холопы не слушались господ и многие люди чиновные, страшась быть жертвою безначалия и бунта, уходили из столицы, даже в стан к Лжедмитрию, единственно для безопасности личной. В сих обстоятельствах ужасных сторону Ляпуновых и Голицына превозмогла другая, менее лукавая: ибо ее главою был Князь Федор Мстиславский, известный добродушием и верностию, чуждый властолюбия и козней.

В то время, когда Москва без Царя, без устройства, всего более опасалась злодея Тушинского и собственных злодеев, готовых душегубствовать и грабить в стенах ее, когда отечество смятенное не видало между своими ни одного человека, столь знаменитого родом и делами, чтобы оно могло возложить на него венец единодушно, с любовью и надеждою – когда измены и предательства в глазах народа унизили самых первых Вельмож и два несчастные избрания доказали, сколь трудно бывшему подданному державствовать в России и бороться с завистью: тогда мысль искать Государя вне отечества, как древние Новгородцы искали Князей в земле Варяжской, могла естественно представиться уму и добрых граждан. Мстиславский, одушевленный чистым усердием – вероятно, после тайных совещаний с людьми важнейшими – торжественно объявил Боярам, Духовенству, всем чинам и гражданам, что для спасения Царства должно вручить скипетр... Владиславу. Кто мог сам и не хотел быть Венценосцем, того мнение и голос имели силу; имели оную и домогательства единомышленников Салтыкова, особенно Волуева, и наконец явные выгоды сего избрания. Жолкевский, грозный победитель, делался нам усердным другом, чтобы избавить Москву от злодеев: он писал о том (31 Июля) к Думе Боярской, вместе с Иваном Салтыковым и Волуевым, которые сообщили ей договор Тушинских Послов с Сигизмундом и новейший, заключенный Гетманом в Цареве-Займище для целости Веры и Государства. Надеялись, что Король пленится честью видеть сына Монархом Великой Державы и дозволит ему переменить Закон, или Владислав юный, еще не твердый в догматах Латинства, легко склонится к нашим и вопреки отцу, когда сядет на престол Московский, увидит необходимость единоверия для крепкого союза между Царем и народом, возмужает в обычаях Православия и, будучи уважаем как Венценосец знаменитого державного племени, будет любим как истинный Россиянин духом. Еще благородная гордость страшилась уничижения взять невольно властителя от Ляхов, молить их о спасении России и тем оказать ее постыдную слабость. Еще Духовенство страшилось за Веру, и Патриарх убеждал Бояр не жертвовать Церкви никаким выгодам Государственным: уже не имея средства возратить венец Шуйскому, он предлагал им в Цари или Князя Василия Голицына или юного Михаила, сына Филаретова, внука первой супруги Иоанновой. Духовенство благоприятствовало Голицыну, народ Михаилу, любезному для него памяти Анастасии, добродетелию отца и даже тезоименитством с усопшим Героем России... Так Ермоген бессмертный предвестил ей волю Небес! Но время еще не наступило – и Гетман уже стоял под Москвою, на Сетуни, против Коломенского и Лжедмитрия: ни Голицын, крамольник в Синклите и беглец на поле ратном, ни юноша, питомец келий, едва известный свету, не обещали спасения Москве, извне теснимой двумя неприятелями, внутри волнуемой мятежом; каждый час был дорог – и большинство голосов в Думе, на самом лобном месте, решило: «принять совет Мстиславского!»

Немедленно послали к Гетману спросить, друг ли он Москве или неприятель? «Желаю не крови вашей, а блага России, – отвечал Жолкевский: – предлагаю вам державство Владислава и гибель Самозванца». Дали взаимно аманатов: вступили в переговоры, на Девичьем поле, в шатре, где Бояре, Князь Мстиславский, Василий Голицын и Шереметев, Окольничий Князь Мезецкий и Дьяки Думные Телепнев и Луговской с честью встретили Гетмана, объявляя, что Россия готова признать Владислава Царем, но с условиями, необходимыми для ее достоинства и спокойствия.

Дьяк Телепнев, развернув свиток, прочитал сии условия, столь важные, что Гетман ни в каком случае не мог бы принять их без решительного согласия Королевского: Король же не только медлил дать ему наказ, но и не отвечал ни слова на все его донесения после Клушинского дела, заботясь единственно о взятии Смоленска и с гордостью являя Гетмановы трофеи, знамена и пленников, Шеину непреклонному! Жолкевский, равно смелый и благоразумный, скрыв от Бояр свое затруднение, спокойно рассуждал с ними о каждой статье предлагаемого договора: отвергал и соглашался Королевским именем. Выслушав первое требование, чтобы *Владислав крестился в нашу Веру*, он дал им надежду, но устранил обязательство, говоря: «да будет Королевич Царем, и тогда, внимая гласу совести и пользы Государственной, может добровольно исполнить желание России». Устранил, *до особенного Сигизмундова разрешения*, и другие статьи: «1) Владиславу не сноситься с Папою о Законе; 2) утвердить в России смертную казнь для всякого, кто оставит Греческую Веру для Латинской; 3) не иметь при себе более пятисот Ляхов; 4) соблюсти все титула Царские (следственно Государя Киевского и Ливонского) и жениться на Россиянке»; но все прочее, как согласное с договором Салтыкова и Волуева, было одобрено Жолкевским. хотя и не вдруг: ибо он с умыслом замедлял переговоры, тщетно ожидая вестей от Короля; наконец уже не мог медлить, опасаясь нетерпения Россиян и своих Ляхов, готовых к бунту за невыдачу им жалованья, – и 17 Августа подписал следующие достопамятные условия:

«1) Святейшему Патриарху, всему Духовенству и Синклиту, Дворянам и Дьякам Думным, Стольникам, Дворянам, Стряпчим, Жильцам и городским Дворянам, Головам Стрелецким, Приказным людям, Детям Боярским, гостям и купцам, стрельцам, Козакам, пушкарям и всех чинов Служивым и *Жилецким* людям Московского Государства бить челом Великому Государю Сигизмунду, да пожалует им сына своего, Владислава, в Цари, коего все Россияне единодушно желают, целуя святой крест с обетом служить верно ему и потомству его, как они служили прежним Великим Государям Московским.

2) Королевичу Владиславу венчаться Царским венцом и диадемою от Святейшего Патриарха и Духовенства Греческой церкви, как издревле венчались Самодержцы Российские.

3) Владиславу-Царю блюсти и чтить святыя храмы, иконы и мощи целебные, Патриарха и все Духовенство; не отнимать имения и доходов у церквей и монастырей; в духовные и святительские дела не вступаться.

4) Не быть в России ни Латинским ни других исповеданий костелам и молебным храмам; не склонять никого в Римскую, ни в другие веры, и Жидам не въезжать для торговли в Московское Государство.

5) Не переменять древних обычаев. Бояре и все чиновники, воинские и земские, будут, как и всегда, одни Россияне; а Польским и Литовским людям не иметь ни мест, ни чинов: которые же из них останутся при Государе, тем может он дать денежное жалованье или поместья, не стесняя чести Московских, Боярских и Княжеских родов честию новых выходцев иноземных.

6) Жалованье, поместья и вотчины Россиян неприкосновенны. Если же некоторые наделены сверх достоинства, а другие обижены, то советоваться Государю с Боярами и сделать, что уложат вместе.

7) Основанием *гражданского правосудия быть Судебнику, коего нужное исправление и дополнение зависит от Государя. Думы Боярской и земской.*

8) Уличенных Государственных и гражданских преступников казнить единственно по осуждению Царя с Боярами и людьми Думными; имение же казненных наследуют их невинные жены, дети и родственники. Без сего торжественного суда Боярского никто не лишается ни жизни, ни свободы, ни чести.

9) Кто умрет бездетен, того имение отдавать ближним его или кому он прикажет; а в случае недоумения решить такие дела Государю с Боярами.

10) Доходы Государственные остаются прежние; *а новых налогов не вводить Государю без согласия Бояр*, и с их же согласия дать льготу областям, поместьям и вотчинам разоренным в сии времена смутные.

11) Земледельцам не переходить ни в Литву, *ни в России от господина к господину*, и все крепостным людям быть навсегда такими.

12) Великому Государю Сигизмунду, Польше и Литве утвердить с Великим Государем Владиславом и с Россиею мир и любовь навеки и стоять друг за друга против всех неприятелей.

13) Ни из России в Литву и Польшу, ни из Литвы и Польши в Россию не переводить жителей.

14) Торговле между обоими Государствами быть свободною.

15) Королю уже не приступать к Смоленску и немедленно вывести войско из всех городов Российских; а платеж из Московской казны за убытки и на жалованье рати Литовской и Польской будет уставлен в договоре особенном.

16) Всех пленных освободить без выкупа, все обиды и насилия предать вечному забвению.

17) Гетману отвести Сапегу и других Ляхов от Лжедмитрия, вместе с Боярами взять меры для его истребления, идти к Можайску, как скоро уже не будет сего злодея, и там ждать указа Королевского.

18) Между тем стоять ему с войском у Девичьего монастыря и не пускать никого из своих людей в Москву, для нужных покупок, без дозволения Бояр и без письменного вида.

19) Дочери Воеводы Сендомирского, Марине, ехать в Польшу и не именоваться Государынею Московскою.

20) Отправиться Великим Послам Российским к Государю Сигизмунду и бить челом, да крестится Государь Владислав в Веру Греческую, и да будут приняты все иные условия, оставленные Гетманом на разрешение его Королевского Величества».

Итак Россияне, быв недовольны собственным желанием Царя Василия умерить Самодержавие, в четыре года переменили мысли и хотели еще более ограничить верховную власть, уделяя часть ее не только Боярам, в правосудии и в налогах, но и *Земской Думе* в гражданском законодательстве. Они боялись не Самодержавия вообще (как увидим в истории 1613 года), но Самодержавия в руках иноплеменного, еще иноверного Монарха, избираемого в крайности, невольно и без любви, – и для того предписали ему условия, согласные с выгодами Боярского властолюбия и с видами хитрого Жолкевского, который, любя вольность, не хотел приучить наследника Сигизмундова, будущего Монарха Польского, к беспредельной власти в России.

Утвердив договорную грамоту подписями и печатями – с одной стороны, Жолкевский и все его чиновники, а с другой, Бояре – звали народ к присяге. Среди Девичьего поля, в сени двух шатров великолепных, стояли два алтаря, богато украшенные; вокруг алтарей Духовенство, Патриарх, святители с иконами и крестами за Духовенством Бояре и сановники, в одеждах блестящих серебром и золотом; далее бесчисленное множество людей, ряды конницы и пехоты, с распущенными знаменами, Ляхи и Россияне. Все было тихо и чинно. Гетман с своими Воеводами вступил в шатер, приблизился к алтарю, положил на него руку и дал клятву в верном соблюдении условий, за Короля и Королевича, Республику Польскую и Великое Княжество Литовское, за себя и войско. Тут два Архиерея, обратясь к Боярам и чиновникам, сказали громогласно: «Волею Святейшего Патриарха, Ермогена, призываем вас к исполнению торжественного обряда: целуйте крест, вы, мужи Думные, все чины и народ, в верности к Царю и великому Князю Владиславу Сигизмундовичу, ныне благополучно избранному, да будет Россия, со всеми ее жителями и достоянием, его наследственной державою!» Раздался звук литавр и бубнов, гром пушечный и клик народный: «Многие лета Государю Владиславу! Да Царствует с победою, миром и счастьем!» Тогда началась присяга: Бояре и сановники, Дворянство и купечество, воины и граждане, числом не менее трехсот тысяч, как уверяют, целовали крест с видом усердия и благоговения. Тогда изменники прежние, Иван Салков, Волуев и клеветы их, ревностные участники и главные пособники договора, обнялись с Москвитянами, уже как с братьями в общей измене Василию и в общем подданстве Владиславу!.. Гонцы от Думы Боярской спешили во все города, объявить им нового Царя, конец смутениям и бедствиям; а Гетман великолепным пиром в стане угостил знатнейших Россиян и каждого из них одарил щедро, раздав им всю добычу Клушинской битвы, коней азиатских, богатые чаши, сабли, и не оставив ничего драгоценного ни у себя, ни у своих чиновников, в надежде на сокровища Московские. Первый Вельможа, Князь Мстиславский, отплатил ему таким же роскошным пиром и такими же дарами богатыми.

Одним словом, умный Гетман достиг цели – и Владислав, хотя только Москвою избранный, без ведома других городов, и следственно незаконно, подобно Шуйскому, остался бы, как вероятно, Царем России и переменил бы ее судьбу ослаблением Самодержавия – переменил бы тем, может быть, и судьбу Европы на многие веки, если бы отец его имел ум Жолкевского!

Но еще крест и Евангелие лежали на олтарях Девичьего поля, когда вручили Гетману грамоту Сигизмундову, привезенную Федором Андроновым, Печатником и Думным Дьяком, усердным слугою Ляхов, изменником Государства и Православия: Сигизмунд писал к Гетману, чтобы он занял Москву именем Королевским, а не Владиславовым; о том же писал к нему и с другим, знатнейшим Послом, Госевским. Гетман изумился. Торжественно заключить и бесстыдно нарушить условия; вместо юноши беспорочного и любезного представить России в Венценосцы старого, коварного врага ее, виновника или питателя наших мятежей, известного ревнителя Латинской Веры и братства иезуитского; действовать одною силою с войском малочисленным против целого народа, ожесточенного бедствиями, озлобленного Ляхами, казалось Гетману более, нежели дерзостью – казалось безумием. Он решился исполнить договор, утаить волю Королевскую от Россиян и своих сподвижников, сделать требуемое честию и благом Республики, вопреки Сигизмунду и в надежде склонить его к лучшей Политике.

Согласно с договором, надлежало прежде всего отвлечь Ляхов от Самозванца. Сей злодей думал ослепить Жолкевского разными льстивыми уверениями: клялся Царским словом выдать Королю 300 000 злотых и в течение десяти лет ежегодно платить Республике столько же, а Королевичу 100 000 – завоевать Ливонию для Польши и Швецию для Сигизмунда – не стоять и за Северскую землю, когда будет Царем; но Жолкевский, известив Сапегу, что Россия есть уже Царство Владислава, убеждал его присоединиться к войску Республики, а бродягу упасть к ногам Королевским, обещая ему за такое смирение Гродно или Самбор в удел. Послы Гетмановы нашли Лжедмитрия в Обители Угрешской, где жила Марина: выслушав их предложение, он сказал: «хочу лучше жить в избе крестьянской, нежели милостию Сигизмундовою!» Тут Марина вбежала в горницу; пылая гневом, злословила, поносила Короля и с насмешкою примолвила: «Теперь слушайте *мое* предложение: пусть Сигизмунд уступит Царю Димитрию Краков и возьмет от него, в знак милости, Варшаву!» Ляхи также гордились и не слушали Гетмана, который, видя необходимость употребить силу, вместе с Князем Мстиславским и пятнадцатью тысячами Москвитян, выступил против своих мятежных единоплеменников. Уже начиналось и кровопролитие; но малочисленное и худое войско Лжедмитриево не могло обещать себе победы: Сапега выехал из рядов, снял шапку пред Жолкевским, дал ему руку в знак братства – и чрез несколько часов все умирилось. Ляхи и Россияне оставили Лжедмитрия: первые объявили себя до времени слугами Республики; последние целовали крест Владиславу, и между ими Бояре Князья Туренин и Долгорукий, Воеводы Коломенские; а Самозванец и Марина ночью (26 Августа) усаkali верхом в Калугу, с Атаманом Заруцким, с шайкою Козаков, Татар и Россиян немногих.

Гетман действовал усердно: Бояре усердно и прямодушно. Началось беспрекословно Царствование Владислава в Москве и в других городах: в Коломне, Туле, Рязани, Твери, Владимире, Ярославле и далее. Молились в храмах за Государя нового; все указы писались, все суды производились его именем; спешили изобразить оное на медалях и монетах. Многие радовались искренно, алкая тишины после таких мятежей бурных. Многие – и в их числе Патриарх – скрывали горесть, не ожидая ничего доброго от Ляхов. Всего более торжествовали старые изменники Тушинские, первые имев мысль о Владиславе: Михайло Салтыков, Князь Рубец-Мосальский и Федор Мещерский, Дворяне Кологривов, Василий Юрьев, Молчанов, быв дотоле у Сигизмунда, явились в столице с видом лицемерного умиления, как бы великодушные изгнанники и страдальцы за любовь к отечеству, им возвращаемому милостию Божиею, их невинностию и добродетелию. Они целою толпою пришли в храм Успения и требовали благословения от Ермогена, который, велев удалиться одному Молчанову, мнимому еретику и чародею, сказал другим: «Благословляю вас, если вы действительно хотите добра Государству; но еси вы Ляхи душою, лукавствуете и замышляете гибель Православия, то клянусь вам именем Церкви». Обливаясь слезами, Михайло Салтыков уверял, что Государство и Православие спасены навеки – уверял, может быть, непритворно, желая, чего желала столица вместе с знатною частию России: Владиславово Царствование на заключенных условиях. Сам Гетман не имел иной мысли, ежедневными письмами убеждая Сигизмунда не разрушать дела, счастливо совершенного добрым Гением Республики, а Бояр Московских пленяя изображением златого века России под державою Венценосца юного, любезного, готового внимать их мудрым наставлениям и быть сильным единственно силою закона. Жолкевский не хотел явно властвовать над Думою, довольствуясь единственно внушениями и советами. Так он доказывал ей необходимость изгладить в сердцах память минувшего общим примирением, забыть вину клеветников Самозванца, оставить им чины и дать все выгоды Россиян беспорочных. Бояре не согласились, отвечая:

«возможно ли слугам обманщика равняться с нами?»... и *сделали неблагоразумно*, как мыслил Жолкевский: ибо многие из сих людей, оскорбленные презрением, снова ушли к Самозванцу в Калугу. Но Гетман умел выслать из Москвы двух человек, опасаясь их знаменитости и тайного неудовольствия: Князя Василия Голицына, одобренного Духовенством искателя Державы, и Филарета, коего сыну желали венца народ и лучшие граждане: оба, как устроил Гетман, должны были в качестве великих Послов ехать к Сигизмунду, чтобы вручить ему хартию Владислава избрания, а Владиславу утварь Царскую, требовать их согласия на статьи договора, не решенные Гетманом, и между тем служить Королю аманатами; ответственность своею головою за верность Россиян! Товарищами Филарета и Голицына были Окольничий Князь Мезецкий, Думный Дворянин Сукин, Дьяки Луговский и Сыдавный-Васильев, Архимандрит Новоспасский Евфимий, Келарь Лавры Авраамий, Угрешский Игумен Иона и Вознесенский Протоиерей Кирилл. Отпев молебен с коленопреклонением в соборе Успенском, дав Послам благословение на путь и грамоту к юному Владиславу о величии и Православии России, Ермоген заклинал их не изменять церкви, не пленяться *мирскою лестию* – и ревностный Филарет с жаром произнес обет умереть верным. Сие важное, великолепное Посольство, сопровождаемое множеством людей чиновных и пятьюстами воинских, выехало 11 Сентября из Москвы... а чрез десять дней Ляхи были уже в стенах Кремлевских!

Таким образом случилось первое нарушение договора, по коему надлежало Гетману отступить к Можайску. Употребили лукавство. Опасаясь непостоянства Россиян и желая скорее иметь все в руках своих, Гетман склонил не только Михаила Салтыкова с Тушинскими изменниками, но и Мстиславского, и других Бояр легкоумных, хотя и честных, требовать вступления Ляхов в Москву для усмирения мятежной черни, будто бы готовый призвать Лжедмитрия. Не слушали ни Патриарха, ни Вельмож благоразумнейших, еще ревностных к Государственной независимости. Впустили иноземцев ночью; велели им свернуть знамена, идти безмолвно в тишине пустых улиц, – и жители на рассвете увидели себя как бы пленниками между воинами Королевскими: изумились, негодовали, однако ж успокоились, веря торжественному объявлению Думы, что Ляхи будут у них не господствовать, а служить: хранить жизнь и достояние Владиславовых подданных. Сии мнимые хранители заняли все укрепления, башни, ворота в Кремле, Китае и Белом городе; овладели пушками и снарядами, расположились в палатах Царских и в лучших домах целыми дружинами для безопасности. По крайней мере не дерзали своевольствовать, ни грабить, ни оскорблять жителей; избрали чиновников, для доставления запасов войску, и судей, для разбора всяких жалоб. Гетман властвовал, но только указами Думы; изъявлял снисходительность к народу, честил Бояр и Духовенство. Дворец Кремлевский, где пили и веселились сонмы иноплеменных ратников, уподоблялся шумной гостинице; Кремлевский дом Борисов, занятый Жолкевским, представлял благолепие истинного дворца, ежечасно наполняясь, как в Феодорово время, знатнейшими Россиянами, которые искали там совета в делах отечества и милостей личных: так Гетман именем Царя Владислава дал первому Боярину, Князю Мстиславскому, не хотевшему быть Венценосцем, сан *Конюшего* и *Слуги*. Утратив честь, хвалились тишиною, даром умного Жолкевского! Довольные тем, что он не пустил Сапегу с шайками разбойников в столицу, выдав ему из Царской казны 10000 злотых и склонив его идти на зиму в Северскую землю, Россияне спокойно видели несчастного Василия в руках Ляхов: вопреки намерению Бояр удалить сего невольного Инока в Соловки, Гетман послал его с Литовскими Приставами в Иосифовскую обитель, чтобы иметь в нем залог на всякий случай. Россияне снесли также избрание Ляха Госевского в предводители осьмнадцати тысяч Московских стрельцов, которые со времен расстриги, едва не спасенного ими, уже чувствовали свою силу и могли быть опасны для иноплеменников: Госевский снискал их любовь ласкою, щедростию и пирами. «Упорствовал в зложелательстве к нам, – пишут Ляхи, – только осьмидесятилетний Патриарх, боясь Государя иноверного; но и его, уже хладное, загрубелое сердце смягчалось приветливостию и любезным обхождением Гетмана, в частых с ним беседах всегда хвалившего Греческую Веру, так что и Патриарх казался наконец искренним ему другом». Ермоген был другом единственно отечества, и в глубокой старости еще пылал духом, как увидим скоро! Утвердив спокойствие в Москве, и заняв отрядами все города Смоленской дороги для безопасного сношения с Королем, Гетман ждал нетерпеливо вестей из его стана; ждал согласия души слабой на дело смелое, великое – и решительно уверял Бояр в немедленном прибытии к ним Владислава... Но Судьба, благословенная для России, влекла ее к другому назначению, готовя ей новые искушения и новые имена для бессмертия!

Как несчастный Царь Василий с своими братьями завидовал Князю Михаилу Шуйскому, так Сигизмунд с своими Панами завидовал Гетману, хотя слава обоих великих мужей была славою их отечества и Государя: ослепление страстей, удивительное для разума, и тем не менее обыкновенное в действиях человеческих! Недоброжелатели Гетмановы, Потоцкие и друзья их, говорили Королю: «Не успехи случайные, но правила твердые, внушаемые зрелою мудростию, должны быть нам руководством в деле столь важном. Извлекая меч, ты, Государь, объявил, что думаешь единственно о благе Республики: теперь, имея случай распространить ее владения, можешь ли упустить его только для чести видеть сына на престоле Московском? Отдашь ли пятнадцатилетнего юношу, без советников и блюстителей, в руки людей упоенных духом мятежа и крамолы? Что ответствует за их верность и безопасность сего престола, облитого кровию? Не скажет ли народ твой, ревнитель свободы, что ты пленяешься властью Самодержавною? Если же Царство Российское столь завидно, то, взяв Смоленск, иди в Москву, и собственно рукою, как победитель, возьми ее державу!» Хотя рассудительные Вельможи, Лев Сапега и другие, умоляли Короля немедленно принять договор Гетманов, немедленно отпустить Владислава в Москву, дать ему Жолковского в наставники и легион Поляков в блюстители, обогатить казну Республики казною Царскою, удовлетворить ею всем требованиям войска, – наконец утвердить вечный союз Литвы с Россиею; но Король следовал мнению первых советников: хотел сам быть Царем или завоевателем России – и в сем расположении ждал Послов Московских, Филарета и Голицына, коих личное избрание – то есть, удаление – должно было содействовать видам хитрого Гетмана, но обратилось единственно во славу их великодушной твердости, без пользы для Литвы, без пользы и для России, кроме чести иметь таких мужей Государственных!

Менее других веря Гетману, или Сигизмунду, они еще с дороги известили Думу, что вопреки условиям Ляхи грабят в уездах Осташкова, Ржева и Зубцова; что Сигизмунд велит Дворянам Российским присягать ему и Владиславу вместе, обещая им за то жалованье и земли. 7 Октября Послы увидели Смоленск и стан Королевский, куда их не впустили: указали им место на пустом берегу Днепра, где они расположились в шатрах терпеть ненастье, холод и голод... Те, которые предлагали Царство Владиславу, требовали пищи от Сигизмунда, жалуясь на бедность, следствие долговременных опустошений и мятежей в России; а Вельможи Литовские отвечали: «Король здесь на войне, и сам терпит нужду!» Представленные Сигизмунду (12 Октября), Голицын, Мезецкий и Дьяки, – один за другим, как обыкновенно – торжественными речами изъяснили вину своего Посольства и, сказав, что Шуйский добровольно оставил Царство, именем России били челом о Владиславе. Вместо Короля гордо отвечивший Канцлер Сапега: «Всеблагословенный Бог богов назначил степени для Монархов и подданных. Кто дерзает возноситься выше звания, того он казнит и низвергает: казнил Годунова и низвергнул Шуйского, Венценосцев, рожденных слугами!.. Вы узнаете волю Королевскую». И чрез несколько дней объявили им сию волю!

Как ни важны были статьи договора, устранившиеся Жолковским; хотя Патриарх и Бояре в наказе, данном Послам, велели им неотступно «требовать и *молить слезно*, чтобы Королевич – находившийся тогда в Литве – принял Греческую Веру от Филарета и Смоленского Епископа, ехал в Москву уже Православный и тем отвратил соблазн, нетерпимый и в Польше, где Государи должны быть всегда одной Веры с народом»: но Царствование Владислава зависело единственно от согласия Королевского на статьи, утвержденные Гетманом: ибо Россияне целовали крест первому без всякой оговорки, довольствуясь *надеждою* склонить его к своему Закону уже в Царском сане. Главным делом для Послов было возвратиться в Москву с Владиславом, *дать отца сиротам*, жизнь, душу составу Государственному, полумертвому без Государя... И что же? Вельможи Королевские объявили им в самом начале переговоров, что Владислав малолетний не может устроить Царства смятенного; что Сигизмунд должен прежде утишить оное и занять Смоленск, будто бы преклонный к Лжедмитрию. Послы отвечали: «Королевич молод, но Бог устроит Державу разумом его и счастьем, нашим радением и вашими советами, Вельможи Думные. Смоленск не имеет нужды в воинах иноземных: оказав столько верности во времена самые бедственные, столько доблести в защите против вас, изменит ли чести ныне, чтобы служить бродяге? Ручаемся вам душами за Боярина Шеина и граждан: они искренне, вместе с Россиею, присягнут Владиславу». *Для чего же и не Сигизмунду?* возразили Паны: *Государь суть земные Боги, и воля их священна. Вы оскорбляете Короля своим недоверием) дерзая разделять отца с сыном: Смоленск должен присягнуть им обоим.* Филарет и Голицын изумились. «Мы избрали Владислава, а не Сигизмунда, – сказали они, – и вы, избрав Шведского принца в Короли, не целовали креста родителю его, Иоанну». *Сравнение нелепое*, воскликнули Паны: *Иоанн не*

спасал нашей Республики, как Сигизмунд спасает Россию: ибо, взяв Смоленск, древнюю собственность Литвы, пойдет с войском к Калуге, чтобы истребить Лжедмитрия и тем успокоить Москву, где еще не все жители усердствуют Королевичу, – где много людей зломысленных и мятежных. «Нет надобности Сигизмунду, – говорили Послы, – и для Великого Монарха унижительно идти самому против злодея Калужского: пусть велит только Жолкевскому соединиться с Россиянами, чтобы общими силами истребить его, как уставлено в договоре! Поход Королевский внутрь Государства разоренного еще умножил бы зло. Ты, Лев Сапега, бывал в России; знал ее богатство, многолюдство, цветущие города и селения: ныне осталась единственно тень их, пепелища, обгорелые стены; жители изгнаны, отведены пленниками в Литву, разбежались в иные земли... А кто виною? ваши грабители еще более, нежели самозванцы: да удалятся же навеки, и Россия будет, что была, – по крайней мере в течение времени. Гнусный Лжедмитрий и без вашего содействия исчезнет. Упорнейшие из клеветников Тушинских и целые города, обольщенные именем Димитрия, возвратились под сень отечества, как скоро услышали о новом Царе законном. Вы говорите о Московских мятежниках: их не знаем, видеv собственными глазами, что все, *от мала до велика*, и там и в других городах целовали крест Владиславу с живейшею радостью. Нет, Синклит и народ немедленно казнили бы первого, кто дерзнул бы изменить святому обету верности. Одним словом, исполните только договор, утвержденный клятвою Гетмана от имени Короля и Республики. Дело было кончено, к обоюдному удовольствию: не вымышляйте нового, *чтобы нашедши не потерять и не каяться*. В случае вероломства, какие откроются бедствия! Вы знаете, что Государство Московское обширно: еще не все разрушено, не все пало; есть Новгород Великий, многолюдная земля Поморская и Низовая; есть Царство Казанское, Астраханское и Сибирское! Не снесут обмана и восстанут... Господь да спасет и вас и нас от следствий ужасных!»

Послы велели Дьяку читать Гетмановы условия: Паны не хотели слушать; но вдруг как бы одумались и, ссылаясь на сей договор, требовали миллионов в уплату жалованья Королевскому и даже Сапегину войску. «За то ли, – спросил Голицын, – что Сапега, клеветник низкого злодея, обнажил наши церкви, иконы, гробы Святых и пил кровь Христиан? Да и войско Королевское что сделало и делает в России? губит людей и достояние; какое право на мзду и благодарность? Но когда успокоится держава, тогда Царь Владислав, Патриарх, Бояре и чины Государственные условятся с Сигизмундом о вознаграждении ваших убытков. Договор помним; хотели напомнить его вам, и спрашиваем дает ли Король сына на престол Московский?»... *Жалуется*, сказали наконец Паны (Октября 23). Тут Филарет, Голицын, Мезецкий встали и поклонились до земли, изъявляя радость, славя мудрость Сигизмундову и счастливое Царствование Владислава; а Лев Сапега в ответ на статьи, не решенные Гетманом, объявил Королевским именем: 1) что в *крещении* и женитьбе Владислава *волен Бог и Владислав*, 2) что он не будет сноситься о Вере с папою; 3) что смертная казнь для отметников Греческого исповедания в России утверждается; 4) что о числе Ляхов, коим быть при особе Царя, Послы могут условиться с ним самим; 5) что все иные желания и требования Россиян предложатся Сейму в Варшаве, где, *с его согласия*, Король *даст* им сына в Цари, но *прежде заняв Смоленск, истребив Лжедмитрия и совершенно умирив Россию*... Тут исчезла радость Послов! Паны изыскали им, что если бы Сигизмунд, не сделав ничего, выступил из России, то вольные Ляхи и Козаки, числом не менее восьмидесяти тысяч в ее пределах, соединились бы с Лжедмитрием; что Король хочет Смоленска не для себя, а для Владислава: ибо оставит ему все в наследство, и Литву и Польшу; что Смоленские граждане должны присягнуть Королю единственно из чести! Но Филарет и Голицын, видя намерение Сигизмунда только манить Россию Владиславом и взять ее себе в добычу или раздробить, выразили негодование столь сильно, что гневные Паны уже не хотели говорить с ними, воскликнув: «Конец терпению и Смоленску! На вас будет его пепел и кровь жителей!»

О сем худом успехе Посольства свести в Москве с равною горестию и Бояре благонамеренные и Гетман честолюбивый, который, все еще уверяя их в непременном исполнении своего договора, решился употребить крайнее средство: оставить Москву, только им утишаемую, и лично объясниться с Королем. Сами Россияне удерживали, заклинали его не предавать столицы опасностям безначалия и мятежей. Пожав руку у Князя Мстиславского, он сказал ему: «Еду довершить мое дело и спокойствие России»; а Ляхам: «Я дал слово Боярам, что вы будете вести себя примерно для вашей собственной безопасности; поручаю вам Царство Владислава, честь и славу Республики». Преемникам его, то есть истинным градоначальникам Москвы, надлежало быть Ляху Госевскому, с усердною помощию Михайла Салтыкова и Дьяка Федора Андропова, названного Государственным казначеем. Устроив все для хранения тишины,

Жолкевский сел в колесницу и тихо ехал Москвою, провожаемый Синклитом и толпами жителей. Улицы и кровли домов были наполнены людьми. Везде раздавались громкие клики: желали ему счастливого пути и скорого возвращения! Сие торжество Гетманово ознаменовалось делом бесславнейшим для Боярской Думы: она выдала бывшего Царя своего иноплеменнику! Жолкевский взял с собою двух братьев Василиевых – и народ Московский любопытно смотрел, как их везли в особенных колесницах пред Гетманом! Жене Князя Дмитрия Шуйского дозволили ехать с мужем; а несчастную Царицу удалили в Суздальскую Девичью Обитель. Гетман заехал в Иосифов монастырь, взял там самого Василия и в мирской, Литовской одежде, как узника, повез к Сигизмунду! «О время стыда и бесчувствия! – восклицает современник: – Мы забыли Бога! Какой ответ дадим ему и людям? Что скажем чужим Государствам себе в оправдание, самовольно отдав Царство и Царя в плен иноверным? Не многие злодействовали; но мы видели и терпели, не имев великодушия умереть за добродетель». Так лучшие Россияне скорбели внутренне, и в искреннем негодовании готовились, еще не зная и не думая, к восстанию отчаянному: час приближался!

Гетмана встретили пышно Воеводы Королевские и Сенаторы; говорили ему речи и славили его как Героя. Жолкевский, вместе с трофеями, представил Сигизмунду и своего державного пленника в богатой одежде. Все взоры устремились на Василия, безмолвного и неподвижного. Хотели, чтобы он поклонился Королю: Царь *Московский*, отвечив Василий, *не кланяется Королям. Судьбами Всевышняго я пленник, но взят не вашими руками: выдан вам моими подданными изменниками*. «Его твердость, величие, разум заслужили удивление Ляхов, – говорит Летописец: – и Василий, лишенный венца, сделался честью России». Он еще имел нужду в сей твердости, чтобы великодушно сносить неволю, и тем заплатить последний долг отечеству в удостоверение, что оно могло без стыда именовать его четыре года своим Венценосцем!.. Изъявив Гетману благодарность за мнимую славу иметь такого пленника и за мнимое взятие Москвы, Король не хотел однако ж утвердить его договора. Напрасно Жолкевский доказывал, грозил: доказывал, что воцарением Королевича Московская и Польская держава будут навеки единою к их обоюдному счастью и что никогда первая не признает Сигизмунда Царем; грозил новою, жестокою, необозримою в бедствиях войною. Считая Гетмана пристрастным к своему делу и жадным к личной славе, Сигизмунд не верил ему; твердил, что занятие Смоленска необходимо для блага Республики и для его Королевской чести; наконец велел самому Жолкевскому склонять Послов Московских к уступчивости миролюбивой.

С отчаянием в сердце Гетман должен был исполнить Королевскую волю; но, властвуя над собою, в переговорах с Филаретом и Голицыным казался убежденным в ее справедливости, и требовал от них Смоленска единственно в залог временный, для безопасного сообщения войска Сигизмундова с Литвою. «Вы боялись, – сказал он, – впустить нас и в Москву; а впустив, радовались! Не упорствуйте, или договор, заключенный мною с вами, столь благонамеренный, столь благословенный для обеих держав, уничтожится неминуемо. Король думает, что не взяты Смоленска есть для него бесчестие; возьмет силою, и только из уважения к моему ходатайству медлит: секира лежит у корня!» Не хотели дать времени Послам списаться с Москвою, говоря: «не Москва указывает Королю, а Король Москве»; требовали неукоснительного решения. В сих обстоятельствах Филарет и Князь Голицын советовались с чиновниками и Дворянами Посольскими; желали знать мнение и *Смоленских* Детей Боярских, которые приехали с ними, усердно служив Шуйскому до его низвержения. Все ответствовали: «Не вводить в Смоленск ни единого Ляха. Если Король дерзнет лить кровь, то она будет на нем, вероломном; им, не вами священный договор рушится». Дети Боярские примолвили: «Наши матери и жены в Смоленске: пусть там гибнут; но города верного не отдавайте Ляхам. И знайте, что вы не можете отдать его: защитники Смоленские не послушаются вас как изменников». С твердостью отказав Панам, Филарет и Голицын еще *слезно* заклинали их не испровергать дела Гетманова и быть навеки братьями Россиян; но тщетно! 24 Ноября Ляхи, новым подкопом взорвав Грановитую башню и часть городской стены, с Немцами и Козаками устремились к Смоленской крепости; приступали три раза и были славно отражены Шеиным, в глазах Сигизмунда, Гетмана и наших Послов!.. Еще переговоры длились, хотя и бесполезно. Послы Российские жили в тесном заключении: им не позволяли писать в Смоленск; мешали сношениям их с Москвою и с другими городами, так что они долгое время не имели никаких вестей, никаких предписаний от Думы Боярской, слыша единственно от Панов, что Шведы воюют Россию, и Самозванец усиливается в Калуге, ожидая к себе Крымцев и Турков в сподвижники; что Король Датский готовится взять Архангельск; что

все восстают, все идут на Россию; что она гибнет и может быть спасена только великодушным Сигизмундом.

Россия действительно гибла и могла быть спасена только Богом и собственною добродетелию! Столица, без осады, без приступа взятая иноплемениками, казалась нечувствительно к своему унижению и стыду. Бояре сидели в Думе и писали указы, но слушаясь Госевского, который, уже зная Сигизмундову волю отвергнуть договор Гетманов и предвидя следствия, употреблял все нужные меры для своей безопасности: высылал стрельцов из Москвы, чтобы уменьшить в ней число людей ратных; велел истребить все рогатки на улицах; запретил жителям носить оружие, толпиться на площадях, выходить ночью из домов, и везде усилил стражу. Выгнали Дворян и богатейших купцов из Китая и Белого города за вал деревянного, чтобы в их домах поместить Немцев и Ляхов. Однако ж благоразумные предписания Гетмановы исполнялись строго: не касались ни чести, ни собственности жителей, ни святыни церквей; наглость унимали и наказывали без милосердия. Один Лях выстрелил в икону Богоматери, другой обесчестил девицу: их судили, и первого сожгли, а второго высекли кнутом. Еще тишина Царствовала, и Москвитяне пировали с Ляхами, скрывая взаимное опасение и неприязнь, называясь братьями и *нося камень за пазухою*, как говорит Историк-очевидец. Ляхи не верили терпению Россиян, а Россияне доброму намерению Ляхов, видя их незаконное господство в столице, угодное только немногим знатным крамольникам: Салтыкову, Рубцу-Мосальскому и другим Тушинским злодеям, которые хотя и предлагали иноплеменику условия благовидные для нашей свободы, но вместо Владислава готовы были отдать Россию и Сигизмунду без всяких условий, чтобы под его державою спастись от праведной казни. Сильные мечем Ляхов, они законодательствовали в робкой Думе, утверждая Князя Мстиславского и других Бояр слабых в надежде, что Сигизмунд даст им сына в Цари, невзирая на свою медленность и требования несправедливые. Прошло около двух месяцев. Дума знала, что наши Послы живут у Короля в неволе; знала о приступе Ляхов к Смоленску и все еще ждала Владислава! Долго молчав, Король написал к ней, что он не продаст России в жертву злодею Калужскому и гнусным его сообщникам: должен искоренить их, смирить мятежный Смоленск – и тогда возвратится в Литву, чтобы на Сейме, в присутствии наших Послов, утвердить договор Московский. Между тем Король *от собственного имени* давал указы Думе о вознаграждении Бояр и сановников, к нему усердных: Салтыковых, Мосальского, Хворостинина, Мещерского, Долгорукого, Молчанова, Печатника Грамотина и других, разоренных Шуйским: жаловал чины и места, земли и деньги; одним словом, уже действовал как Властелин России, не имея ни тени права, – и Дума уважала его волю, как будто бы нераздельную с волею Царя малолетнего! И люди знатные ездили из Москвы в стан Королевский, просить милостей, равно незаконных и срамных!.. Уже народ, менее Думы терпеливый, изъявлял досаду, не видя Владислава, и Бояре, опасаясь мятежа, заклинали Сигизмунда удовлетворить сему нетерпению без отлагательства и без Сейма: о Владиславе не было слуха, а Король заботился единственно о взятии Смоленска!

В таком положении могла ли столица с ее мнимым правительством быть главою и душою Государства? Все волновалось в неустойстве, без связи в частях целого, без единства в движениях. Областные жители, присягнув Королевичу, с неудовольствием слышали о господстве Ляхов в столице, с негодованием видели их чиновников, разосланных Гетманом и Госевским для собрания дани на жалованье Королевскому войску. Везде кричали: «Мы присягали Владиславу, а не Гетману и не Госевскому!» Жалобы еще удвоились от неистовства Ляхов, которые вели себя благоразумно в одной Москве: презирая договор, они не только не выходили из наших городов, не только самовольствовали в них и грабили, но и жгли, мучили, убивали Россиян. Где нет защиты от правительства, там нет к нему и повиновения. Новгородцы затворили ворота и долго не хотели впустить Боярина Ивана Салтыкова, известного друга Гетманова, присланного к ним Думою с дружинами стрельцов, чтобы выгнать Шведов из северной России: ибо союзник Делагарди, после несчастной Клушинской битвы отступая к финляндским границам, уже действовал как неприятель; занял Ладогу, осадил Кексгольм и с горсткою воинов мыслил отнять Царство у Владислава, сам собою, без ведома Карлова, тожественно предлагая одного из Шведских Принцев нам в Государи. Дав клятву Новгородцам не вводить к ним ни одного Ляха, Салтыков убедил их, как подданных Владиславовых, содействовать ему в изгнании Шведов и в усмирении мятежников: вытеснил первых из Ладоги, но не мог выгнать из России, – ни смирить Пскова, где еще Царствовало имя Лжедмитрия, и где злодействовал Лисовский, торгуя добычею разбоев и святотатства, пируя с жителями как с братьями и грабя их как неприятель. Великие Луки, занятые его сподвижником, изменником Просовецким, Яма, Иваньгород, Копорье, Орешек

также упорствовали в верности к Самозванцу, от ненависти к Ляхам. Сия ненависть произвела тогда еще новую, разительную измену. Знаменитая именем Царства, Казань, в счастливейшие дни Тушинского злодея быв верною Москве, вдруг пристала к нему, уже почти всеми отверженному и презренному! Ее чернь и граждане, сведав о вступлении Гетмана в столицу, возмутились; объявили, что лучше хотят служить Калужскому *Царику*, нежели зловерной Литве, и целовали крест Лжедмитрию, следуя внушению лазутчиков и слуг его, которые были им тогда посланы в Астрахань и находились в Казани. Воевода, славный любимец Иоаннов, Бельский, уговаривал народ не присягать ни Владиславу, ни Лжедмитрию, а *будущему* Венценосцу Московскому, без имени; стыдил, заклинал – и был жертвою яростной черни, подстрекаемой Дьяком Шульгиным: Бельского схватили, кинули с высокой башни и растерзали – того, кто служил шести Царям, не служа ни отечеству, ни добродетели; лукавствовал, изменял... и погиб в лучший час своей Государственной жизни как страдалец за достоинство народа Российского! Другой Воевода Казанский, Боярин Морозов, и люди чиновные не дерзнули противиться ослепленным гражданам и вместе с ними писали к жителям Северных областей, что Москва сделалась Литвою, а Калуга столицею отечества; что имя Дмитрия должно соединить всех истинных Россиян для восстановления Государства и Церкви. Но Казанцы присягнули уже тени!

Никем не тревожимый в Калуге и до времени нужный Сигизмунду как пугалище для Москвы, Самозванец, имея тысяч пять Козаков, Татар и Россиян, еще грозил и Москве и Сигизмунду, мучил Ляхов, захватываемых его шайками в разъездах, и говорил: «Христиане мне изменили: итак, обращусь к Магометанам; с ними завоюю Россию, или не оставлю в ней камня на камне: доколе я жив, ей не знать покоя». Он думал, как пишут, удалиться в Астрахань, призвать к себе всех Донцов и Ногаев, основать там новую Державу и заключить братский союз с Турками! Между тем веселился, безумствовал и, хваляся дружбою Магометан, то ласкал, то казнил их, на свою гибель. Судьба его решилась незапно. Хан или Царь касимовский Ураз-Магмет во время Лжедмитриева бегства из Тушина не пристал ни к Ляхам, ни к Россиянам, и с новым усердием явился к нему в Калуге: но сын Ханский донес, что отец его мыслит тайно уехать в Москву, – и Лжедмитрий, без всякого исследования, велел палачам своим Михайлу Бутурлину и Михневу умертвить несчастного Ураз-Магмета и кинуть в Оку; а Князя Ногайского Петра Араслана Урусова, хотевшего мстить сыну-клеветнику, посадил в темницу. Чрез несколько дней освобожденный и снова ласкаемый Самозванцем, Араслан уже пылал злобою непримиримою и, выехав с ним на охоту (Декабря 11), в месте уединенном прострелил его насквозь пулею, сказав: «я научу тебя топить Ханов и сажать Мурз в темницу», отсек ему голову и с Ногаями ушел в Тавриду, прославив себя злодейским истреблением злодея, который едва не овладел обширнейшим Царством в мире, к стыду России не имев ничего, кроме подлой души и безумной дерзости.

С вестию о сем убийстве прискакал в Калугу шут Лжедмитриев, Кошелев, быв свидетелем оногo. Сделалось страшное смятение. Ударили в набат. Марина отчаянная, полунагая, ночью с зажженным факелом бегала из улицы в улицу, требуя мести – и к утру не осталось ни единого Татарина живого в Калуге: их всех, хотя и невинных в Араслановом деле, безжалостно умертвили Козаки и граждане. Обезглавленный труп Лжедмитриев с честью предали земле в Соборной церкви, и Марина, в отчаянии не теряя ни ума, ни властолюбия, немедленно объявила себя беременною; немедленно и родила... сына, торжественно крещенного и названного Царевичем Иоанном, к живейшему удовольствию народа. Готовился новый обман; но Россияне чиновные, которые еще находились между последними клеветами Самозванца: Князь Дмитрий Трубецкой, Черкасский, Бутурлин, Микулин и другие, уже не хотели служить ни срамной вдове двух обманщиков, ни ее сыну, действительному или мнимому; целовали крест Государю законному, тому, кто волею Божиею и всенародною утвердился на Московском престоле; дали знать о сем Думе Боярской; овладели Калугою и взяли Марину под стражу.

Россия, казалось, ждала только сего происшествия, чтобы единодушным движением явить себя еще не мертвою для чувств благородных: любви к отечеству и к независимости Государственной. Что может народ в крайности уничижения без Вождей смелых и решительных? Два мужа, избранные Провидением начать великое дело... и быть жертвою оногo, бодрствовали за Россию: один старец ветхий, но адамант Церкви и Государства – Патриарх Ермоген; другой, крепкий мышцею и духом, стремительный на пути закона и беззакония – Ляпунов Рязанский. Первому надлежало увенчать свою добродетель: второму примириться с добродетелию. Ляпунов враждовал, Ермоген усердствовал несчастному Шуйскому: новые бедствия отечества согласили их. Оба, уступив силе, признали Владислава, но с условием – и не безмолвствовали, когда,

нарушая договор, Гетман овладел столицей. Сигизмунд давал указы от своего имени и громил Смоленск, а Ляхи злодействовали в мнимом Владиславовом Царстве. Ляпунов знал все, что делалось в Королевском стане, где находился его брат в числе Дворян с Филаретом и Голицыным. Сей человек дерзкий и лукавый – известный Захария, один из главных виновников Василиева низвержения, в личине изменника пировал с Вельможными Панами, грубо смеялся над Послами, винил их в упрямстве, но обманывал Ляхов: наблюдал, выведывал и тайно сносился с братом, как ревностный противник Владиславова Царствования. Так и некоторые из Послов, светские и духовные, лицемерно изъявляли доброжелательство к Сигизмунду и были милостиво уволены им в Москву, обещая содействовать в ней его видам: Думный Дворянин Сукин, Дьяк Васильев, Архимандрит Евфимий и Келарь Авраамий; но возвратились единственно для того, чтобы огласить в столице и в России вероломство Гетманово или Сигизмундово. Уже Ермоген в искренних беседах с людьми надежными, Ляпунов в переписке с Духовенством и чиновниками областей, убеждал их не терпеть насилия иноплеменников. Убеждения действовали, негодование возрастало – и как скоро услышали Москвитяне о смерти Лжедмитрия, страшилища для их воображения, то, радуясь и славя Бога, вдруг заговорили смело о необходимости соединиться *душами и головами* для изгнания Ляхов. Тщетно Сигизмунд – уже зная, вероятно, о гибели Самозванца и лишась предлога оставаться в России, будто бы для его истребления – писал (от 13 Декабря) к Боярам, что «Владислав скоро будет в Москву, а войско Королевское идет против Калужского злодея»: Россия уже не хотела Владислава! Дума, в своем ответе, благодарила Сигизмунда за милость, требуя однако ж скорости и прибавляя, что Россияне уже не могут терпеть сиротства, *будучи стадом без пастыря или великим зверем без главы*, но Патриарх, удостоверенный в единомыслии добрых граждан, объявил торжественно, что Владиславу не Царствовать, *если не крестится в нашу Веру* и не вышлет всех Ляхов из Державы Московской. Ермоген сказал: столица и Государство повторили. Уже не довольствовались ропотом. Москва, под саблею Ляхов, еще не двигалась, ожидая часа; но в пределах соседственных блеснули мечи и копыя: начали вооружаться. Город сносился с городом; писали и наказывали друг к другу словесно, что пришло время стать за Веру и Государство. Особенное действие имели две грамоты, всюду разосланные из Москвы: одна к ее жителям от *уездных* Смоленян, другая от Москвитян ко всем Россиянам. Смоленяне писали: «Обольщенные Королем, мы ему не противились. Что же видим? гибель душевную и телесную. Святые церкви разорены; ближние наши в могиле или в узах. Хотите ли такой же доли? Вы ждете Владислава и служите Ляхам, угождая извергам, Салтыкову и Андронову; но Польша и Литва не уступят своего будущего Венценосца вам, ославленным изменами. Нет, Король и Сейм, долго думав, решились взять Россию без условий, вывести ее лучших граждан и господствовать в ней над развалинами. Восстаньте, доколе вы еще вместе и не в узах; поднимите и другие области, да спасутся души и Царство! Знаете, что делается в Смоленске: там горсть верных стоит неуклонно под щитом Богоматери и разит сонмы иноплеменников!» Москвитяне писали к братьям во все города: «Не слухом слышим, а глазами видим бедствие неизглаголанное. Заклинаем вас именем Судии живых и мертвых: восстаньте и к нам спешите! Здесь корень Царства, здесь знамя отечества, здесь Богоматерь, изображенная евангелистом Лукою; здесь светильники и хранители Церкви, Митрополиты Петр, Алексей, Иона! Известны виновники ужаса, предатели студные: к счастью, их мало; не многие идут во след Салтыкову и Андронову – а за нас Бог, и все добрые с нами, хотя и не явно до времени: Святейший Патриарх Ермоген, прямой учитель, прямой наставник, и все Христиане истинные! Дадите ли нас в плен и в Латинство?» – Кроме Рязани, Владимир, Суздаль, Нижний, Романов, Ярославль, Кострома, Вологда ополчились усердно, для избавления Москвы от Ляхов, по мысли Ляпунова и благословиению Ермогена.

[1611 г.] Что же сделало так называемое Правительство, Боярская Дума, сведав о сем движении, признаке души и жизни в Государстве истерзанном?.. Донесло Сигизмунду на Ляпунова, как на мятежника, требуя казни его брата и единомышленника, Захарии; велело Послам, Филарету и Голицыну, уважать Сигизмундову волю и ехать в Литву к Владиславу, если так будет угодно Королю; велело Шеину впустить Ляхов в Смоленск; выслало даже войско с Князем Иваном Куракиным для усмирения мнимого бунта в Владимире. Но Филарет и Голицын уже все знали и благоприятствовали великому начинанию Ляпунова; заметили, что грамота Боярская не скреплена Патриархом, и не хотели повиноваться; дали тайно знать и Смоленскому Воеводе, чтобы он не исполнял указа Думы, – и доблестный Шеин отвечал Королевским Панам: «исполните прежде договор Гетманов»; дллил время в сношениях с ними и ждал избавления, готовый и на славную гибель. С другой стороны войско союзных городов близ Владимира

встретило и разбило Куракина. Сим междоусобным кровопролитием рушилась Государственная власть Думы, оттоле признаваемая единственно невольною Москвою. Ляпунов, остановив все доходы казенные и не велев пускать хлеба в столицу, всенародно объявил Вельмож Синклита богоотступниками, *преданными славе мира и враждебному Западу, не Пастырями, а губителями Христианского стада*. Таковы действительно были Салтыков и клеветы его; не таковы Мстиславский и другие, единственно запутанные в их сетях, единственно слабодушные, и с любовью к отечеству без умения избрать для него лучшее в обстоятельствах чрезвычайных: страшась народных мятежей более, нежели Государственного уничтожения, они думали спасти Россию Владиславом, верили Гетману, верили Сигизмунду – не верили только добродетели своего народа и заслужили его презрение, уступив добрую славу трем из мужей Думных, Князьям Андрею Голицыну, Воротынскому и Засекину, которые не таили своего единомыслия с Ергоменом, обличали предательство или заблуждение других Бояр и были отданы под стражу в виде крамольников.

Уже Москвитяне, слыша о ревностном восстании городов, переменились в обхождении с Ляхами: быв долго смиренны, начали оказывать неуступчивость, строптивость, дух враждебный и сварливый, как было пред гибелью расстриги. Кричали на улицах: «Мы по глупости выбрали Ляха в Цари, однако ж не с тем, чтобы идти в неволю к Ляхам; время разделаться с ними!» В грубых насмешках давали им прозвание *хохлов*, а купцы за все требовали с них вдвое. Уже начинались ссоры и драки. Госевский требовал от своих благоразумия, терпения и неусыпности. Они бодрствовали день и ночь, не снимая с себя доспехов, ни седел с коней; ежедневно, три и четыре раза, били тревогу; имели везде лазутчиков; осматривали на заставах возы с дровами, сеном, хлебом и находили в них иногда скрытое оружие. Высылали конные дружины на дороги, перехватили тайное письмо из Москвы к областным жителям и сведали, что они в заговоре с ними и что Патриарх есть глава его; что Москвитяне надеются не оставить ни одного Ляха живого, как скоро увидят войско избавителей под своими стенами. Не взирая на то, Госевский еще не смел употребить средств жестоких, ни обезоружить стрельцов и граждан, ни свергнуть Патриарха; довольствовался угрозами, сказав Ергомену, что святость сана не есть право быть возмутителем. Более наглости оказали злодеи Российские. Михайло Салтыков требовал, чтобы Ергомен не велел ополчаться Ляпунову. «Не велю, – отвечал Патриарх, – если увижу крещенного Владислава в Москве и Ляхов, выходящих из России; велю, если не будет того, и разрешаю всех от данной Королевичу присяги». Салтыков в бешенстве выхватил нож: Ергомен осенил его крестным знамением и сказал громогласно: «Сие знамение против ножа твоего, да взыдет вечная клятва на главу изменника!» И взглянув на печального Мстиславского, примолвил тихо: «твое начало: ты должен первый умереть за Веру и Государство; а если пленишься кознями сатанинскими, то Бог истребит корень твой на земле живых – и сам умрешь какою смертию?» Предсказание исполнилось, говорит Летописец: ибо Мстиславский никак не хотел одобрить народного восстания и писал от имени Синклита грамоту за грамотою к Королю, что обстоятельства ужасны и время дорого; что одна столица еще не изменяет Владиславу, а Держава в безначалии готова разделиться; что Иваньгород и Псков, обольщенные генералом Делагарди, желают иметь Царем Шведского Принца; что Астрахань и Казань, где господствует злочастие Магометово, умышляют предаться Шаху Аббасу; что области Низовье, Степные, Восточные и Северные до пустынь Сибирских возмущены Ляпуновым; но что немедленное прибытие Королевича еще может все исправить, спасти Россию и честь Королевскую. Изменники же, Салтыков и Андронов, звали в Москву не Владислава, а самого Короля с войском, ответственю ему за успех, то есть за порабощение России обманом и насилием.

Но Сигизмунд, вопреки настоянию Бояр и даже многих Польских Сенаторов, вопреки собственному обету, не думал отправить сына в Москву; не думал и сам идти к ней с войском, как предлагали ему наши изменники; сильно, упорно хотел одного: взять Смоленск – и ничего не делал; писал только указы Синклиту уже вместе, от себя и Владислава, именуя его однако ж не Царем, а просто Королевичем; уверял Бояр и всю Россию, что желает ее мира и счастья, умиленный нашими бедствиями, и будучи ревностным заступником Греческого Православия; желает соединить ее с Республикою узами любви и блага общего, под нераздельным державством своего рода; что виною всего зла есть упрямство Шеина и Князя Василия Голицына, не желающих ни Владислава, ни тишины; что до усмирения Смоленска нельзя предпринять ничего решительного для успокоения Государства. Между тем, как бы уже спокойно властвуя над Россиею, Сигизмунд непрестанно извещал Думу о своих милостях: производил Дворян в Стольники и Бояре, раздавал имения, вершил дела старые, предписывал казне платить долги

купцам иноземным еще за Иоанна, в то время когда указы ее были уже ничтожны для России; когда города один за другим восставали на Ляхов; когда и жители Смоленской области стерегли, истребляли их в разъездах, тревожа нападениями и в стане, откуда многие Россияне, дотеле служив Королю, уходили служить отечеству: так Иван Никитич Салтыков, пожалованный в Бояре Сигизмундом, мнимый доброхот его, мнимый противник Ермогена, Филарета и Голицына, с целою дружиною ушел к Ляпунову. Напрасно Госевский ждал вспоможения от Короля: видя необходимость действовать только собственными силами, он выслал шайки Днепровских Козаков и Московского изменника Исая Сунбулова воевать места Рязанские. Ляпунов, имея еще мало рати, выгнал толпы неприятельские из Пронска, но чрез несколько дней был осажден ими в сем городе и спасен Князем Дмитрием Пожарским, уже ревностным его сподвижником: обратив их в бегство, и скоро разбив наголову у Зарайска, добрый Князь Дмитрий избавил вместе и Ляпунова от плена и землю Рязанскую от грабежа; блеснул новым лучом славы и, с чистою душою пристав к великому делу, дал ему новую силу... Козаки бежали в Украину, предвидя несгodu злодейства, а Сунбулов в Москву с худою вестию для изменников и Ляхов, устрашаемых и восстанием областей и ножами Москвитян. Но Госевский хвалился презрением к Россиянам: надеялся управиться с боязливою Москвою, вопреки неблагоразумию Короля соблюсти ее как важное завоевание для Республики и с малым числом удалых воинов победить многолюдную сволочь.

Рать Ляпунова и других областных начальников была действительно странною смесью людей воинских и мирных граждан с бродягами и хищниками, коими в сии бедственные времена кипела Россия, и которые искали единственно добычи под знаменами силы, законной или незаконной: грабив прежде с Ляхами, они шли тогда на Ляхов, чтобы также грабить, и более мешать, нежели способствовать добру. Так Атаман Просовецкий, быв клеветом и став неприятелем Лисовского, имев даже близ Пскова кровопролитную с ним битву как разбойник с разбойником, вдруг явился в Суздаль как честный слуга России, привел к Ляпунову тысяч шесть Козаков и сделался одним из главных Воевод народного ополчения! Всех звали в союз, чтобы только умножить число людей. Приняли Князя Дмитрия Трубецкого, Атамана Заруцкого и всю остальную дружину Тушинскую; ибо сии долго упорные мятежники вдруг воспламенились усердием к Государственной чести, отвергнули указ Московских Бояр, не дав клятвы в верности к Владиславу, и выгнали из Калуги Посла их Князя Никиту Трубецкого. Звали и бесстыдного Сапегу, который, не хотев удалиться в Северскую землю, писал из Перемышля к Калужанам, что он служит не Королю, не Королевичу, а вольности, – не слушает Бояр, убеждающих его идти на Ляпунова, и готов стоять за независимость России. Чего надлежало ждать и в святом предприятии от такого несчастного состава? не единства, а раздора и беспорядка. Но кто верил таинственной силе добра, мог чаять успеха благословенного, видя, сколь многие, и сколь ревностно шли умирать за отечество сирое, кинув дома и семейства. Раздор и беспорядок должныствовали уступить великодушию!

Около трех месяцев готовились – и наконец (в Марте) выступили к Москве: Ляпунов из Рязани, Князь Дмитрий Трубецкой из Калуги, Заруцкий из Тулы, Князь Литвинов-Мосальский и Артемий Измайлов из Владимира, Просовецкий из Суздаля, Князь Федор Волконский из Костромы, Иван Волынский из Ярославля, Князь Козловский из Романова, с Дворянами, Детьми Боярскими, стрельцами, гражданами, земледельцами, Татарами и Козаками; были на пути встречаемы жителями с хлебом и солью, иконами и крестами, с усердными кликами и пальбою; шли бодро, но тихо – и сия, вероятно невольная, неминуемая по обстоятельствам медленность имела для Москвы ужасное следствие.

В то время, когда ее граждане с нетерпением ждали избавителей, Бояре, исполняя волю Госевского, в последний раз заклинали Ермогена удалить бурю, спасти Россию от междоусобия и Москву от крайнего бедствия: писать к Ляпунову и сподвижникам его, чтобы они шли назад и распустили войско. *Ты дал им оружие в руки*, говорил Салтыков: *ты можешь и смирить их*. «Все смирится, – отвечствовал Патриарх, – когда ты, изменник, с своею Литвою исчезнешь; но в Царственном граде видя ваше злое господство, в святых храмах Кремлевских оглашаясь Латинским пением (ибо Ляхи в доме Годунова устроили себе божницу), благословляю достойных Вождей Христианских утолить печаль отечества и Церкви». Дерзнули наконец приставить воинскую стражу к непреклонному иерарху; не пускали к нему ни мирян, ни Духовенства; обходились с ним то жестоко и бесчинно, то с уважением, опасаясь народа. В неделю Ваий велели или дозволили Ермогену священнодействовать и взяли меры для обуздания жителей, которые в сей день обыкновенно стекались из всех частей города и ближних селений в

Китай и Кремль, быть зрителями великолепного обряда церковного. Ляхи и Немцы, пехота и всадники, заняли Красную площадь с обнаженными саблями, пушками и горящими фитилями. Но улицы были пусты! Патриарх ехал между уединенными рядами иноверных воинов; узду его осляти держал, вместо Царя, Князь Гундуков, за коим шло несколько Бояр и сановников, унылых, мрачных видом. Граждане не выходили из домов, воображая, что Ляхи умышляют незапное кровопролитие и будут стрелять в толпы народа безоружного. День прошел мирно; также и следующий. Госевский, имея только 7 000 воинов против двух или трех сот тысяч жителей, не хотел кровопролития: ни Москвитяне. Первый, слыша, что Ляпунов и Заруцкий уже недалеко, мыслил идти к ним навстречу и разбить их отдельно; а Москвитяне, готовые к восстанию, откладывали его до появления избавителей. Но взаимная злоба вспыхнула, не дав ни Госевскому выступить из Москвы, ни Воеводам Российским спасти ее. Кто начал? Неизвестно; но вероятнее, Ляхи, с досадою терпев насмешки, грубости жителей, и думая, что лучше управиться с ними заблаговременно, нежели поставить себя между их тайно острыми ножами и войском городов союзных, — наконец удовлетворяя своему алчному корыстолюбию разграблением богатой столицы. Так началось и свершилось ее бедствие ужасное:

19 Марта, во Вторник Страстной Недели, в час Обедни, услышали в Китае-городе тревогу, вопль и стук оружия. Госевский прискакал из Кремля: увидел кровопролитие между Ляхами и Россиянами, хотел остановить, не мог, и дал волю первым, которые действовали наступательно, резали купцев и грабили лавки; вломились в дом к Боярину верному, Князю Андрею Голицыну, и бесчеловечно умертвили его. Жители Китая искали спасения в Белом городе и за Москвою-рекою: конные Ляхи гнали, топтали, рубили их; но в Тверских воротах были удержаны стрельцами. Еще сильнейшая битва закипела на Сretenке: там явился витязь знаменитый, отряженный ли вперед Ляпуновым или собственною ревностью приведенный одушевить Москву: Князь Дмитрий Пожарский. Он кликнул доблех, устроил дружины, снял пушки с башен и встретил Ляхов ядрами и пулями, отбил и втоптал в Китай. Иван Бутурлин в Яузских воротах и Колтовский за Москвою-рекою также стали против них с воинами и народом. Бились еще в улицах Тверской, Никитской и Чертольской, на Арбате и Знаменке. Госевский подкреплял своих; но число Россиян несравненно более умножалось: при звуке набата старые и малые, вооруженные дрекольем и топорами, бежали в пыл сечи; из окон и с кровель разили неприятеля камнями и чурками, дровами: стреляли из-за них и двигали сие укрепление вперед, где Ляхи отступали. Уже Москвитяне везде имели верх, когда приспел из Кремля с Немцами Капитан Маржерет, верный слуга Годунова и расстриги, изгнанный Шуйским и принятый Гетманом в Королевскую службу: торгуя верностию и жизнью, сей честный наемник ободрил Ляхов неустрашимостию и, некогда лив кровь свою за Россиян, жадно облился их кровию. Битва снова сделалась упорною; многолюдство однако ж преодолевало, и Москвитяне теснили неприятеля к Кремлю, его последней ограде и надежде. Тут, в час решительный, услышали голос: «огня! огня!» и первый вспыхнул в Белом городе дом Михайла Салтыкова, зажженный собственною рукою хозяина: гнусный изменник уже не мог иметь жилища в столице отечества, им преданного иноплеменнику! Зажгли и в других местах: сильный ветер раздувал пламя в лицо Москвитянам, с густым дымом, несносным жаром, в улицах тесных. Многие кинулись тушить, спасать дома; битва ослабела, и ночь прекратила ее, к счастью изнуренного неприятеля, который удержался в Китае-городе, опираясь на Кремль. Там все затихло; но другие части Москвы представляли шумное смятение. Белый город пылал; набат гремел без умолку; жители с воплем гасили огонь, или бегали, искали, кликали жен и детей, забытых в часы жаркого боя. После такого дня, и предвидя такой же, никто не думал успокоиться.

Ляхи в пустых домах Китая-города, среди трупов, отдыхали; а в Кремле, при свете зарева, бодрствовали и рассуждали вожди их, что делать? Там еще находилось мнимое правительство Российское с знатнейшими сановниками, воинскими и гражданскими: ужасаясь мысли желать победы иноплеменникам, дымящимся кровию Москвитян, но малодушно боясь и мести своего народа, или не веря успеху восстания, Мстиславский и другие легкоумные Вельможи, упорные в верности к Владиславу, были в изумлении и бездействии; тем ревностнее действовали изменники ожесточенные: прервав навеки связь с отечеством, заслужив его ненависть и клятву церковную, пылая адскою злобою и жаждою губительства, они сидели в сей ночной Думе Ляхов и советовали им разрушить Москву для их спасения. Госевский принял совет — и в следующее утро 2000 Немцев с отрядом конным вышли из Кремля и Китая в Белый город и к Москве-реке, зажгли в разных местах дома, церкви, монастыри и гнали народ из улицы в улицу не столько оружием, сколько пламенем. В сей самый час прискакали к стенам уже пылающего деревянного

города от Ляпунова Воевода Иван Плещеев, из Можайска Королевский Полковник Струс, каждый для вспоможения своим, оба с легкими дружинами, равными в силах, не в мужестве. Ляхи напали: Россияне обратили тыл – и вождь первых, кликнув: «за мною, храбрые!» сквозь пыл и треск деревянных падающих стен вринулся в город, где жители, осыпаемые искрами и головнями, задыхаясь от жара и дыма, уже не хотели сражаться за пепелище: бежали во все стороны, на конях и пешие, не с богатством, а только с семействами. Несколько сот тысяч людей вдруг рассыпалось по дорогам к Лавре, Владимиру, Коломне, Туле; шли и без дорог, вязли в снегу, еще глубоко; цепенели от сильного, холодного ветра; смотрели на горящую Москву и вопили, думая, что с нею исчезает и Россия! Некоторые засели в крепкой Симоновской обители ждать избавителей. Но оставленная народом и войском в жертву огню и Ляхам, Москва еще имела ратоборца: Князь Дмитрий Пожарский еще стоял твердо в облаках дыма, между Сретенкою и Мясницкою, в укреплении, им сделанном: бился с Ляхами и долго не давал им жечь за каменною городскою стеною; не берег себя от пуль и мечей, изнемог от ран и пал на землю. Верные ему до конца немногие сподвижники взяли и спасли будущего спасителя России: отвезли в Лавру... До самой ночи уже беспрепятственно губив огнем столицу, Ляхи с гордостью победителей возвратились в Китай и Кремль, любоваться зрелищем, ими произведенным; бурным пламенным морем, которое, разливаясь вокруг их, *обещало* им *безопасность*, как они думали, не заботясь о дальнейших, вековых следствиях такого дела и презирая месть Россиян!

Москва пустая горела двое суток. Где угасал огонь, там Ляхи, выезжая из Китая, снова зажигали, в Белом городе, в Деревянном и в предместьях. Наконец везде утухло пламя, ибо все сделалось пеплом, среди коего возвышались только черные стены, церкви и погребка каменные. Сия громада золы, в окружности на двадцать верст или более, курилась еще несколько дней, так что Ляхи в Китае и Кремле, дыша смрадом, жили как в тумане – но ликовали; грабили казну Царскую: взяли всю утварь наших древних Венценосцев, их короны, жезлы, сосуды, одежды богатые, чтобы послать к Сигизмунду или употребить вместо денег на жалованье войску; сносили добычу, найденную в гостином дворе, в жилищах купцов и людей знатных; сдирали с икон оклады; делили на равные части золото, серебро, жемчуг, камни и ткани драгоценные, с презрением кидая медь, олово, холсты, сукна; рядились в бархаты и штофы; пили из бочек венгерское и мальвазию. Изобиловали всем роскошным, не имея только нужного: хлеба! Бражничали, играли в зернь и в карты, распутствовали и пьяные резали друг друга!.. А Россияне, их клеветы гнусные или невольники малодушные, праздновали в Кремле Светлое Воскресение и молились за Царя Владислава, с иерархом достойным такой паствы: Игнатием, угодником расстригиным, коего вывели из Чудовской обители, где он пять лет жил опальным Иноком, и снова назвали Патриархом, свергнув и заключив Ермогена на Кирилловском подворье. Сей муж бессмертный, один среди врагов неистовых и Россиян презрительных – между памятниками нашей славы, в ограде, священной для веков могилами Дмитрия Донского, Иоанна III, Михаила Шуйского – в темной келии сиял добродетелию как лучезарное светило отечества, готовое угаснуть, но уже воспламенив в нем жизнь и ревность к великому делу!

Глава V. Междоцарствие. Г. 1611–1612

Следствия сожжения Москвы. Поляки осажжены. Твердость Ермогена. Избрание главных Военачальников. Действия Сапеги. Приступ к Китаю-городу. Послы Московские отправлены в Литву. Взятие Смоленска. Шуйские в Варшаве. Умысел Заруцкого и Марины. Уставная грамота. Виды Ляпунова. Дела с Шведами. Новгород взят Генералом Делагарди. Договор Шведов с Новымгородом. Мятеж в войске Генерала Делагарди. Убиение Ляпунова. Последствия. Состояние России.

Весть о бедствии Москвы, распространив ужас, дала новую силу народному движению. Ревностные Иноки Лавры, едва услышав, что делается в столице, послали к ней всех ратных людей монастырских, написали умиленные грамоты к областным Воеводам и заклинали их угасить ее дымящийся пепел кровию изменников и Ляхов. Воеводы уже не медлили и шли вперед, на каждом шагу встречая толпы бегущих Москвитян, которые, с воплем о мести, примыкали к войску, поручая жен и детей своих великодушию народа. 25 Марта Ляхи увидели на Владимирской дороге легкий отряд Россиян, Козаков Атамана Просовецкого; напали – и

возвратились, хвалясь победою. В следующий день пришел Ляпунов от Коломны, Заруцкий от Тулы; соединились с другими Воеводами близ обители Угрешской и 28 Марта двинулись к пепелищу Московскому. Неприятель, встретив их за Яузскими воротами, скоро отступил к Китаю и Кремлю, где Россияне, числом не менее ста тысяч, но без устройства и взаимной доверенности, осадили шесть или семь тысяч храбрецов иноземных, исполненных к ним презрения. Ляпунов стал на берегах Яузы, Князь Дмитрий Трубецкий с Атаманом Заруцким против Воронцовского поля, Ярославское и Костромское ополчение у ворот Покровских, Измайлов у Сретенских, Князь Литвинов-Мосальский у Тверских, внутри обожженных стен Белого города. Тут прибыл к войску Келарь Авраамий с Святою водою от Лавры, оживить сердца ревностью, укрепить мужеством. Тут, на завоеванных кучах пепла водрузив знамена, воины и Воеводы с торжественными обрядами дали клятву не чтить ни Владислава Царем, ни Бояр Московских Правителями, служить Церкви и Государству до избрания Государя нового, не крамольствовать ни делом, ни словом, – блюсти закон, тишину и братство, ненавидеть единственно врагов отечества, злодеев, изменников, и сражаться с ними усердно.

Битвы начались. Делая вылазки, осажденные дивились несметности Россиян и еще более умным распоряжениям их Вождей – то есть Ляпунова, который в битве 6 Апреля стяжал имя *львообразного* Стратига: его звучным голосом и примером одушевляемые Россияне кидались пешие на всадников, резались человек с человеком, и втеснив неприятеля в крепость, ночью заняли берег Москвы-реки и Неглинной. Ляхи тщетно хотели выгнать их оттуда; нападали конные и пешие, имели выгоды и невыгоды в ежедневных схватках, но видели уменьшение только своих: во многолюдстве осаждающих урон был незаметен. Россияне надеялись на время: Ляхи страшились времени скудные людьми и хлебом. Госевский желал прекратить бесполезные вылазки, но сражался иногда невольно, для спасения кормовщиков высылаемых им тайно, ночью, в окрестные деревни; сражался и для того, чтобы иметь пленников для размена. Известив Короля о сожжении Москвы и приступе Россиян к ее пепелищу, он требовал скорого вспоможения, ободрял товарищей, советовался с гнусным Салтыковым – и еще испытал силу души Ермогеновой. К старцу ветхому, изнуренному добровольным постом и тесным заключением, приходили наши изменники и сам Госевский с увещаниями и с угрозами: хотели, чтобы он велел Ляпунову и сподвижникам его удалиться. Ответ Ермогенов был тот же: «Пусть удалятся Ляхи!» Грозил ему злою смертью: старец указывал им на небо, говоря: «боюсь Единого, там живущего!» Невидимый для добрых Россиян, великий иерарх сообщался с ними молитвою; слышал звук битв за свободу отечества, и тайно, из глубины сердца, пылающего неугасимым огнем добродетели, слал благословение верным подвижникам!

К несчастью, между сими подвижниками господствовало несогласие: Воеводы не слушались друг друга, и ратные действия без общей цели, единства и связи, не могли иметь и важного успеха. Решились торжественно избрать начальника; но, вместо одного, выбрали трех: верные Ляпунова, чиновные мятежники Тушинские Князя Дмитрия Трубецкого, грабители-козаки Атамана Заруцкого, чтобы таким зловещим выбором утвердить мнимый союз Россиян добрых с изменниками и разбойниками, коих находилось множество в войске. Трубецкий, сверх знатности, имел по крайней мере ум стратига и некоторые еще благородные свойства, усердствуя оказать себя достойным высокого сана: Заруцкий же, вместе с ним выслужив Боярство в Тушине, имел одну смелую предприимчивость для удовлетворения своим гнусным страстям, не зная ничего святого, ни Бога, ни отечества. Сии ратные Триумвиры сделались и государственными: ибо войско представляло Россию. Они писали указы в города, требуя запасов и денег еще более, нежели людей: города повиновались, *многолетствовали в церквах благоверным Князьям и Боярам*) а в своих донесениях *били челом Синклиту Великому Российского Государства* и давали, что могли. Казань, стыдясь своего заблуждения, снова присоединилась к отечеству, целовала крест *быть в любви, в единодушии со всею землею* и выслала дружины к Москве: области Низовые и Поморские также. Пришли и Смоленские уездные Дворяне и Дети Боярские, бежав от Сигизмунда. Ляхи гнались за ними и многих из них умертвили, как изменников: остальные тем ревностней желали участвовать в народном подвиге Россиян. Пришел и Сапега с своими шайками и занял Поклонную гору, объявляя себя другом России. Ему не верили; предложения его выслушали, но отвергнули. Атаман разбойников, осыпанный пеплом наших городов, утучненный нашею кровию, хотел, как пишут, венца Мономахова: вероятнее, что он хотел миллионов, предлагая свои услуги. Не обольстив Россиян, Сапега ударил на часть их стана против Лужников; отбитый, напал с другой стороны, близ Тверских ворот: не мог одолеть многолюдства, и, по совету Госевского, взял от него 1500 Ляхов в сподвижники и Князя

Григория Ромодановского в путеводители, удалился к Переславлю, чтобы грабить внутри России и тревожить осаждающих. Вслед за ним Ляпунов отрядил несколько легких дружин: Сапега разбил их в Александровской Слободе, осадил Переславль, жег, злодействовал, где хотел – и Россияне Московского стана, видя за собою дым пылающих селений, вдруг услышали, в Китае и Кремле, необыкновенный шум, громкие восклицания, звон колоколов, стрельбу из пушек и ружей: ждали вылазки, но узнали, что Ляхи только веселились и праздновали счастливую весть о скором прибытии к ним Гетмана с сильным войском – весть еще несправедливую, которая однако ж решила Ляпунова и товарищей его не медлить. Они изготовились в тишине, и за час до рассвета (22 Мая) приступив к Китаю-городу, взяли одну башню, где находилось 400 Ляхов. Место было важно: Россияне могли оттуда громить пушками внутренность Китая. Госевский избрал смелых и велел им, чего бы то ни стоило, вырвать сию башню из рук неприятеля: с обнаженными саблями, под картечью, Ляхи шли к ней узкою стеною, человек за человеком; кинулись на пушки, рубили, выгнали Россиян и мужественно отбили все их новые приступы. В других местах Ляпунов, везде первый, и Трубецкий имели более успеха: очистили весь Белый город, взяли укрепления на Козьем болоте, башни Никитскую, Алексеевскую, ворота Тресвятские, Чертольские, Арбатские, везде после жаркого кровопролития. Через пять дней сдался им и Девичий монастырь с двумя ротами Ляхов и пятьюстами Немцев. В то же время Россияне сделали укрепления за Москвою-рекою, стреляли из них в Кремль и препятствовали сношению осажденных с Сигизмундом, от коего Госевский, стесненный, изнуряемый, с малым числом людей и без хлеба, ждал избавления.

Но Король все еще думал только о Смоленске. Донесение Госевского о сожжении Москвы и наступательном действии многочисленного Российского войска, полученное Сигизмундом вместе с трофеями (или с частию разграбленной Ляхами утвари и казны Царской), не переменяло его мыслей. Паны в новой беседе с Филаретом и Голицыным (8 Апреля), жалея о несчастии столицы, следствии *ее мятежного духа*, спрашивали их мнения о лучшем способе *изгладить зло*. С слезами отвечивал Митрополит: «Уже не знаем! Вы легко могли предупредить сие зло; исправить едва ли можете». Послы соглашались однако ж писать к Ермагену, Боярам и войску об унятии кровопролития, *если* Сигизмунд обяжется немедленно выступить из России: чего он никак не хотел, упорно требуя Смоленска, и в гневе велел им наконец готовиться к ссылке в Литву. «Ни ссылки, ни Литвы не боимся, – сказал умный Дьяк Луговской: – но делами насилия достигнете ли желаемого?» Угроза совершилась: вопреки всему священному для Государей и народов, взяли Послов... еще мало: ограбили их как в темном лесу или в вертепе разбойников; отдали воинам, повезли в ладиях к Киеву; бесчестили, срамили мужей, винимых только в добродетели, в ревности ко благу отечества и к исполнению государственных условий!.. Один из Ляхов еще стыдился за Короля, Республику и самого себя: Жолкевский. Сигизмунд предлагал ему главное начальство в Москве и в России. «Поздно!» – отвечивал Гетман и с негодованием удалился в свои маетности, мимо коих везли Филарета и Голицына: он прислал к ним, в знак уважения и ласки, спросить о здоровье. Знаменитые страдальцы написали к Жолкевскому: «Вспомни крестное целование: вспомни душу! В чем клялся ты Московскому Государству? и что делается? Есть Бог и вечное правосудие!»

Не страшась сего правосудия, Король в письмах к Боярам Московским хвалился своею милостию к России, благодарил за их верность и непричастие к бунту Ермагена и Ляпунова, обещал скорое усмирение всех мятежей, а Госевскому скорое избавление, позволяя ему употреблять на жалованье войску не только сокровища Царские, но и все имение богатых Москвитян – и возобновил приступы к Смоленску, снова неудачные. Шеин, воины его и граждане оказывали более, нежели храбрость: истинное геройство, безбоязненность неизменную, хладнокровную, нечувствительность к ужасу и страданию, решительность терпеть до конца, умереть, а не сдаться. Уже двадцать месяцев продолжалась осада: запасы, силы, все истощилось, кроме великодушия; все сносили, безмолвно, не жалуясь, в тишине и повиновении, львы для врагов, агнцы для начальников. Осталась едва пятая доля защитников, не столько от ядер, пуль и сабель неприятельских, сколько от трудов и болезней; смертоносная цинга, произведенная недостатком в соли и в уксусе, довершила бедствие – но еще сражались! Еще Ляхи имели нужду в злодейской измене, чтобы овладеть городом: беглец Смоленский Андрей Дедишин указал им слабое место крепости: новую стену, деланную в осень наскоро и непрочно. Сию стену беспрестанною пальбою обрушили – и в полночь (3 Июня) Ляхи вломились в крепость, тут и в других местах, оставленных малочисленными Россиянами для защиты пролома. Бились долго в развалинах, на стенах, в улицах, при звуке всех колоколов и святом пении в церквах, где жены и

старцы молились. Ляхи, везде одолевая, стремились к главному храму Богоматери, где заперлись многие из граждан и купцов с их семействами, богатством и пороховою казною. Уже не было спасения: Россияне зажгли порох и взлетели на воздух с детьми, имением – и славою! От страшного взрыва, грома и треска неприятель оцепенел, забыв на время свою победу и с равным ужасом видя весь город в огне, в который жители бросали все, что имели драгоценного, и сами с женами бросались, чтобы оставить неприятелю только пепел, а любезному отечеству пример добродетели. На улицах и площадях лежали груды тел сожженных. Смоленск явился новым Сагунтом, и не Польша, но Россия могла торжествовать сей день, великий в ее летописях.

Еще один воин стоял на высокой башне с мечем окровавленным и противился Ляхам: доблестный Шеин. Он хотел смерти; но пред ним плакали жена, юная дочь, сын малолетний: тронутый их слезами, Шеин объявил, что сдастся Вождю Ляхов – и сдался Потоцкому. Верить ли Летописцу, что сего Героя оковали цепями в стане Королевском и пытали, доведываясь о казне Смоленской, будто бы им сокрытой? Король взял к себе его сына; жену и дочь отдал Льву Сапеге; самого Шеина послал в Литву узником. – Пленниками были еще Архиепископ Сергей, Воевода Князь Горчаков и 300 или 400 детей Боярских. Во время осады изгибло в городе, как уверяют, не менее семидесяти тысяч людей; она дорого стоила и Ляхам: едва третья доля Королевской рати осталась в живых, огнем лишенная добычи, а с нею и ревности к дальнейшим подвигам, так что слушая торжественное благодарение Сигизмундово, за ее великое дело, и новые щедрые обеты его, воины смеялись, столько раз мнимые наградами и столько раз обманутые. Но Сигизмунд восхищался своим блестящим успехом; дал Потоцкому грамоту на староство Каменецкое, три дни угощал сподвижников, велел изобразить на медалях завоевание Смоленска и с гордостью известил о том Бояр Московских, которые ответствовали, что сетуя о гибели единокровных братьев, радуются его победе над непослушными и славят Бога!.. Торжество еще разительнейшее ожидало Сигизмунда, но уже не в России.

Историки Польские, строго осуждая его неблагоразумие в сем случае, пишут, что если бы он, взяв Смоленск, немедленно устремился к Москве, то войско осаждающих, видя с одной стороны наступление Короля, с другой смелого витязя Сапегу, а пред собою неодолимого Госевского, рассеялось бы в ужасе как стадо овец; что Король вошел бы победителем в Москву, с Думою Боярскою умирил бы Государство, или дав ему Владислава, или присоединив оное к Республике, и возвратился бы в Варшаву завоевателем не одного Смоленска, но целой державы Российской. Заключение едва ли справедливое: ибо тысяч пять усталых воинов, с Королем мало уважаемым Ляхами и ненавидимым Россиянами, не сделали бы, вероятно, более того, что сделал после новый его Военачальник, как увидим: не пременило бы судьбы, назначенной Провидением для России!

Сей Военачальник, Гетман Литовский, Ходкевич, знаменитый опытностью и мужеством, дотоле действовав с успехом против Шведов, был вызван из Ливонии, чтобы идти с войском к Москве, вместо Сигизмунда, который нетерпеливо желал успокоиться на Лаврах и немедленно уехал в Варшаву, где сенат и народ с веселием приветствовали в нем Героя. Но блестящее торжество для него и Республики совершилось в день достопамятный, когда Жолкевский явился в столице с своим державным пленником, несчастным Шуйским. Сие зрелище, данное тщеславию тщеславию, надмевало Ляхов от Монарха до последнего Шляхтича и было, как они думали, несомнительным знаком их уже решенного первенства над нами, концом долговременного борения между двумя великими народами Славянскими. Утром (19 Октября), при несметном стечении любопытных, Гетман ехал Краковским предместьем ко дворцу с дружиною благородных всадников, с Вельможами Коронными и Литовскими, в шестидесяти каретах; за ними, в открытой богатой колеснице, на шести белых аргамаках, Василий, в парчовой одежде и в черной лисьей шапке, с двумя братьями, Князьями Шуйскими, и с капитаном гвардии; далее Шеин, Архиепископ Сергей и другие Смоленские пленники в особенных каретах. Король ждал их во дворце, сидя на троне, окруженный сенаторами и чиновниками, в глубокой тишине. Гетман ввел Царя-невольника и представил Сигизмунду. Лицо Василия изображало печаль, без стыда и робости: он держал шапку в руке и легким наклонением головы приветствовал Сигизмунда. Все взоры были устремлены на сверженного Монарха с живейшим любопытством и наслаждением: мысль о превратностях Рока и жалость к злосчастию не мешала восторгу Ляхов. Продолжалось молчание: Василий также внимательно смотрел на лица Вельмож Польских, как бы искал знакомых между ими, и нашел: отца Маринина, им спасенного от ужасной смерти, и в сию минуту счастливого его бедствием!.. Наконец Гетман прервал безмолвие высокопарною речью, не весьма искреннею и скромною: «дивился в ней разительным переменам в судьбе государств и

счастью Сигизмунда; хвалил его мужество и твердость в обстоятельствах трудных; славил завоевание Смоленска и Москвы; указывал на Царя, преемника великих Самодержцев, еще недавно ужасных для Республики и всех Государей соседственных, *даже* Султана и *почти* целого мира; указывал и на Дмитрия Шуйского, предводителя *ста осмидесяти тысяч* воинов *храбрых*, исчислял *Царства*, Княжения, области, народы и богатство, коими владели сии пленники, всего лишенные умом Сигизмундовым, взятые, повергаемые к ногам Королевским... Тут (*пишут Ляхи*) Василий, кланяясь Сигизмунду, опустил правую руку до земли и приложил себе к устам: Дмитрий Шуйский ударил челом в землю, а Князь Иван три раза, и заливаясь слезами. Гетман поручал их Сигизмундову великодушию; доказывал Историю, что и самые знаменитейшие Венценосцы не могут назваться счастливыми до конца своей жизни, и ходатайствовал за несчастных».

Великодушие Сигизмунда состояло в обуздании мстительных друзей Воеводы Сендомирского, которые пылали нетерпением сказать торжественно Василию, что «он не Царь, а злодей и недостойн милосердия, изменив Димитрию, упоив стогны Московские кровию благородных Ляхов, обесчестив Послов Королевских, венчанную Марину, ее Вельможного отца, и в бедствии, в неволе дерзая быть *гордым, упрямым*, как бы в посмеяние над судьбою»: упрек достохвальный для Царя злополучного и несогласный с известием о мнимом уничтожении его пред Королем! – Насытив глаза и сердце зрелищем лестным для народного самолюбия, послали Василия в Гостинский замок, близ Варшавы, где он чрез несколько месяцев (12 Сентября 1612) кончил жизнь бедственную, но не бесславную; где умерли и его братья, менее твердые в уничтожении и в неволе. Чтобы увековечить свое торжество, Сигизмунд воздвигнул мраморный памятник над могилою Василия и Князя Дмитрия в Варшаве, в предместьи Краковском, в новой часовне у церкви Креста Господня, с следующею надписью: «Во славу Царя Царей, одержав победу в Клушине, заняв Москву, возвратив Смоленск Республике, пленив Великого Князя Московского, Василия, с братом его, Князем Дмитрием, главным Воеводою Российским, Король Сигизмунд, по их смерти, велел здесь честно схоронить тела их, не забывая общей судьбы человеческой, и в доказательство, что во дни его Царствования не лишались погребения и враги, Венценосцы беззаконные!» – Во времена лучшие для России, в государственство Михаила, Польша должна была отдать ей кости Шуйских; во времена еще славнейшие, в государственство Петра Великого, отдала сему ревностному заступнику Августа II и другой памятник нашей незгоды: картину взятия Смоленска и Василиева позора в неволе, писанную искусным художником Долабеллоу. Рукою могущества стерты знамения слабости!

Еще имея некоторый стыд, Король не явил Филарета, Голицына и Мезецкого в виде пленников в Варшаве: их, вместе с Шеиным, томили в неволе девять лет, славных особенно для Филаретовой добродетели: ибо не только Литовские единоверцы наши, но и Вельможи Польские, дивясь его твердости, разуму, великодушию, оказывали искреннее к нему уважение. Он дожил, к счастью, до свободы; дожил и знаменитый Шеин, к несчастью своему и к горести России!..

Между тем, невзирая на падение Смоленска, на торжество Сигизмундово и важные приготовления Гетмана Ходкевича, Воеводы Московского стана имели бы время и способ одолеть упорную защиту Госевского, если бы они действовали с единодушною ревностью; но с Ляпуновым и Трубецким сидел в совете, начальствовал в битвах, делил власть государственную и воинскую... злодей, коего умысел гнусный уже не был тайною. Атаман Заруцкий, сильный числом и дерзостью своих Козаков-разбойников, алчный, ненасытный в любостязании, пользуясь смутными обстоятельствами, не только хватал все, что мог, целые города и волости себе в добычу – не только давал Козакам опустошать селения, жить грабежом, как бы в земле неприятельской, и плавал с ними в изобилии, когда другие воины едва не умирали с голоду в стане: но мыслил схватить и Царство! Марина была в руках его: тщетно писав из Калуги жалобные грамоты к Сапеге, чтобы он спас ее честь и жизнь от свирепых Россиян, сия бесстыдная кинулась в объятия Козака, с условием, чтобы Заруцкий возвел на престол Лжедмитриева сына-младенца и, в качестве правителя, властвовал *с нею*! Что нелепое и безумное могло казаться тогда несбыточным в России? Лицемерно пристав к Трубецкому и Ляпунову – взяв под надзор Марину, переведенную в Коломну – имея дружелюбные сношения и с Госевским, обманывая Россиян и Ляхов, Заруцкий умножал свои шайки прелестью добычи, искал единомышленников, в пользу лжецаревича Иоанна, между людьми чиновными, и находил, но еще не довольно для успеха вероятного. Ков огласился – и Ляпунов предпринял, один, без

слабого Трубецкого, если не вдруг обличить злодея в Атамане многолюдных шаек, то обуздать его беззакония, которые давали ему силу.

Ляпунов сделал, что все Дворяне, дети Боярские, люди служивые написали челобитную к Триумвирам о собрании Думы земской, требуя уставов для благоустройства и казни для преступников. К досаде Заруцкого и даже Трубецкого, сия Дума составила из выборных войска, чтобы действовать именем отечества и чинов государственных, хотя и без знатного Духовенства, без мужей синклита. Она утвердила власть Триумвиров, но предписала им правила; уставила: «1) Взять поместья у людей сильных, которые завладели ими в мятежные времена без земского приговора, раздать скудным детям Боярским или употребить доходы оных на содержание войска; взять также все данное именем Владислава или Сигизмунда, *сверх старых окладов*, Боярам и Дворянам, оставшимся в Москве с Литвою; взять поместья у всех худых Россиян, не желающих в годину чрезвычайных опасностей ехать на службу отечества или самовольно уезжающих из Московского стана; взять в казну все доходы питейные и таможенные, незаконно присвоенные себе некоторыми *Воеводами* (вероятно Заруцким). 2) Снова учредить ведомство поместное, казенное и дворцовое для сборов хлебных и денежных. 3) Уравнять, землями и жалованьем, всех сановников *без разбора, где кто служил*, в Москве ли, в *Тушине* или в *Калуге*, смотря по их достоинству и чину. 4) Не касаться имения добрых Россиян, убитых или плененных Литвою, но отдать его их семействам или соблюсти до возвращения пленников; не касаться также имения церквей, монастырей и Патриаршего; не касаться ничего, данного Царем Василием в награду *сподвижникам Князя Михаила Скопина-Шуйского* и другим воинам за верную службу. 5) Назначить жалованье и доходы сановникам и Детям Боярским, коих поместья заняты или опустошены Литвою, и которые стоят ныне *со всею землею* против изменников и врагов. 6) Для посылок в города употреблять единственно Дворян раненых и неспособных к бою, а всем здоровым возвратиться к знаменам. 7) Кто ныне умрет за отечество или будет изувечен в битвах, тех имена да внесутся в Разрядные книги, вместе с неложным описанием всех дел знаменитых, на память векам. 8) Атаманам и Козакам строго запретить всякие разъезды и насилия; а *для кормов* посылать только Дворян *добрых* с детьми Боярскими. Кто же из людей воинских дерзнет грабить в селениях и на дорогах, тех казнить без милосердия: для чего восстановится старый Московский *приказ, разбойный* или земский. 9) Управлять войском и землею трем избранным Властителям, но *не казнить никого смертию и не ссылать без торжественного земского приговора*, без суда и вины законной; кто же убьет человека самовольно, того лишить жизни, как злодея. 10) А если избранные Властители не будут радеть вседушно о благе земли и следовать уставленным здесь правилам или Воеводы не будут слушаться их беспрекословно: то мы вольны *всею землею* переменить Властителей и Воевод, и выбрать иных, способных к бою и делу земскому».

Сию важную, уставную грамоту, ознаменованную духом умеренности, любви к общему государственному благу и снисхождения к несчастным обстоятельствам времени, подписали Триумвиры (Ляпунов вместо Заруцкого, вероятно безграмотного), три Дьяка, Окольничий Артемий Измайлов, Князь Иван Голицын, Вельяминов, Иван Шереметев и множество людей бесчиновных от имени *двадцати пяти* городов и войска. Дали и старались исполнить закон; восстановили хотя тень Правительства, бездушного в Самодержавии без Самодержца. Но Ляпунов уже занимался и главным делом: вопросом, где искать *лучшего* Царя для одушевления России? Уже переменив мысли, он думал, подобно Мстиславскому и другим, что сей *лучший* Царь должен быть иноземец державного племени, без связей наследственных и личных, родственников и клеветов, врагов и завистников между подданными. Недоставало времени обозреть все Державы Христианские, искать далеко, сноситься долго: ближайшее казалось и выгоднейшим, обещая нам, вместо вражды, мир и союз. Ляхи нас обманули: мы еще могли испытать Шведов, менее противных Российскому народу. Ненависть к Ляхам кипела во всех сердцах: ненависть к Шведам была только историческим воспоминанием Новгородским – и даже Новгород, как уверяют, мыслил в случае крайности поддаться скорее Шведам, нежели Сигизмунду. Что предлагал Делагарди сам собою, того уже ревностно хотел Карл IX: дать нам сына в Цари; уполномочил Вождя своего для всех важных договоров с Россиею и писал к ее чинам государственным, что Сигизмунд, будучи орудием Иезуитов или Папы, желает властвовать над нею единственно для искоренения Греческой Веры; что Король Испанский в заговоре с ними и намерен занять Архангельск или гавань Св. Николая; но что Россия в тесном союзе с Швециею может презирать и Ляхов и Папу и Короля Испанского. Россия видела Шведов в Клушине! Могла однако ж извинять их неверность неверностью своих, и помнила, что они с

незабвенным Князем Михаилом освободили Москву. Ляпунов решился вступить в переговоры с Генералом Делагарди.

Желая утвердить вечную дружбу с нами, Шведы в сие время продолжали бессовестную войну свою в древних областях Новгородских и, тщетно хотев взять Орешек, взяли наконец Кексгольм, где из трех тысяч Россиян, истребленных битвами и цингою, оставалось только сто человек, вышедших свободно, с именем и знаменами: ибо неприятель еще страшился их отчаяния, сведав, что они готовы взорвать крепость и взлететь с нею на воздух! Дикие скалы Корельские прославились великодушием защитников, достойных сравнения с Героями Лавры и Смоленска! К сожалению, Новгородцы не имели такого духа и, хваляся ненавистию к одному врагу, к Ляхам, как бы беспечно видели завоевания другого: уже Делагарди стоял на берегах Волхова! Боярин Иван Салтыков, начальствуя в Новгороде, внутренне благоприятствовал, может быть, Сигизмунду: по крайней мере действовал усердно против Шведов; но его уже не было. Сведав, что он намерен идти с войском к Москве, Новгородцы встревожились; не верили сыну злодея и ревнителю Владиславова царствования, опасаясь в нем готового сподвижника Ляхов; призвали Салтыкова из Ладожского стана, удостоверили крестным обетом в личной безопасности – и посадили на кол, возбужденные к делу столь гнусному злым Дьяком Самсоновым! Издыхая в муках, злосчастный клялся в своей невинности; говорил: «не знаю отца, знаю только отечество, и буду везде резаться с Ляхами»... Жертва беззакония человеческого и правосудия Небесного: ибо сей юный, умный Боярин в день Клушинской битвы усерднее других изменников способствовал торжеству Ляхов и сраму Россиян!.. На место Салтыкова Ляпунов прислал Воеводу Бутурлина, а вслед за ним и Князя Троекурова, Думного Дворянина Собакина, Дьяка Васильева, чтобы немедленно условиться во всем с Генералом Делагарди, который с пятью тысячами воинов находился уже близ Хутынской обители. Переговоры начались в его стане. «Судьба России, – сказал ему Бутурлин, – не терпит Венценосца отечественного: два бедственные избрания доказали, что подданному нельзя быть у нас Царем благословенным». Ляпунов хотел мира, союза с Шведами и принца их, юного Филиппа, в Государи; а Делагарди прежде всего хотел денег и крепостей в залог нашей искренности: требовал Орешка, Ладоги, Ямы, Копорья, Иванягорода, Гдова. «Лучше умереть на своей земле, нежели искать спасения такими уступками», – ответствовали Российские сановники и заключили только перемирие, чтобы списаться с Ляпуновым. Наученный обманом Сигизмунда, сей Властитель не думал делиться Россиею с Шведами; соглашался однако ж впустить их в Невскую крепость и выдать им несколько тысяч рублей из казны Новгородской, если они поспешат к Москве, чтобы вместе с верными Россиянами очистить ее престол от тени Владиславовой – для Филиппа. Все зависело от Делагарди, как прежде от Сигизмунда, – и Делагарди сделал то же, что Сигизмунд: предпочел город Державе!.. Если бы он неукоснительно присоединился к нашему войску под столицю, чтобы усилить Ляпунова, разделить с ним славу успеха, истребить Госевского и Сапегу, отразить Ходкевича, восстановить Россию: то венец Мономахов, исторгнутый из рук Литовских, возвратился бы, вероятно, потомству Варяжскому, и брат Густава Адольфа или сам Адольф, в освобожденной Москве законно избранный, законно утвержденный на престоле Великою Думою земскою, включил бы Россию в систему Держав, которые, чрез несколько лет, Вестфальским миром основали равновесие Европы до времен новейших!

Но Делагарди, снискав личную приязнь Бутурлина, бывшего Гетманова пленника и ревностного ненавистника Ляхов, вздумал, по тайному совету сего легкомысленного Воеводы, как пишут – захватить древнюю столицу Рюрикову, чтобы возвратить ее Московскому Царю-Шведу или удержать как важное приобретение для Швеции. Срок перемирия минул, и Делагарди, жалуясь, что Новгородцы не дают ему денег, изъявляют расположение неприятельское, укрепляются, жгут деревянные здания близ вала, ставят пушки на стенах и башнях, приблизился к Колмову монастырю, устроил войско для нападения, тайно высматривал места и дружелюбно угощал Послов Ляпунова. Бутурлин с ним не разлучался, празднуя в его стане. Другие Воеводы также беспечно пили в Новгороде; не берегли ни стен, ни башен; жители ссорились с людьми ратными; купцы возили товары к Шведам. Ночью с 15 на 16 Июля Делагарди, объявив своим чиновникам, что *враждебный* Новгород, *великий* именем, славный богатством, не страшный силами, должен быть их легкою добычею и важным залогом, с помощью одного слуги изменника, Ивана Швала, незапно вломился в западную часть города, в Чудинцовские ворота. Все спали: обыватели и стража. Шведы резали безоружных. Скоро раздался вопль из конца в конец, но не для битвы: кидались от ужаса в реку, спасались в крепость, бежали в поле и в леса; а Бутурлин Московскою дорогою с Детями Боярскими и

стрельцами, имев однако ж время выграбить лавки и дома знатнейших купцов. Сражалась только горсть людей под начальством Головы Стрелецкого, Василия Гаютина, Атамана Шарова, Дьяков Голенишева и Орлова; не хотела сдаться и легла на месте. Еще один дом на Торговой стороне казался неодолимою твердынею: Шведы приступали и не могли взять его. Там мужествовал Протоиерей Софийского храма, Аммос, с своими друзьями, в глазах Митрополита Исидора, который на стенах крепости пел молебны и, видя такую доблесть, издали давал ему благословение крестом и рукою, сняв с него какую-то эпитимию церковную. Шведы сожгли наконец и дом и хозяина, последнего славного Новгородца в истории! Уже не находя сопротивления, они искали добычи; но пламя объяло вдруг несколько улиц, и Воевода Боярин Князь Никита Одоевский, будучи в крепости с Митрополитом, немногими Детьми Боярскими и народом малодушным, предложил Генералу Делагарди мирные условия. Заключили, 17 Июля, следующий договор, от имени Карла IX и Новгорода, *с ведома Бояр и народа Московского*, утверждая всякую статью крестным целованием за себя и *потомство*:

1) Быть вечному миру между обеими Державами, на основании *Теузинского* договора. Мы, Новгородцы, отвергнув Короля Сигизмунда и наследников его, Литву и Ляхов вероломных, признаем своим защитником и покровителем Короля Шведского с тем, чтобы России и Швеции вместе противиться сему врагу общему и не мириться одной без другой.

2) Да будет Царем и великим Князем Владимирским и Московским сын Короля Шведского, Густав Адольф или Филипп. Новгород целует ему крест в верности, и до его прибытия обязывается слушать Военачальника Иакова Делагарди во всем, что касается до чести упомянутого сына Королевского и до государственного, общего блага; вместе с ним, Иаковом, утвердить в верности к Королевичу все города своего Княжества, оборонять их и не жалеть для того самой жизни. Мы, Исидор Митрополит, Воевода Князь Одоевский и все иные сановники, клянемся ему, Иакову, быть искренними в совете и ревностными на деле; немедленно сообщать все, что узнаем из Москвы и других мест России; без его ведома не замышлять ничего важного, особенно вредного для Шведов, но предостерегать и хранить их во всех случаях; также объявить добросовестно все приходы казенные, наличные деньги и запасы, чтобы удовольствовать войско, снабдить крепости всем нужным для их безопасности и тем успешнее смирить непослушных Королевичу и Великому Новгороду.

3) Взаимно и мы, Иаков Делагарди и все Шведские сановники, клянемся, что *если* Княжество Новгородское и Государство Московское признают Короля Шведского и наследников его своими покровителями, заключив союз, против Ляхов, на вышеозначенных условиях: то Король даст им сына своего, Густава или Филиппа, в Цари, как скоро они единодушно, торжественным Посольством, изъявят его величеству свое желание; а я, Делагарди, именем моего Государя обещаю Новгороду и России, что их древняя Греческая Вера и богослужение останутся свободны и невредимы, храмы и монастыри целы, Духовенство в чести и в уважении, имение святительское и церковное неприкосновенно.

4) Области Новгородского Княжества и другие, которые захотят также иметь Государя моего покровителем, а сына его Царем, не будут присоединены к Швеции, но останутся Российскими, исключая Кексгольм с уездом; а что Россия должна за наем Шведского войска, о том Король, дав ей сына в Цари и смирив все мятежи ее, с Боярами и народом сделает расчет и постановление особенное.

5) Без ведома и согласия Российского Правительства не вывозить в Швецию ни денег, ни воинских снарядов и не сманивать Россиян в Шведскую землю, но жить им спокойно на своих древних правах, как было от времени Рюрика до Феодора Иоанновича.

6) В судах, вместе с Российскими сановниками должно заседать такое же число и Шведских для наблюдений общей справедливости. Преступников, Шведов и Россиян, наказывать строго; не укрывать ни тех, ни других, и в силу Теузинского договора, выдавать обидчиков истцам.

7) Бояре, чиновники, Дворянство и люди воинские сохраняют отчины, жалованье, поместья и права свои; могут заслужить и новые, усердием и верностью.

8) Будут награждаемы и достойные Шведы, за их службу в России, имением, жалованьем, землями, но единственно с согласия Вельмож Российских, и не касаясь собственности церковной, монастырской и частной.

9) Утверждается свобода торговли между обеими Державами.

10) Козакам Дерптским, Ямским и другим из Шведских владений открыть путь в Россию и назад, как было уставлено до Борисова Царствования.

11) Крепостные люди, или холопы, как издревле ведется, принадлежат господам, и не могут искать вольности.

12) Пленники, Российские и Шведские, освобождаются.

13) Сии условия тверды и ненарушимы как для Новгорода, так и для всей Московской Державы, если она признает Государя Шведского покровителем, а Королевича Густава или Филиппа Царем. О всем дальнейшем, что будет нужно, Король условится с Россиею по воцарении его сына.

14) Между тем, ожидая новых повелений от Государя моего, я, Делагарди, введу в Новгород столько воинов, сколько нужно для его безопасности; остальную же рать употреблю или для смирения непослушных, или для защиты верных областных жителей; а Княжеством Новгородским, с помощью Божиею, Митрополита Исидора, Воеводы Князя Одоевского и товарищей его, буду править радетельно и добросовестно, охраняя граждан и строгостию удерживая воинов от всякого насилия.

15) Жители обязаны Шведскому войску давать жалованье и припасы, чтобы оно тем ревностнее содействовало общему благу.

16) Боярам и ратным людям не дозволяется, без моего ведома, ни выезжать, ни вывозить своего имения из города.

17) Сии взаимные условия ненарушимы для Новгорода, и в таком случае, если бы, сверх чаяния, Государство Московское не приняло оных: в удостоверение чего мы, Воевода Иаков Делагарди, Полковники и Сотники Шведской рати, даем клятву, утвержденную нашими печатями и рукоприкладством.

18) И мы, Исидор Митрополит с Духовенством, Бояре, чиновники, купцы и всякого звания люди Новгородские, также клянемся в верном исполнении договора нашему покровителю, Его Величеству Карлу IX и сыну его, будущему Государю нашему, хотя бы, сверх чаяния, Московское Царство и не приняло сего договора.

О Вере избираемого не сказано ни слова: Делагарди без сомнения успокоил Новгородцев, как Жолкевский Москвитян, единственно надеждою, что Королевич исполнит их желание и будет сыном нашей Церкви. В крайности обстоятельств молчала и ревность к Православию! Думали только спастись от государственной гибели, хотя и с соблазном, хотя и с опасностью для Веры.

Шведы, вступив в крепость, нашли в ней множество пушек, но мало воинских и съестных припасов и только 500 рублей в казне, так что Делагарди, мыслив обогатиться несметными богатствами Новгородскими, должен был требовать денег от Короля: ибо войско его нетерпеливо хотело жалованья, волновалось, бунтовало, и целые дружины с распущенными знаменами бежали в Финляндию.

К счастью Шведов, Новгородцы оставались зрителями их мятежа, и дали Генералу Делагарди время усмирить его, верно исполняя договор, утвержденный и присягою всех Дворян, всех людей ратных, которые ушли с Бутурлиным, но возвратились из Бронниц. Сам же Бутурлин, если не изменник, то безумец, жив несколько дней в Бронницах, чтобы дожидаться там своих пожитков из Новгорода, им злодейски ограбленного, спешил в стан Московский, вместе с Делагардиевым чиновником, Георгом Бромме, известить наших Воевод, что Шведы, взяв Новгород как неприятели, готовы как друзья стоять за Россию против Ляхов.

Но стан Московский представлялся уже не Россиею вооруженною, а мятежным скопищем людей буйных, между коими честь и добродетель в слезах и в отчаянии укрывались! – Один Россиянин был душою всего и пал, казалось, на гроб отечества. Врагам иноплеменным ненавистный, еще ненавистнейший изменникам и злодеям Российским, тот, на кого Атаман разбойников, в личине Государственного Властителя, изверг Заруцкий, скрежетал зубами – Ляпунов действовал под ножами. Уважаемый, но мало любимый за свою гордость, он не имел, по крайней мере, смирения Михаилава; знал цену себе и другим; снисходил редко, презирал явно; жил в избе, как во дворце недоступном, и самые знатные чиновники, самые раболепные уставали в ожидании его выхода, как бы царского. Хищники, им унимаемые, пылали злобою и замышляли убийство в надежде угодить многим личным неприятелям сего величавого мужа. Первое покушение обратилось ему в славу; 20 Козаков, кинутых Воеводою Плещеевым в реку за разбой близ Угрешской Обители, были спасены их товарищами и приведены в стан Московский. Сделался мятеж: грабители, вступаясь за грабителей, требовали головы Ляпунова. Видя остервенение злых и холодность добрых, он в порыве негодования сел на коня и выехал на Рязанскую дорогу, чтобы удалиться от недостойных сподвижников. Козаки догнали его у Симонова монастыря, но не

дерзнули тронуть: напротив того убеждали остаться с ними. Он ночевал в Никитском укреплении, где в следующий день явилось все войско: кричало, требовало, слезно молило именем России, чтобы ее главный поборник не жертвовал ею своему гневу. Ляпунов смягчился, или одумался: занял прежнее место в стане и в совете, одолев врагов, или только углубив ненависть к себе в их сердце. Мятеж утих; возник гнусный ков, с участием и внешнего неприятеля. Имея тайную связь с Атаманом-Триумвиром, Госевский из Кремля подал ему руку на гибель человека, для обоих страшного: вместе умыслили и написали именем Ляпунова указ к городским Воеводам о немедленном истреблении всех Козаков в один день и час. Сию подложную, будто бы отнятую у гонца бумагу представил товарищам Атаман Заварзин: рука и печать казались несомнительными. Звали Ляпунова на сход: он медлил; наконец уверенный в безопасности двумя чиновниками, Толстым и Потемкиным, явился среди шумного сборища Козаков; выслушал обвинения; увидел грамоту и печать; сказал: «писано не мною, а врагами России»; свидетельствовался Богом; говорил с твердостью; смыкал уста и буйных; не усовестил единственно злодеев: его убили, и только один Россиянин, личный неприятель Ляпунова, Иван Ржевский, стал между им и ножами: ибо любил отечество; не хотел пережить такого убийства и великодушно приял смерть от извергов: жертва единственная, но драгоценная, в честь Герою своего времени, главе восстания, животворцу государственному, коего великая тень, уже примиренная с законом, является лучезарно в преданиях истории, а тело, искаженное злодеями, осталось, может быть, без Христианского погребения и служило пищею врагам, в упрек современникам неблагодарным, или малодушным, и к жалости потомства!

Следствия были ужасны. Не умев защитить мужа силы, достойного Стратига и Властителя, войско пришло в неописанное смятение; надежда, доверенность, мужество, устройство исчезли. Злодейство и Заруцкий торжествовали; грабительства и смертоубийства возобновились, не только в селах, но и в стане, где неистовые Козаки, расхитив имение Ляпунова и других, умертвили многих Дворян и Детей Боярских. Многие воины бежали из полков, думая о жизни более, нежели о чести, и везде распространили отчаяние; лучшие, благороднейшие искали смерти в битвах с Ляхами... В сие время явился Сапега от Переславля, а Госевский сделал вылазку: напали дружно, и снова взяли все от Алексеевской башни до Тверских ворот, весь Белый город и все укрепления за Москвою-рекою. Россияне везде противились слабо, уступив малочисленному неприятелю и монастырь Девичий. Сапега вошел в Кремль с победою и запасами. Хотя Россия еще видела знамена свои на пепле столицы, но чего могла ждать от войска, коего срамными главами оставались Тушинский Лжебоярин и злодей, сообщник Марины, вместе с изменниками, Атаманом Просовецким и другими, не воинами, а разбойниками и губителями?

И что была тогда Россия? Вся полуденная беззащитною жертвою грабителей Ногайских и Крымских: пепелищем кровавым, пустынею; вся юго-западная, от Десны до Оки, в руках Ляхов, которые, по убиении Лжедмитрия в Калуге, взяли, разорили верные ему города: Орел, Болхов, Белев, Карачев, Алексин и другие; Астрахань, гнездо мелких самозванцев, как бы отделилась от России и думала существовать в виде особенного Царства, не слушаясь ни Думы Боярской, ни Воевод Московского стана; Шведы, схватив Новгород, убеждениями и силою присвоивали себе наши северо-западные владения, где господствовало безначалие, – где явился еще новый, третий или четвертый Лжедмитрий, достойный предшественников, чтобы прибавить новый стыд к стыду Россиян современных и новыми гнусностями обременить историю, – и где еще держался Лисовский с своими злодейскими шайками. Высланный наконец жителями из Пскова и не впущенный в крепкий Иваньгород, он взял Вороночь, Красный, Заволочье; нападал на малочисленные отряды Шведов; грабил, где и кого мог. Тихвин, Ладога сдались Генералу Делагарди на условиях Новгородских; Орешек не сдавался...

Векордия (VEcordia) представляет собой электронный литературный дневник Валдиса Эгле, в котором он цитировал также множество текстов других авторов. Векордия основана 30 июля 2006 года и первоначально состояла из линейно пронумерованных томов, каждый объемом приблизительно 250 страниц в формате A4, но позже главной формой существования издания стали «извлечения». «Извлечение Векордии» – это файл, в котором повторяется текст одного или нескольких участков Векордии без линейной нумерации и без заранее заданного объема. Извлечение обычно воспроизводит какую-нибудь книгу или брошюру Валдиса Эгле или другого автора. В названии файла извлечения первая буква «L» означает, что основной текст книги дан на латышском языке, буква «E», что на английском, буква «R», что на русском, а буква «M», что текст смешанный. Буква «S» означает, что файл является заготовкой, подлежащей еще существенному изменению, а буква «X» обозначает факсимилы. Файлы оригинала дневника Векордия и файлы извлечений из нее Вы **имеете право** копировать, пересылать по электронной почте, помещать на серверы WWW, распечатывать и передавать другим лицам бесплатно в информативных, эстетических или дискуссионных целях. Но, основываясь на латвийские и международные авторские права, **запрещено** любое коммерческое использование их без письменного разрешения автора Дневника, и **запрещена** любая модификация этих файлов. Если в отношении данного текста кроме авторских прав автора настоящего Дневника действуют еще и другие авторские права, то Вы должны соблюдать также и их.

В момент выпуска настоящего тома (обозначенный словом «Версия:» на титульном листе) главными представителями Векордии в Интернете были сайты: для русских книг – <http://vecordija.blogspot.com/>; для латышских книг – <http://vekordija.blogspot.com/>.

Оглавление

VEcordia	1
Извлечение R-IGR6.....	1
Карамзин Н.М.	1
История Государства Российского.....	1
Том XI	2
Глава I. Царствование Бориса Годунова. Г. 1598–1604	2
Глава II. Продолжение царствования Борисова. Г. 1600–1605.....	22
Глава III. Царствование Феодора Борисовича Годунова. Г. 1605	43
Глава IV. Царствование Лжедмитрия. Г. 1605–1606.....	48
Том XII.....	76
Глава I. Царствование Василия Иоанновича Шуйского. Г. 1606–1610	76
Глава II. Продолжение Василиева царствования. Г. 1607–1609.....	93
Глава III. Продолжение Василиева царствования. Г. 1608–1610	108
Глава IV. Низвержение Василия и междоцарствие. Г. 1610–1611.....	126
Глава V. Междоцарствие. Г. 1611–1612	146
Оглавление	156